ОКЕАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»



Океан. Выпуск 9

Александр Сергеевич Пушкин, Виктор Васильевич Полторацкий, Валентин Георгиевич Турусов, Николай Васильевич Беседин, Евсей Львович Баренбойм, Виталий Титович Коржиков, Вячеслав Владимирович Гордеев, Константин Сергеевич Бадигин, Владимир Васильевич Матвеев, Евгений Игнатьевич Сигарев, Александр Иванович Герасименко, Иван Иванович Рядченко, Владимир Алексеевич Рыбин, Анатолий Алексеевич Тепляшин, Иван Олейников, Радмир Александрович Коренев, Николай Григорьевич Михайловский, Игорь Васильевич Подколзин, Александр Петрович Воронцов, Владимир Васильевич Дробышев, Николай Григорьевич Флё-

ров, Всеволод Борисович Азаров, Алексей Алексеевич Лебедев, Николай Андреевич Черкашин, Павел Николаевич Ерофеев, Иван Антонович Ефремов, Виктор Ананьевич Дыгало

Аннотация
Океан. Выпуск 9
ПРИХОДИ К НАМ НА МОРЕ!
А. Пушкин. «Завидую тебе, питомец моря смелый...». Стихотворение
В. Полторацкий. НА БЫСТРИНЕ. Стихотворение
В. Турусов. «Умеют это только корабли...». Стихотворение
ПЛЕЩЕТ МОРСКАЯ ВОЛНА
Н. Беседин. МЫ ПРИХОДИМ. Стихотворение
Е. Баренбойм. СИНУСОИДА. (Повесть)
В. Коржиков. КАК МАТРОСЫ СТИРАЮТ РОБЫ. Стихотворение
В. Гордеев. УМБА-РЕКА. Стихотворение
К. Бадигин. СЛУЧАЙ НА ЗАТОНУВШЕМ КОРАБЛЕ. (Рассказ)
В. Матвеев. ОСЕННЯЯ ПУТИНА. Стихотворение
Е. Сигарев. ТРАЛМЛСТЕР ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ. Стихотворение

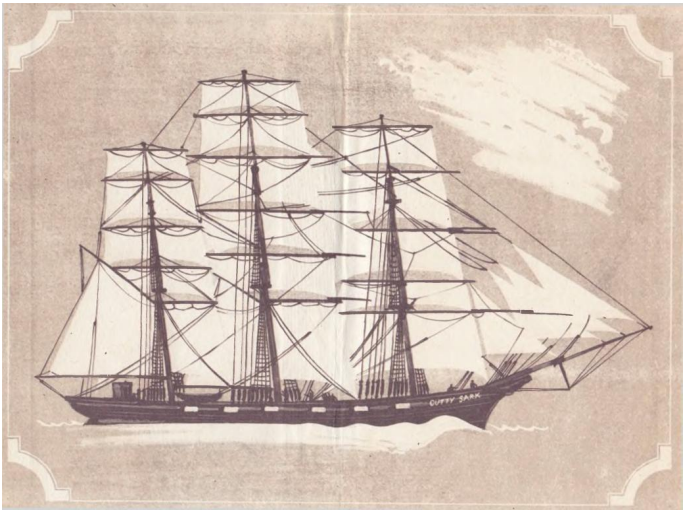
А. Герасименко. ДАРЫ МАСАМУНЭ. (Рассказ)
И. Рядченко. СУРОВЫЙ ТОСТ. Стихотворение
В. Рыбин. ПОД БЕЛЫМ СОЛНЦЕМ КРАСНОГО МОРЯ. (Главы из повести)
А. Тепляшин. ПЕРВЫЙ ШТОРМ. Стихотворение
И. Олейников. «Я слушаю море...». Стихотворение
Р. Коренев. БИЧ. (Рассказ)
ФЛОТ ВЕДЕТ БОЙ
Н. Михайловский. ЕГО ЗВАЛИ РАМОНОМ.... (Очерк)
И. Подколзин. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ.... (Рассказ)
А. Воронцов. А МАШИНЫ ШЛИ.... (Рассказ)
ЛЮДИ ФЛОТА
В. Дробышев. НА ЛЕНСКИХ ПЕРЕКАТАХ. (Очерк)
Н. Флеров. ЕГО ПРИЧАЛ. (О поэте А. Лебедеве)
В. Азаров. «Я море Черное любил...». Стихотворение
А. Лебедев. ОДЕЖДА МОРЯКА. Стихотворение
ПУТЕШЕСТВИЯ, ОТКРЫТИЯ, ПРОБЛЕМЫ
Н. Черкашин. КРИК ДЕЛЬФИНА. (Повесть)
П. Ерофеев. РЕКИ В ОКЕАНЕ. (Очерк)
МОРСКОЙ АРХИВАРИУС
И. Ефремов. «КАТТИ САРК». (Рассказ)
ОТ АВТОРА
ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

ЧЕСТЬ КАПИТАНА ДОУМЭНА
РУКОПИСЬ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА
МЕЧТА-ВЕДЬМА
ДВА СОПЕРНИКА
ПАР И ПАРУС
«КАТТИ САРК» ОБРЕЧЕНА
ПОД ПОРТУГАЛЬСКИМ ФЛАГОМ
«КАТТИ САРК» — БАРКЕНТИНА
ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ
ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ «КАТТИ САРК»
В. Дыгало. ТАК ПОВЕЛОСЬ НА ФЛОТЕ. (Очерк)
СПУСК И «КРЕЩЕНИЕ» КОРАБЛЯ
ИМЯ КОРАБЛЯ
СЛОВАРЬ. некоторых морских терминов, встречающихся в тексте сборника

Аннотация

Литературно-художественный сборник знакомит читателей с жизнью и работой моряков, с выдающимися людьми советского флота, с морскими тайнами, которые удается раскрыть ученым.

Океан. Выпуск 9


CUTTY SARK

ОКЕАН



литературно-художественный морской сборник



МОСКВА

«Детская литература»
1983

ПРИХОДИ К НАМ НА МОРЕ!

Приходи к нам

НА МОРЕ!





А. Пушкин
«Завидую тебе, питомец моря смелый…»
Стихотворение

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг —
И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку — в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дальнего, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.

В. Полторацкий
НА БЫСТРИНЕ
Стихотворение

Мы с тобой договорились загодя,
Что снаря́дим лодочку вдвоем.
И, не соблазнясь покоем в заводях,
Весь свой путь по стрежени пройдем.

Чтобы белый полумесяц паруса
Свежаком наполнен был всегда.
Чтобы, пенясь, клокотала яростно
За кормой кипящая вода.

Чтобы мимо отмелей и ериков —
К синю морю, в светлые края.
И густой шиповник с крута-берега
Одарит нас песней соловья.

Сбудутся надежды и желания
Вопреки годам и седине.
Лишь не отступай от обещания —
Лодку жизни правь по быстрине.

В. Турусов
«Умеют это только корабли...»
Стихотворение

Умеют это только корабли —
Всю жизнь куда-то в океан стремить-
ся,
Надолго отрываться от земли,
Жить без нее и быть ее частицей.
От берегов, от маяков вдали,
Лежать на курсе при любой погоде —
Умеют это только корабли...
И люди — те, которые их водят.

ПЛЕЩЕТ МОРСКАЯ ВОЛНА

Плещет

МОРСКАЯ ВОЛНА





Н. Беседин
МЫ ПРИХОДИМ
Стихотворение

Мы приходим.
Встречай, разудалое море!
Мы приходим.
Встречайте нас, штормы и штили!
Нам на вахтах стоять
в пограничном дозоре,
Нам Отчизну хранить,
как отцы ее наши хранили.
Мы приходим.
И море, как эстафету,
Нам вручает ветрами пропахшие дали,
Нам вручает оно голубые рассветы,
Чтобы люди их доброй улыбкой встречали.
Мы проходим по трапу —
по шершавым ладоням эсминца —
К месту новой прописки

по праву сыновьего долга.
Здравствуй, море!
С тобой мы вполне породнимся.
Где-то песня о белой березе
проходит сторонкой,
Опускается вечер
над бухтой, родной нам отныне.
Ты прислушайся, море:
ты слышишь, как ясно и громко
Вечной верностью Родине
сердца звучат позывные.

Е. Баренбойм
СИНУСОИДА
(Повесть)

Вечерами незадолго до поверки Женька Якобсон, несостоявшийся актер, начинал в кубрике спектакль театра миниатюр. Он выстраивал в одну шеренгу с десяток курсантов и, медленно прохаживаясь вдоль строя, говорил нудным, скрипучим голосом:

— Несмотря на мои предупреждения, некоторые курсанты во время физзарядки продолжают прятаться в гальюне. Больше того — врут дежурному, что больны. Флоту не нужны ловкачи и трусы. Будущий офицер должен во всем служить примером своим подчиненным. — Затем Женька делал паузу, громко сморкался и возглашал: — Курсанты Максимов и Семеновский! За обман дежурного объявляю вам по два наряда вне очереди!

Сходство голосов Якобсона и нашего начальника курса капитана второго ранга Сахнина было столь разительно, что, если закрыть глаза, невозможно было отличить, кто из них говорит.

Курсанты задыхались от смеха…

Своего начальника курса мы недолюбливали. Он пришел к нам на выпускной курс военно-морского училища меньше года назад с Северного флота и сразу произвел неблагоприятное впечатление.

Среднего роста, сутуловатый, пожилой, с длинным, худым лицом, на котором выделялся большой и острый, как форштевень, нос, с тихим скрипучим голосом, Федор Федорович Сахнин даже отдаленно не напоминал героев рассказов Станюковича или «Капитального ремонта» Соболева — книг, которые были популярны среди воспитанников училища. Конечно, каждому курсанту было бы приятно, если бы на вечере в училище он мог показать своей девушке глазами на командира курса и она, увидев бравого офицера в тужурке, украшенной множеством боевых орденов, сказала бы восхищенно: «Вот это да!»

Но все же решающую роль в нашей антипатии сыграли другие причины.

— Ох уж эта интендантская мелочная душонка, — ворчали мы, когда дежурный по курсу зачитывал очередной приказ Сахнина о назначении на работы. — Откуда только он свалился на наши бедные головы?

Мы были убеждены, что нет для Сахнина дела увлекательнее, чем всякого рода хозяйственная суета. Заготовка картошки, капусты, дров, угля, извести, всевозможные ремонты — крыш, заборов, овощехранилищ, погребов, канализации и водопровода — так и сыпались на нас со всех сторон. В первый послевоенный год, вскоре после возвращения училища из эвакуации, таких работ было несметное количество. Почти ежедневно нас снимали с занятий для погрузки, перевозки, копки, разборки, строительства на десятки объектов, разбросанных не только на территории училища, но и по всему городу. Часто эти работы мы выполняли ночью или на рассвете и тогда после них, утомленные и невыспавшиеся, дружно дрыхли на лекциях, и только команда дежурного: «Встать! Смирно!» — могла нас поднять.

Заниматься было некогда. Мы глухо роптали и винили во всем нашего начальника курса. Мы были убеждены, что именно он, интендантская душа, проявляет инициативу и с легкостью отдает нас любому, кто только попросит «подкинуть десяток курсантов».

Даже ночную разгрузку вагонов с бревнами делали мы, выпускники, а не матросы хозяйственной команды или салажата первокурсники.

Левка Семеновский, философ и книгоед, особенно страдавший от невозможности заниматься, уверял, что еще повивальная бабка, принимавшая Сахнина, изрекла в те далекие годы:

«Снимите бескозырки, господа флотские, родился Завхоз».

Кличка «Завхоз» прочно укрепилась за начальником курса.

Ходили упорные слухи, что это Сахнин уговорил начальника училища послать на прокладку узкоколейки к железнодорожной станции и на ремонт печей на известковом карьере в восьмидесяти километрах от Ленинграда именно нас, как имеющих большой опыт строительства. И якобы начальник училища, человек дальновидный и умный, возражал, говоря, что слишком часто выпускников посылают на работы в ущерб учебе, но Сахнин твердо заверил его: «Мои орлы все экзамены сдадут успешно!»

На эти работы уехало почти полсотни человек.

Каждый из нас имел по нескольку строительных специальностей и был бы встречен с оркестром и флагами в отделе кадров любой стройки. В училище за нашим курсом прочно закрепилась неофициальная кличка «батрацкий», и Сахнин этим очень гордился.

— Товарищи курсанты, — говорил он, медленно прохаживаясь вдоль выстроившихся шеренг на вечерней поверке. — Вы слышали, конечно, как окрестили в училище наш курс? Батрацкий, — раздельно и четко повторил он. — Лично мне очень приятно такое название. Оно означает, что орлы — выпускники четвертого курса — не только успевают учиться, но и помогать своему училищу, нашему дорогому, многострадальному… — Тут Сахнин внезапно умолк, высморкался, и ребятам показалось, что, когда он заговорил о городе, его голос задрожал от волнения: — …и геройскому Ленинграду. Эти чувства должны переполнять ваши молодые сердца гордостью…

Но курс молчал. Сонные после утомительной ночной работы, мы не чувствовали гордости. Наши молодые сердца стучали равнодушно и ровно, как будильник. Мы только отчаянно желали, чтобы Завхоз поскорее закончил свое лирическое отступление и мы, наконец, могли спокойно лечь спать.

— Интересно, что он скажет, когда мы завалимся на госэкзаменах? Лично я наверняка завалюсь, — шептал самый высокий курсант Гриша Максимов по кличке «Мачта». Рост Гриши 195 сантиметров, но, по заверению его друга

Левки Семеновского, Гриша продолжал расти. Длинные ноги Гриши не помещались на койке, и он вытащил из спинки кровати металлические прутья и клал ноги на табурет. Ребята спотыкались о них в узких проходах и ворчали: «Опять свои кранбалки[1] выставил».

— Не ной, — успокаивал его Левка. — Строительная специальность у тебя есть. Пойдешь восстанавливать народное хозяйство.

И вот ведь, зануда, где бы курсанты ни работали, Сахнин почти всегда торчал вместе с ними.

В этот промозглый, осенний день мы разгружали баржу с бревнами. Одетый в старенький матросский бушлат и кирзовые сапоги Сахнин вместе со всеми таскал с баржи мокрые тяжелые бревна и укладывал их на высоком берегу. Незаметно там выросла целая пирамида. Уже дважды Сахнин замечал, что курсант Максимов, торопясь быстрее сбросить с плеч тяжелое бревно, сваливал его на самом обрыве.

— Поаккуратнее укладывайте, Максимов! — предупреждающе крикнул он.

— Есть, — откликнулся Гриша и вдруг увидел, как лежащее в основании пирамиды бревно мед-

[1] Примечания: 1

Словарь некоторых морских терминов, встречающихся в тексте, дан в конце сборника.

ленно поползло к обрывистому краю. Если оно рухнет вниз, то увлечет за собой всю пирамиду.

Инстинктивно Гриша отскочил в безопасное место, услышал яростный крик Сахнина:

— Прочь! Все в сторону!

Он обернулся.

Упершись руками в лежавшее в основании бревно, командир курса в одиночку пытался остановить движение всей пирамиды. Вся фигура Сахнина выдавала предельное напряжение — втянутая в плечи голова, красное, налитое кровью лицо, напружиненное тело. И все равно шершавый комель бревна давил ему на грудь, медленно тесня к воде. Бледный Захаров, стоявший рядом с Гришей, бросился на помощь.

— Не подходить! — закричал Сахнин.

Еще мгновение, и бревна, падая с обрыва, обрушатся на человека. Гриша зажмурился от ужаса, закрыл лицо руками и тотчас же услышал грохот падающих бревен. Они застучали по деревянному причалу и одно за другим плюхнулись в воду.

Наступила тишина.

Гриша открыл глаза. Внизу на причале лежали разбитые бревнами тачки, а выше поднимался с мокрой земли целый и невредимый Сахнин. С ног до головы измазанный грязью, без фуражки, он

с трудом выпрямился, неторопливо отряхнулся, посмотрел на Максимова и сказал негромким и будничным голосом:

— Верно украинцы говорят: «Вырос до неба, а дурень як треба». Да еще сачок. Объявляю две недели без берега.

— Есть две недели без берега, — с облегчением повторил Максимов. Он понимал, что Сахнин прав и что из-за него чуть не произошло серьезное несчастье.

Когда бревна снова лежали на месте, Гриша сказал Левке:

— А все-таки Завхоз могуче вкалывает. Я так не могу. Устаю быстро.

— Не вкалывает, а воспитывает личным примером, — поправил его Левка. — Улавливаешь разницу? А может быть, и выслуживается перед начальством на наших костях.

— Факт, выслуживается, — согласилось большинство ребят.

Самоотверженность начальника курса ничуть не смягчила по-юношески суровые, бескомпромиссные курсантские сердца. Три дня спустя, когда мы рыли траншею для прокладки труб, Левка закричал:

— Эврика! Я сделал великое открытие, ребята. У

нас в училище впервые соединились воедино две философские категории — пространство и время. Вспомните, что сказал Завхоз перед началом работы: «Копайте от этого угла и до обеда».

Федор Федорович услышал Левкины слова и засмеялся.

Жил Сахнин в своем кабинете. За невысокой самодельной ширмой стояла железная койка, заправленная серым байковым одеялом, на столе — электрический чайник, утюг, горка книг, шахматы.

По вечерам Федор Федорович редко отлучался с курса. Читал, сидя за столом, пил крепкий, по-флотски заваренный чай. Иногда шел в кубрик играть в шахматы. Играл он, правда, неважно. На курсе было много хороших шахматистов, и они безжалостно обыгрывали его. Сахнин не обижался, только мрачнел. Брови на его узком, худом лице топорщились, на длинном носу появлялись капли пота.

— Сдаюсь, — говорил он. — Хотите еще партию?

В один из вечеров — это было как раз перед зимней сессией — Сахнин медленно шел по коридору. Когда он поравнялся с кубриком первой роты, услышал сквозь неплотно прикрытую

дверь странно знакомый голос, а вслед за ним дружный смех. Слов разобрать было нельзя, но было очевидно, что копируют его. Тогда он подошел к двери ближе и узнал Якобсона. В первый момент Федор Федорович хотел войти в кубрик, но, постояв в задумчивости, вернулся в кабинет и вызвал Якобсона к себе.

— Если речь пойдет о спектаклях, то считайте, ребята, блистательная карьера мужественного моряка и талантливого лицедея Евгения Якобсона закончена навсегда, — балагурил, одеваясь, Женька, но в глазах его читалась тревога. — Я знаю завхозов — они злопамятны и болезненно обидчивы.

Но события в тот вечер развернулись неожиданным образом.

В кабинете у Сахнина сидел старшина курса Захаров, единственный человек, который общался с командиром курса в неофициальной обстановке и которого тот считал своим доверенным лицом. Почти два года перед поступлением в училище Захаров провоевал морским пехотинцем на Северном флоте, был награжден орденом Красной Звезды. Захаров был старше нас года на три. Он успел жениться, обзавестись ребенком, носил усы, учился на круглые пятерки. Мы немного

побаивались его и уважали.

— Скопируйте меня, Якобсон, — приказал начальник курса, едва Женька по всем правилам доложил о своем прибытии. — Я хочу послушать, как это у вас получается.

Женька оторопел. Он был готов к чему угодно — к взысканию, к нудной нравоучительной беседе, даже к угрозе разобрать его поведение на комсомольском собрании. Но копировать начальника курса в его присутствии…

— Что вы, товарищ капитан второго ранга, — сказал Женька, смущенно опустив глаза. — Я не умею.

— Не скромничайте, Якобсон. Я слышал о ваших представлениях. Они пользуются большим успехом.

Женька молчал, раздумывая.

— А потом вы дадите мне месяц без берега? — осторожно спросил он.

— На вашем увольнении на берег это не отразится, — сказал Сахнин. — Обещаю.

— Давай, давай, не бойся, — подбодрил Захаров.

Тогда Женька решился. Он сделал шаг назад, ссутулился, вытащил носовой платок, громко высморкался и воспроизвел несколько любимых

фраз Сахнина.

Дисциплинированный Захаров не проронил ни звука. Только свекольного цвета лицо да побелевшие, стиснутые губы говорили, каких усилий стоило ему сдержать смех. Федор Федорович был невозмутим. Он только спросил:

— Неужели у меня такой противный голос, старшина?

— Так точно, — подтвердил Захаров. — Сходство стопроцентное.

— Хорошо, Якобсон. Можете идти.

Начальник курса выполнил свое слово. На увольнении Якобсона спектакль не отразился. Больше того, когда однажды за опоздание в строй командир взвода вычеркнул его из списка увольняемых, курсант набрался нахальства и постучался в кабинет Сахнина.

— Вы обещали, что не отразится, а меня из списка вычеркивают, — пожаловался он с порога.

— Я здесь ни при чем, Якобсон. — Но секунду подумав, пообещал: — Готовьтесь в увольнение. Я скажу.

Было, по нашему мнению, у начальника курса неприятное качество — болезненное честолюбие. Он полагал, что по всем показателям, в том числе и на спортивных соревнованиях, наш курс дол-

жен занимать исключительно призовые места.

В училище часто проводились спартакиады, соревнования между курсами, шахматные турниры, первенство вмузов. Занятые бесконечными хозяйственными работами и учебой, мы здорово уставали, не могли регулярно тренироваться и нередко уступали победы младшим курсам. Сахнина любой проигрыш так огорчал, что даже нам становилось его жаль.

— После вашего вчерашнего поражения, — говорил он игрокам волейбольной команды курса, — я до сих пор не могу успокоиться. Выиграли легко первый сет, хорошо начали второй и неожиданно скисли. Думали ли вы о чести курса? Не знаю, как я смогу после этого смотреть в глаза начальнику училища.

Сахнин умолкал. Волейболисты виновато молчали. Только Левка едва слышно бубнил:

— Не можешь, так не смотри.

Утром у него была стычка с начальником курса. Видимо, Сахнин страдал бессонницей, потому что страсть как любил вставать на рассвете и проверять утренний подъем и физзарядку. Для Левки же не было страшнее испытания, чем вскочить сразу после подъема и бежать раздетым на улицу. Минута-две ему требовались на раскачку.

Командир взвода иной раз делал выпускнику эту маленькую поблажку, тем более что Левка тайно помогал ему сочинять амурные стихотворные послания.

— Почему курсант до сих пор в койке? — услышал Левка над собой знакомый, как скрип несмазанной двери, голос. Левка мгновенно вскочил и вытянулся на прикроватном коврике — брошенном на цементный пол куске старого одеяла. Пуговицы на кальсонах оторвались, и чтобы подштанники окончательно не упали, он придерживал их рукой.

— Не ожидал от вас, Семеновский, — сказал Сахнин.

— Во время работы над «Анти-Дюрингом» Энгельс писал, что наиболее ценные мысли приходят к нему в постели, — оправдывался Левка. — Не тогда, товарищ капитан второго ранга, когда он сонный делал физзарядку или разгружал бревна из вагонов, а когда лежал на койке. Так что я лишь его скромный последователь.

Сахнин усмехнулся.

— Объявляю скромному последователю Энгельса наряд вне очереди. На корабле по тревоге придется быстрее вскакивать.

* * *

— Вставай, Мачта, — ласково теребил Гришу Максимова дневальный Женька Якобсон. — Завхоз вызывает. Второй раз звонит.

Ночью первый взвод разгружал вагоны с углем на товарной станции, вернулся только утром и сразу после завтрака ушел на занятия. Сейчас по разрешению начальника курса взвод отдыхал. Поэтому слова дневального почти не доходили до Гришиного сознания. Только после того, как тот принял решительные меры — сдернул одеяло и стал щекотать пятки, — Максимов окончательно проснулся и сел.

— Что ему от меня нужно? — спросил он у Женьки.

— А я откуда знаю? — пожал плечами дневальный. — Но советую поторопиться. Не то опять схлопочешь фитиля.

Как многие рослые люди, Мачта был безобиден и добр. Даже «недомерки» из четвертого взвода второй роты, так называемые «карандаши», позволяли себе с ним всякие шалости — толкали в спину, набрасывали ночью в слабо освещенном коридоре одеяло на голову, когда он, сонный, плелся в гальюн.

— Ну чего тебе надо, карандаш ты этакий, — грозно басил Гриша. — Смотри, рассержусь — плохо будет.

Но никто не боялся его угроз.

Никаких достоинств, кроме высокого роста и добродушного нрава, за Гришей не числилось. Ни в спорте, ни в самодеятельности, ни в танцах. Учился он средне.

— Бездарен я и нерешителен, — жаловался он в курилке Левке Семеновскому. — Пока рискну пригласить какую-нибудь девицу, ее уже перехватили.

В чем, в чем, а в отсутствии самокритичности отказать Грише было нельзя.

— Нерешительность в мелочах не означает нерешительности в главном, — успокаивал его Левка.

— А в главном я еще больше нерешителен, — настаивал он.

До четвертого курса у него не было даже знакомой девушки. В дни увольнений, когда Левка спешил в библиотеку, Гриша отправлялся в театр или на вечера танцев: в Мраморный зал или в Дом учителя. Но и на танцах почти все время стоял в одиночестве, подпирая плечом стену, придав лицу выражение безразличия и скуки.

Ему казалось, что он неуклюж, что девушки смотрят на него с насмешкой. Временами ему даже слышался их отдаленный невнятный шепот: «Вот вымахал, дылда». Или: «Взгляни на эту пожарную каланчу».

Тогда он вздыхал и шел на лестницу покурить.

Два месяца назад Гриша познакомился с Лерой. Воскресным зимним днем он ждал на остановке трамвай. В кармане шинели вместе с увольнительной лежал билет на дневной спектакль «Фадетта» Малого оперного театра. Гриша любил балет, кроме того, партию Фадетты сегодня должна была танцевать Кириллова.

Трамвая, видимо, давно не было, потому что на остановке стояла большая толпа. Наконец подошел вагон, и все бросились на штурм. И вдруг Гриша заметил ее. Невысокая, худенькая, в огромном берете, лихо сдвинутом на одно ухо, и в валенках девушка с трудом подняла большую матерчатую сумку и сделала несколько шагов к подножке трамвая. Но тотчас же толпа оттеснила ее в сторону. Девушка снова опустила сумку. Было ясно, что в вагон ей не попасть. Именно в этот критический момент появился он, неизвестный, но благородный рыцарь, одетый в простую курсантскую форму с четырьмя уголками на

рукаве черной флотской шинели. Ни слова не говоря, он легко поднял тяжелую сумку, бросил короткое: «Держитесь в кильватерной струе» — и мужественно бросился на штурм.

Спустя несколько минут они стояли в прицепном вагоне, тесно прижатые друг к другу. Так, не сказав ни слова, они проехали восемь остановок. На Петроградской стороне девушка взялась за ручки сумки, улыбнулась:

— Большое спасибо. Мне пора. До свидания.

— Ладно уж, — после секундного колебания сказал Гриша. — В театр все равно опоздал. Так что могу донести до самого дома.

— Из-за меня опоздали? — тихо ужаснулась она. — Какая жалость. И на какой спектакль?

— «Фадетта», — бодро сказал Гриша, но в последний момент голос его дрогнул, и он признался: — Нравится мне, как Кириллова танцует.

— До войны я тоже была отчаянная театралка, ничего не пропускала, — призналась девушка. — А в эвакуации одичала.

Они быстро дошли до ее дома.

— Зайдете к нам? Чаю попьете, отогреетесь.

— Можно, — согласился Гриша.

С этой девушкой он чувствовал себя легко, исчезла его всегдашняя скованность, застенчи-

вость. Возможно, потому, что она поначалу не слишком ему понравилась — худенькая, замерзшая, в нелепом берете. Но идти все равно было некуда.

Дверь им отворила полная, еще не старая женщина, закутанная в большой шерстяной платок.

— Я уже волновалась, думала, случилось что, — сказала она. Голос у нее оказался хриплый, простуженный. В руке она держала папиросу.

— Знакомься, мама. Если бы не этот человек, я до сих пор стояла бы на трамвайной остановке. Из-за меня у него пропал билет в театр.

— Подумаешь — билет пропал, — хрипло засмеялась мать. — Зато с тобой познакомился.

— Ты уж скажешь, мама, — вспыхнула дочь.

— Твой отец за мной три месяца ходил, пока я позволила ему подойти. И то сказала: «Быстро говори, мне слушать некогда». — Она рассмеялась.

Лерина мать, несмотря на свою прямолинейность, грубоватость, на хриплый голос и чрезмерно громкий смех, Грише понравилась. Он почувствовал, что за этим скрывается искренность и доброта. Поэтому он возразил:

— Сейчас другой век. У нас просто времени не хватит.

— При чем здесь век? — миролюбиво прого-

ворила мать. — Это война все сместила, перепутала.

Она положила в розетки по ложечке варенья, отрезала три тоненьких ломтика хлеба. Подумала, поколебалась и отрезала еще три. Горбушка осталась совсем маленькая.

— Хватит. Больше нельзя. А то завтра есть будет нечего, — сказала она не то Грише, не то себе.

Они сели за старинный, рассчитанный на большую семью стол. Александра Андреевна принесла котелок горячей картошки.

Лера оказалась напротив Гриши. Он посмотрел на нее и изумился. Куда девалась та жалкая, продрогшая до синевы замухрышка, которую он увидел и пожалел на трамвайной остановке? Совсем другая девушка сидела за столом. Лера отогрелась, разрумянилась. Пышные темные волосы волной падали на лоб. Глаза улыбались, встречаясь со взглядом Гриши.

Ему стало неожиданно весело, и он рассказал, что у них в роте есть курсант по фамилии Пушкин, а по имени-отчеству Александр Сергеевич. Так вот однажды утром он не пошел на зарядку, а прогуливался по двору училища. Дежурный офицер остановил его:

— Почему вы не на зарядке? — И, выслушав

сбивчивые неубедительные объяснения, вытащил блокнот, спросил: — Фамилия?

— Пушкин.

— Пушкин? — иронически переспросил дежурный офицер. — Александр Сергеевич, конечно?

— Так точно, Александр Сергеевич.

— Трое суток ареста!

Александра Андреевна смеялась громче всех, даже слезы появились у нее на глазах. А Гриша сыпал одну историю за другой. Он чувствовал, что понравился и Лере, и ее матери.

Около десяти часов вечера он собрался уходить.

— Пойди, проводи его, дочка, — сказала мать. — А то заблудится мальчик в наших закоулках.

Лера послушно надела пальто и пошла провожать Гришу до трамвая.

— Можно, я приду к вам еще? — спросил Гриша, прощаясь.

— Наш дом всегда открыт для друзей, — чуть высокопарно ответила Лера и, смутившись, добавила просто: — Приходите. Мы с мамой будем очень рады.

Вернувшись на курс, Гриша, как обычно, сразу поделился новостью с Левкой. У них не было тайн друг от друга. А через несколько дней по ротам

уже ходило стихотворение в списках:

Минут напрасно не теряя,
Я вам сперва скажу лишь то,
Что где-то раз ждала трамвая
Девица в плюшевом пальто.

Замечу дальше по порядку,
Что рядом с ней в пылу атак
Усердно рвался на площадку
Один воинственный моряк.

Когда на сломанной подножке
Их крепко сжал девятый вал,
Прелестный носик этой крошки
Его не в шутку взволновал…[2]

— Подлец, — сказал Гриша Левке, когда они сидели на занятиях. — Злоупотребляешь доверием товарища.

— Нисколько, — Левка даже не смутился и продолжал улыбаться. — Пытаюсь увековечить исторический факт для наших потомков.

---

[2] Примечания: 2
Отрывок из неопубликованного стихотворения С. Ботвинника.

* * *

— Входите, Максимов, — разрешил Сахнин, оглядывая помятую после сна физиономию курсанта. — Работали ночью? Сложили все аккуратно? — Получив утвердительный ответ, предложил, наконец, сесть и сразу огорошил вопросом: — Как вы смотрите, если мы вас включим в команду боксеров на предстоящую спартакиаду?

— Меня? — потрясенно спросил Гриша, который даже чисто теоретически не мог представить себя на ринге. — Я сроду не дрался, товарищ капитан второго ранга. В детстве меня вечно лупили. А о боксе вообще не имею никакого понятия.

Сахнин молчал, рассматривая сидящего перед ним курсанта: чистые, немного испуганные серые глаза, короткие вьющиеся каштановые волосы, по-детски пухлые губы. Симпатичный парень. Явное замешательство, которое вызвало его предложение у Максимова, не удивило Сахнина. Он уже давно заметил, что курсант этот робок и застенчив, как девица на первом балу.

— Не бойтесь, Максимов, — негромко сказал он после долгой паузы, давая курсанту время успокоиться. — Я убежден, что вы смелый чело-

век, но просто не знаете себя. Попробуйте свои силы. А мы, разумеется, вам поможем. Прикрепим тренера, освободим от хозяйственных работ. Согласны?

— Нет, не согласен, — оторопело сказал Гриша. — Зачем я буду позориться? Никогда не дрался, приемов не знаю.

— Насчет приемов не беспокойтесь, — настаивал Сахнин. Его голубые глаза смотрели на Гришу сочувственно. — Белов научит. У вас почти месяц впереди. И потом о чести курса подумайте!

Гриша сидел, мрачно уставившись в давно не чищенный паркетный пол. «Разукрасить могут так, что потом долго на улицу не выйдешь, если вообще скулу на бок не свернут. Да и для ребят останусь на всю жизнь посмешищем. Нет, не буду соглашаться, а заставить драться он не имеет права».

— Ну? — нетерпеливо спросил Сахнин. — Чего пугаетесь? Еще понравится, глядишь, боксером станете.

«Шутит еще, Завхоз чертов», — подумал Гриша и ответил:

— Не хочу я, товарищ капитан второго ранга. Ведь все равно проиграю.

— И проигрывайте на здоровье. Нам не выиг-

рыш ваш нужен, а полная команда. Срежут очки, и не видать курсу первого места как своих ушей. В этом же вся суть.

Гриша молчал, продолжая упрямо смотреть в пол. «Буквально помешался на первых местах, — размышлял он. — Будто не все равно — первое или последнее. Бывает же у людей такое непомерное честолюбие. Интересно, как он на Севере тиранил подчиненных?»

— Значит, отказываетесь? — помрачнел Сахнин. — На престиж курса вам начхать? Тру́сы вы все, а не моряки, вот что я вам скажу! — внезапно крикнул он, вскакивая со своего места. — Боитесь лишний синяк схлопотать, лишнюю ночь поработать. Слабаки, а не будущие офицеры.

Он умолк, сел, забарабанил худыми пальцами по треснувшему стеклу на столе, и Максимов увидел, как задергался у Сахнина угол рта.

— Между прочим, старшина курса просит объявить вам взыскание, — успокоившись, негромко произнес он.

Гриша похолодел. «Неужели знает, что я из театра убегал? — подумал он. — Но откуда?»

Всего один-единственный раз после того памятного знакомства Гриша сумел побывать у Леры. Еще днем по дороге к ней он выстоял двухчасовую

очередь у кинотеатра «Молодежный». Потом они пошли с Лерой по Невскому погулять. Как всякий курсант, Гриша терпеть не мог фланировать по центру города. Там повсюду сновали патрули, и вместо приятной прогулки с девушкой запросто можно было угодить в комендатуру. Но Лера еще не знала этих тонкостей курсантской жизни, хотела гулять именно по Невскому, и Гриша не мог ей отказать.

А потом был изумительный вечер. Мамы дома не было. Они завели патефон и долго танцевали… Стояли в темной комнате у окна и отчаянно целовались. На соседнем пустыре был залит каток, там было празднично: ярко горели фонари, играла радиола. Ее звуки проникали сквозь стекла, и Гриша пел вместе с нею:

Трубка моряка теплом согреет руки,
Трубка моряка пойдет со мною в бой;
Трубка моряка напомнит о разлуке
И о нашей встрече с тобой.

Когда же он оделся и попрощался, произошла эта дурацкая история с замком в передней. Старый замок не хотел отпираться. Сначала Гриша отнесся к этому как к забавному происшествию, но когда часы стали показывать тридцать пять

минут двенадцатого, а дверь по-прежнему была закрыта, Гриша заволновался. Вышел сосед с отверткой и молотком, его жена лила в прорезь замка машинное масло, Лера слабыми руками тщетно дергала дверь.

Только без пятнадцати двенадцать замок злорадно щелкнул, и Гриша вылетел на улицу. Ему повезло — рядом стоял грузовик, и Гриша буквально умолил шофера подбросить его до училища.

Когда он весь в поту, несмотря на пятнадцатиградусный мороз, ворвался к дежурному, часы показывали пять минут первого.

На следующее утро командир роты объявил ему взыскание — месяц без берега.

Значит, целый месяц он не увидит Леры! Худшего наказания нельзя было придумать. Никогда раньше он не мог предположить, что при его, как казалось ему, робкой и рассудочной натуре он способен так быстро, и так пылко влюбиться.

Необходимо было что-нибудь изобрести, чтобы увидеть Леру. И Гриша изобрел. В очередное воскресенье он записался в культпоход на «Обрыв» в Театр имени Ленсовета. Их привели строем в театр, все разделись в гардеробе, но в зрительный зал Гриша не пошел, а снова торопливо надел

шинель и помчался к Лере.

К окончанию спектакля он уже был у гардероба и вместе со всеми благополучно вернулся в училище.

Таким же способом он побывал у Леры еще раз.

Казалось, ни одна душа не знает о коротких рейдах на улицу Плуталова, кроме его друга Левки Семеновского. И вдруг эта угроза Сахнина объявить взыскание.

— Я решил пока не спешить с выводами, — продолжал начальник курса, видимо успокоившись, потому что руки его неподвижно лежали на столе, а угол рта больше не дергался. — Подумал: согласится выступить и защитить честь курса, можно будет и простить эти шалости. Не согласится — наказать, как того требует Дисциплинарный устав.

Гриша все еще молчал, хотя и прекрасно понимал, что выбора не остается. Если он не выступит, то не увидит Леры еще долго-долго. Завхоз установит такой контроль, что не только из театра не убежишь, а вообще за порог училища не переступишь.

— Ладно, — сказал он дрогнувшим голосом. — Выхода нет. Буду защищать честь. А с кем мне

придется драться?

— Вот это, Максимов, мужской разговор, — с какой-то напускной, не свойственной ему развязностью произнес Сахнин. — Я ждал этого вопроса. Противника у тебя два, но скажу прямо — один серьезный. Да ты наверняка его знаешь. Старшина первой статьи Либель.

Услышав эту фамилию, Гриша вздрогнул, как начавший движение железнодорожный состав, ведомый неопытным машинистом, и долго молчал, переступая с ноги на ногу. Язык будто прилип у него к нёбу.

В училище не было человека, который не знал бы Либеля. Двадцатипятилетний здоровяк, он успел повоевать на Волжской флотилии, был награжден боевым орденом. Большинство своих поединков он кончал нокаутами, и, благодаря его многочисленным победам, стены кафедры физподготовки были увешаны грамотами и вымпелами, как рекламные доски по обмену квартир объявлениями, а начальник третьего курса гордился спортсменом, как гордится старенькая безграмотная мать сыном-академиком.

— Как же я смогу с ним драться? — наконец произнес Гриша тихим голосом. — Он же чемпион вмузов. Вы шутите, наверное, товарищ капитан

второго ранга. Убьет он меня.

— Перестаньте дрожать, Максимов, — повысил голос Сахнин. — На вас противно смотреть. Никто вас не собирается убивать. При явном преимуществе одного из соперников бой прекращается. Постарайтесь продержаться сколько сможете. Вас обучат глухой защите и отходу. Маневрируйте, больше двигайтесь по рингу.

«Отказаться, пока не поздно, — лихорадочно размышлял Гриша. — Последняя возможность, до того как включат в списки. В конце концов еще один месяц Сахнин не пустит в увольнение».

Но тотчас же мысль о том, что целые четыре недели он сможет видеть Леру только через решетку училищного парка, повергла его в отчаяние. Да и отказываться снова, после того как дал согласие, неудобно. «Ладно, была не была», — решил Гриша и спросил, прежде чем выйти из кабинета:

— Насчет увольнения не забудете?

— Не беспокойтесь, Максимов. Я о таких вещах не забываю.

Пять минут спустя Гриша энергично растолкал спящего Левку Семеновского и поведал ему о только что состоявшемся разговоре с начальником курса.

— И ты согласился, глупец, драться с самим Либелем? — Левка обалдело глядел на приятеля круглыми, как пятаки, глазами. — Ты что, спятил? Пришибет он тебя, как таракана. Только останется грязное пятно.

— А что было делать? Завхоз прижал меня, как афишу к тумбе. Выхода не было.

— Ах да, забыл совсем. Обворожительная Лерочка, таинственные вздохи, многозначительные взгляды, невнятный шепот в темноте… — презрительно поморщился Левка. — Ради одного поцелуйчика ходить целый месяц с разбитой мордой. Не понимаю и никогда не пойму.

Гриша молчал. Книгоед Левка презирал женщин. Он не ходил даже на танцы и в дни увольнений отправлялся прямехонько в публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина.

— Почему Завхоз выбрал именно меня? — спрашивал Гриша не то сам себя, не то Левку. — У нас во взводе еще трое ребят весят более восьмидесяти килограммов. И мышц у меня мало, одни кости…

— Он же страшный честолюбец, наш начкурса, — говорил Левка. — Для него важно одно — чтобы курс занял первое место. Любой ценой. Ты ведь сам говоришь, за невыставленного участни-

ка ноль баллов, за поражение один балл. Вот и вся его гнусная арифметика. Умри, но выйди на ринг и заработай необходимые курсу очки, чтобы он мог потом похвастаться перед начальством: «Мои курсантики опять впереди».

— Но почему все же я? Вот что непонятно, — допытывался Гриша.

— «Почему-почему»! — рассердился Левка. — Значит, были какие-то соображения.

Несколько минут он продолжал лежать на койке, потирая пальцами переносицу, что у него всегда было признаком глубоких раздумий. Потом сказал:

— Ладно, пойдем покурим.

Они прошли по длинному коридору в гальюн, сели на подоконник, молча закурили.

— Курсантская жизнь, Мачта, это синусоида, — наконец задумчиво изрек Левка. — Отрицательная фаза сменяется в ней положительной. За всяким падением всегда следует подъем.

Левка был философом. Но не оторванным от жизни абстрактным мыслителем, а человеком, твердо стоявшим на земле. Сначала он обосновывал свои выводы теоретически и сразу вслед за этим начинал претворять в жизнь.

— Сейчас ты находишься в отрицательной

фазе, — продолжал он. — Так?

Гриша с готовностью кивнул. Теория синусоиды в отличие от многих других теорий была проста, доступна и сразу пришлась ему по душе.

— Значит, теперь следует ждать подъема положительной фазы и делать все, чтобы он произошел скорее, — продолжал Левка. Он докурил махорочную цигарку так, что ее кончик совсем спрятался в его желтых прокуренных пальцах, потом издалека ловко бросил окурок в урну. — А почему бы тебе, несчастной жертве любви, не пасть ниц перед Либелем и не умолить его, чтобы он не слишком тебя уродовал? — неожиданно спросил он. — Говорят, он отличный парень.

— Гениально! — впервые за последний час оживился Гриша. — Даже в твоей набитой библиотечной пылью коробке иногда вспыхивают отдельные ценные идеи. Смотаюсь к нему сегодня же.

— Действуй, — благословил его Левка.

Минут за двадцать до вечерней поверки Гриша попытался тайно проникнуть на третий курс. Разговор предстоял секретный и щекотливый. Но стоявшие у входа два третьекурсника — «карандаша» сразу заметили его.

— Мачта пожаловала в гости, — сказал один.

— Таким длинным быть, скажу тебе, тоже мало радости, — произнес второй.

Пришлось Либеля вызывать в открытую. Пауль понял Гришу с полуслова.

— Я никаких махинаций не признаю, — сказал он с легким эстонским акцентом. — А в боксе тем более. Состязание есть состязание. Так что извини.

Гриша вернулся на курс еще более напуганным и рассказал о своем разговоре Левке.

— Принципиальный, черт, — не то с осуждением, не то одобрительно проговорил Левка, и его круглые, как пятаки, глаза сделались задумчивыми. — От такого пощады не жди.

В среду после занятий маленький плотный Белов, боксер и физорг курса, начал тренировать Максимова.

— Первым делом научись двигаться по рингу и уклоняться от ударов противника, — учил он. — Смотри, как это делается.

И он легко и изящно, будто танцуя, кружил вокруг Гриши, периодически нанося по его корпусу короткие, несильные удары.

— У тебя руки длинные. Используй, Гринь, свое преимущество, избегай сближения, по мере возможности старайся держаться от противника

на расстоянии.

Гриша несколько раз пытался достать его, но Белов всякий раз успевал незаметно уйти в сторону, и удары Гриши лишь сотрясали воздух.

К концу первой тренировки Гриша еле держался на ногах от усталости. Тело его болело, ноги едва двигались.

— Может, на сегодня хватит? — жалобно попросил он Белова и вдруг увидел стоявшего у двери, молча наблюдавшего за тренировкой начальника курса.

Гриша был уверен, что жестокий, безжалостный Завхоз произнесет свою любимую поговорку «Без труда не вытащить и рыбки из пруда» и прикажет продолжать тренировку. Но Сахнин неожиданно сказал:

— Думаю, Белов, на сегодня хватит. А у вас, Максимов, хорошо получается. Поверьте мне, старому драчуну. Главное, не трусьте.

За ужином дежурный по камбузу поставил перед Гришей вторую порцию гуляша с гречневой кашей.

— Это мне? — обрадовался, но не поверил Гриша, отлично зная, что никаких добавок никому не полагается. — За что?

— Ты — Максимов? — переспросил дежурный

и, получив утвердительный ответ, пояснил: — За что — не знаю. Но по личному распоряжению начальника вашего курса.

В оставшиеся до начала спартакиады три недели Гриша тренировался дважды в день. Рано утром до начала занятий в бойлерной, где было очень жарко, но был огорожен маленький ринг, и вечером в спортзале.

Теперь после тренировок он не так уставал. Белов хвалил его за крюк левой.

— Знаешь, Левка, — делился Гриша со своим другом, — какая-то изюминка в этом боксе есть. Он стал мне даже немного нравиться.

— Особенно когда тебя не бьют, освобождают от хозяйственных работ и дают дополнительную порцию второго на ужин, — заметил Левка. — Совсем неплохо. Но вспомни, между прочим, что японцы своих камикадзе тоже хорошо кормили и освобождали от всяких дел.

По телу Гриши пробежал неприятный холодок. Действительно, странно — спортсменов у них во взводе несколько, а подкармливают почему-то его одного.

— Кто такие камикадзе? — спросил он. — Я про таких не слышал.

— «Кто, кто», — передразнил Левка. — Смерт-

ники-добровольцы. Вот кто.

Удивительно, как Левка умел одной фразой испортить настроение. Гриша мгновенно снова представил себе Либеля, его могучую, будто вылепленную только из мышц и сухожилий фигуру.

В тот вечер ему хотелось побыть одному. Ни разговаривать, ни читать, ни играть в шахматы не было желания. В воскресенье в три часа дня начинались соревнования по боксу. На душе было тревожно, нелепые предчувствия томили, лишали покоя.

Единственно, кого бы он хотел увидеть сейчас, была Лера. Если бы она почувствовала его настроение и пришла! Гриша даже загадал, что, если она придет, все завтра обойдется. На всякий случай он вышел к проходной и долго стоял там, подпирая спиной старый, изрешеченный осколками клен. Но видно, душа Леры была настроена не на ту волну, девушка не пришла. Тогда он вернулся и лег на койку. Сон не шел. За столом шумели ребята. Потом, когда все улеглись, сменился с дневальства и тотчас же стал могуче храпеть абсолютный чемпион училища по этому виду спорта Фома Кольчевский. Было такое впечатление, что в кубрик въехал и сейчас спускает

лишний пар мощный грузовой паровоз «ФД». Гриша не выдержал и запустил в Фому ботинком. Вероятно, ботинок попал в яблочко, потому что Фома мгновенно проснулся и стал громко ругаться и искать виновного. Пока он занимался расследованием, Гриша уснул.

Ему снилась Лера. В длинном черном платье и валенках она танцевала с Либелем, и он прижимал ее к своей мускулистой груди. Поэтому Гриша ворочался во сне и стонал.

К пятнадцати часам большой спортивный зал училища заполнили болельщики. Курсанты всех курсов, матросы хозяйственной команды, экипажи училищных шхун «Бейдевинд» и «Галфинд», командиры рот, преподаватели, командование училища.

Участников соревнований построили по весовым категориям. От легчайшего до тяжелого веса. Гриша стоял рядом с Либелем, возвышаясь над ним почти на целую голову. Боксера с первого курса не было. Чуть позже прибежал Левка Семеновский и сообщил, что первокурсник сдрейфил, прикинулся больным и в последний момент был снят с соревнований. Стало быть, остался только один противник. Но какой!

— Откажись и ты, пока не поздно, — шептал

Левка Грише на ухо. — Посмотри на его лицо. Зверь. Голодный тигр в джунглях.

— Уйди прочь, — устало сказал Гриша. — Не трави душу.

Либель действительно все больше и больше нагонял на него страху. В зале было прохладно, и все боксеры, сидевшие неподалеку от ринга на низенькой скамеечке, надели брюки и даже накинули на плечи шинели. Только Либель сидел в трусах и майке и массировал свои мощные мускулы. В сторону Гриши он ни разу не посмотрел, не улыбнулся, а на приветствие ответил коротко и сухо, будто гавкнул:

— Драсть!

Соревнования начались. Первую победу выпускному курсу принес Боря Францев, этакий малорослый крепенький «карандаш». Он победил по очкам. Затем, как и ожидали, легко выиграл бой физорг Белов.

Сахнина невозможно было узнать. Обычно резкий, сухой, малоразговорчивый, с замкнутым, неулыбчивым лицом, он будто преобразился после этих побед. Его длинный и острый нос блестел, голубые глаза сияли. Болельщики восторженно хлопали в ладоши. Затем произошло неожиданное. С ринга увели под руки всеобщего любимца,

курсового поэта Степана Бутова, прижимавшего к носу испачканное кровью полотенце. А вслед за ним упал на помост от мощного удара в челюсть курсант первой роты Сережа Лысенков. Первокурсники завопили во все горло. Сахнин потянулся за стаканом с водой. Он так желал победы своим курсантам, что после очередной неудачи Женька Якобсон сказал, соседу:

— Посмотри на Завхоза. Вот «болеет», чудило. Как бы его кондратий не хватил.

Затем Сахнин неожиданно встал и пересел на скамейку позади Максимова.

— Главное, не бойтесь, Максимов, — прошептал он Грише на ухо и похлопал его по плечу. — Не опозорьте себя перед товарищами. Это главное. А синяки заживут.

— Ладно, — сказал Гриша и подумал, что временами в Завхозе пробуждается нечто человеческое, но, к сожалению, ненадолго.

— На ринг вызываются боксеры тяжелого веса. Пауль Либель, третий курс, и Григорий Максимов, четвертый курс.

Гриша пролез под канатами на ринг, механически пожал руки Либеля. Глаза его почти ничего не видели вокруг. Ноги противно дрожали, и он ничем не мог унять эту дрожь. Рот заполнила

густая клейкая слюна. Откуда-то издалека до него донеслись едва слышные последние напутствия Белова:

— Держись на расстоянии, избегай ближнего боя.

Обстоятельства Гришиного появления на ринге благодаря длинному языку Левки многим были хорошо известны. Да и рядом с идеально сложенным, подобранным Либелем Гришина долговязая фигура в наспех сшитых перед самыми соревнованиями желтых сатиновых трусах выглядела просто комично.

Прозвучал гонг. Поединок начался.

Первые тридцать секунд на ринге для Гриши проходили словно в густом тумане. Он так волновался, что не видел рефери и дважды наткнулся на него, вызвав громкий смех болельщиков. Вместо зрителей перед глазами темнело бесформенное, расплывчатое пятно.

Пауль гарцевал вокруг него на своих мускулистых ногах, как хорошо выезженная лошадь, и, видимо, присматривался, вел по привычке разведку боем. Гриша, как и учил его Белов, боксировал в защитной стойке: одна рука прикрывала нижнюю часть лица, другая наносила удары по корпусу противника. Они чаще всего не

достигали цели.

Вероятно, потому, что Пауль вел себя миролюбиво и ничего страшного не происходило, а возможно, и потому, что Грише удалось нанести один удачный удар по корпусу Пауля и в зале раздались аплодисменты, новоиспеченный боксер почувствовал, что волнение его начало постепенно ослабевать. Перестали противно дрожать ноги. Будто в проявителе, четко пропечаталось хорошо знакомое лошадиное лицо рефери. На мгновение в мозгу мелькнула даже Левкина синусоида, и он подумал, что, может быть, сегодня все обойдется хорошо, как вдруг неожиданный и сильный удар в челюсть отбросил Гришу в сторону. Он почувствовал, как летит по рингу не в силах остановиться, пока канаты не задержали его. В голове зашумело, перед глазами поплыли цветные круги. Через несколько секунд эти ощущения прошли, Гриша снова принял стойку и вышел на середину ринга.

Затем Пауль нанес свой второй излюбленный удар. На этот раз Гриша не удержался на ногах и упал на колени. К нему подбежал рефери и собрался считать, но Гриша быстро вскочил, и рефери дал знак продолжать бой.

Теперь удары Либеля сыпались на него все

чаще. Пауль, видимо, стремился еще в первом раунде закончить бой. Но, удивительное дело, Гриша держался. Странное, непривычное, незнакомое до сей поры чувство — не то злость, не то упрямство, стало овладевать им.

Уже несколько раз Грише удавалось уклоняться от ударов Либеля, однажды он улучил момент и сам нанес прямой в лицо противника. Да такой, что рефери остановил бой и проверил, не течет ли у Пауля из брови кровь. Кровь не текла. Перед самым концом раунда Пауль сильным ударом в челюсть снова свалил Гришу на помост. Подбежал рефери, о чем-то пошептался с Сахниным. Раздался удар гонга. Гриша с трудом поднялся и, пошатываясь, поплелся к стулу, поставленному в углу ринга физоргом Беловым.

Он сидел на нем в полном изнеможении, полузакрыв глаза, вытянув свои длинные ноги. Он не предполагал раньше, что за три минуты можно так устать, чувствовать себя таким разбитым.

Белов, обмахивая его, шепнул:

— Может быть, прекратить бой? Выбросить полотенце? Командир курса сказал, чтобы ты решал сам. Так что?

— Драться будем, вот что, — сказал Гриша.

На его губах промелькнуло даже какое-то подо-

бие улыбки. Снова прозвучал гонг.

Пауль легко поднялся со своего места и сейчас ждал Гришу посреди ринга, улыбаясь зрителям. Второй раунд проходил в сплошном гуле. Накал страстей в зале напоминал футбольные матчи с участием южноамериканских команд или корриду в Испании. Либель, по всей видимости, решил быстро закончить бой. Так долго возиться с этим длинным новичком было позорно для его репутации чемпиона вмузов.

Он обрушил на Гришу такой вихрь ударов, так припечатывал его к канатам, что тот не успевал опомниться. Но, ко все возрастающему восторгу публики, Гриша каким-то чудом держался и продолжал бой. Уже несколько раз зрители были убеждены, что этот удар последний, что после него Максимова останется только увести под руки с ринга, но проходили секунды, и Гриша опять, будто ничего особенного не произошло, неуклюже двигался по рингу и размахивал своими длинными руками. По всем признакам он и не помышлял о том, чтобы сдаваться.

— Молодец, Мачта! — кричали из зала болельщики. — Вали чемпиона в нокаут!

— Вы только посмотрите, товарищ командир, как он держит удар! — восхищался старшина

Захаров, сидевший рядом с Сахниным. — Удивил меня Максимов, честное слово, удивил. Я ведь, признаюсь, сомневался в правильности вашего выбора. Думал, какой из него боксер. Нерешительный он, трусоватый. Сбежит с ринга в первом раунде, позора потом не оберемся. Все училище будет смеяться. А ведь ошибся.

Сахнин усмехнулся, произнес:

— Знаете, старшина, как в старом флоте учили новичков плавать? Снимут леера, построят у самого борта голыми, и боцман командует: «Прыгай!» Салажата бултыхаются, пузыри пускают, страха натерпятся на всю жизнь, но глядишь — и поплыли, родимые.

В этот момент Либель нанес противнику сильный прямой удар в челюсть, и Гриша упал. Теперь уже не было сомнений, что это конец боя. Но Гриша снова вскочил и принял стойку. Уму непостижимо, откуда в нем бралась эта выносливость, устойчивость к ударам.

Раздался свисток. За явным преимуществом Либеля бой был прекращен.

Несколько секунд Гриша стоял, тяжело облокотившись на канаты, не в силах сделать и шага. Все тело болело, ноги были словно налиты свинцом, внутри ощущалась полнейшая опустошенность.

Странным, нереальным казалось то, что еще мгновение назад он двигался посреди ринга и был готов продолжать поединок. Теперь он не смог бы пошевелить и пальцем.

Подошел Либель, похлопал Гришу по плечу.

— Я по-другому не умею, — тихо, будто виновато сказал он. — Молодец. Удар ты держал хорошо.

С помощью Левки и Женьки Якобсона Гриша перелез через канаты и пошел в раздевалку. Там из зеркала на него глянула чужая распухшая физиономия, левый глаз почти не открывался.

— Красавчик Смит, — рассмеялся Левка и подмигнул ему в зеркале. — Ей-богу, ты потряс меня. Не удивлюсь, если запишешься в секцию бокса.

— Брось травить, — сказал Гриша, с трудом разжимая губы. Но слова Левки были ему приятны.

Сегодняшний бой удивил его самого. В глубине души он считал себя трусом, человеком, неспособным совершить ни одного смелого поступка. Стоило появиться хоть маленькой опасности — увидеть на темной улице группу незнакомых парней, заступить в караул на отдаленный пост или просто знать, что впереди на лыжне есть небольшой трамплин, — как тотчас же против его воли сердце начинало колотиться, в груди появлялось жжение, а ладони влажнели. К счастью,

об этом, кажется, никто не догадывался. Даже его друг Левка. Гриша всегда завидовал смелым, отчаянным ребятам, искал с ними дружбы.

Час спустя Гриша лежал в кубрике на своей койке поверх одеяла и прикладывал принесенное Левкой мокрое полотенце. Оно приятно холодило распухшее лицо. Ребята готовились в увольнение — гладили суконки и брюки, брились, переодевались.

Перед самым ужином в кубрик вошел старшина Захаров и протянул Грише увольнительную записку.

— До утра, — сказал он. — По приказанию начальника курса.

— Куда же я пойду с такой рожей? — с сожалением произнес Гриша, вертя в руках еще недавно столь желанную увольнительную. — Людей пугать на улице?

— Морда жуткая, — согласился Левка. — Разукрасили тебя, как фасад училища к Новому году. Но и дать пропасть увольнительной до утра — неслыханное пижонство. — Левка сидел рядом на своей койке и подшивал к галстуку свежий подворотничок. — Никто тебя не увидит. А она поймет, пожалеет. Ты пойми, брате Григорию, — продолжал он обобщать свой «богатый» жизненный

опыт, — для девушки нет ничего приятнее, чем жалеть мужчину. У них эта жалость в крови. Мужчины такие беспомощные, доверчивые, неумелые. Того и гляди, пропадут без их жалости. Уверен, что твоя Лерочка не исключение. К тому же, можно сказать, ты из-за нее страдал. Верно? Советую идти.

— Не уговаривай меня, — невнятно проговорил Гриша, с трудом шевеля распухшими губами. — С такой рожей все равно не пойду.

Некоторое время он лежал молча, наблюдая, как Левка умело, словно заботливая мать большой семьи, штопает синие форменные носки, потом пробубнил:

— Завхоз мне теперь по гроб жизни должен быть благодарен. Курс занял первое место. Именно это для него самое главное.

Левка откусил нитку, спрятал иголку и катушку в тумбочку, вздохнул, сказал задумчиво:

— Сдается мне, что он хитрее и коварнее, чем мы считаем.

— Думаешь? — недоверчиво переспросил Гриша. — Есть факты?

— Фактов нет. Но в роду Семеновских всегда доверяли предчувствиям… — Левка умолк, не спеша надел шинель, сказал на прощание: — Гуд

бай, сэр.

Около часа Гриша продолжал лежать один в опустевшем кубрике. Форточка была открыта, из нее дуло. Встать и закрыть ее было лень. Порывистый ветер сыпал на подоконник пушистые снежинки. Откуда-то издалека слышалась музыка, шум трамваев, чей-то смех. Гриша попытался задремать, но сна не было. Тогда он достал зеркало из тумбочки и долго рассматривал в нем свое отражение.

— Жуть, — сказал он сам себе. — А впрочем, пойду. Пропадет увольнительная.

И, вскочив с койки, быстро оделся и побежал к трамваю…

* * *

В будние дни у Федора Федоровича Сахнина было всегда много дел. Шутка ли, на его плечах сто шестьдесят курсантов выпускного курса, таких разных по воспитанию, характерам, наклонностям. Энергия у парней бьет через край, того и гляди, выкинут какой-нибудь номер. Казалось бы, выпускники, серьезные люди, без пяти минут офицеры, а недавно где-то достали двух петухов и устроили в коридоре настоящие петушиные бои.

Свободного времени почти не оставалось. Толь-

ко вечерами, когда курс строился на вечернюю прогулку, Федор Федорович выходил вместе с курсантами во двор и с удовольствием слушал, как поют ребята на мотив популярной песни:

Когда встанет да над шпилем утро раннее,
Колыхнутся листья в Сашкином саду,
Выбегаем на зарядку с нежеланием,
Со старшинами ругаясь на ходу.

Воскресные и праздничные вечера он не любил. Курс пустел, курсанты разбегались в увольнение. Оставались только штрафники да занятые на дежурстве. В эти дни он чувствовал себя особенно одиноко.

Послезавтра исполнится три года, как умерла Зина. Он посмотрел на лежавшую под треснувшим стеклом стола фотографию жены: толстая коса на груди, глаза скрыты за темными стеклами очков, в улыбке раскрытые губы. Зина была сиротой. Воспитывал ее дядя, отставной боцман Трофим, человек мрачный и неразговорчивый. Он по-своему любил племянницу, но был с нею строг чрезмерно. Зина не плакала, но приходила на работу с искусанными губами. В бригаде тральщиков Зина работала телефонисткой. Когда

они познакомились, девушке едва исполнилось шестнадцать.

Как-то в конце лета старший лейтенант Сахнин увидел Зину в поле. Она шла в лодочках по мокрой после дождя земле и остановилась перед каменистым быстрым ручьем. Он незаметно подошел сзади, поднял девушку на руки и перенес на другой берег. Зина ойкнула, обхватила его руками за шею, сказала: «Феденька» — и замерла.

Федя поставил ее на землю и пошел дальше. Потом Зина рассказывала, что никого, кроме Феди, не любила и все ждала, что он сделает ей предложение. А он не спешил. Думал — девчонка же еще совсем, подросток, куда ему такая жена. Только в куклы с нею играть или в дочки-матери. Моложе его на пятнадцать лет. Но через полтора года женился.

Зина любила говорить соседкам:

«Господи, какую я прекрасную жизнь с Федей прожила».

Но Сахнин знал, что мало хорошего у Зины в жизни было. Сначала голодное сиротское детство, а затем бесконечные скитания за ним по всем окраинам Дальнего Востока и Севера, жизнь по чужим углам, казенные табуретки и железные кровати. В службе ему не везло. В мирное время

начальству часто не нравилась его независимость, прямота, излишняя резкость. Дома Сахнин бывал мало. Все свободное время проводил или на охоте или на рыбалке. Приятель как-то сказал ему: «Бирюк ты, Федька. Жену б пожалел. Сохнет она с тобой». Ответил тогда, вздохнув: «Какой уж есть. Себя не переделаешь».

А потом неожиданно Зина начала слепнуть. Ходила в темных очках, читать не могла, в кино сидела в первом ряду и все равно почти ничего не видела. Но не переносила, если ее жалели. Продолжала упрямо бродить по пустынному берегу на лыжах, весь день распевала в комнате и на кухне песни, говорила соседям и знакомым: «Я очень довольна своей жизнью. Хожу на лыжах, в кино, слушаю музыку, вяжу. А главное — мой Феденька рядом».

А погибла глупо, обидно. Шла на лыжах, не увидела обрыва и упала со скалы. Детей у них не было…

Опять началась изжога, противно заныло под ложечкой. Эта боль с перерывами беспокоила уже недели две. Несколько минут Федор Федорович сидел не двигаясь, ожидая, что боль пройдет, потом встал, выпил соды. Стало легче. Тогда он снял китель, достал дощечку, пасту «гои», щеточ-

ку и начал чистить медные пуговицы. Командир курса должен подавать курсантам пример аккуратности.

Смешно, но в Ленинграде, где он учился и служил, у него не оказалось друзей. Знакомые есть, однокурсники — тоже. А друзей нет. Пожалуй, только одного ленинградца он считал своим другом — Толю Марченко. Они вместе учились четыре года, спали рядом, не имели тайн друг от друга. Спустя год после выпуска Толю неожиданно уволили в запас. Врачи обнаружили у него туберкулез. Это произошло на Дальнем Востоке. Толя писал ему оттуда длинные письма, сетовал, что жизнь дала первую, но глубокую трещину, что разом и навсегда рухнули юношеские мечты о дальних плаваниях, тугих океанских ветрах и экзотических странах, жаловался, что не знает, как быть дальше, как заново строить жизнь. А потом Сахнин стал встречать Толину фамилию в журналах, читать его книги. Ему нравилось, как пишет Толя — задиристо, не похоже на других. В последний год войны он прочел, что Марченко стал лауреатом, его книги издали за рубежом.

Переписка их прекратилась еще до начала войны, но Сахнин был уверен, что дружба от этого не могла угаснуть, что стоит им лишь увидеться,

как близость душ возобновится снова.

В первую же неделю после переезда в Ленинград он разыскал Толин адрес и отправился в гости. По пути он предвкушал тот дружеский разговор, по которому истосковался, когда друг от друга нечего скрывать, когда делишься самым сокровенным, затаенным.

Толя жил на улице Воинова в большой просторной квартире. Едва Сахнин переступил ее порог, как был ошеломлен царящим там многолюдьем. Начинающие литераторы, многие еще в гимнастерках и сапогах, модные девицы в толстых свитерах, какой-то рыжебородый толстяк с карандашом за ухом по имени Юлик. Было накурено, шумно. Хозяин дома в длинной бархатной поддевке, не выпуская изо рта трубки, ходил между ними, шутил, смеялся. Он чувствовал себя мэтром. Толя погрузнел, немного полысел, но в общем выглядел хорошо. Довольство жизнью, самим собой так и читалось на его круглом лице.

Неожиданному визиту Сахнина он очень обрадовался. Долго тискал его за плечи, повторяя: «Вот сюрприз, вот сюрприз», едва не прослезился от наплыва чувств. «Мой флотский друг», — говорил он всем гостям, по очереди представляя Сахнина, между делом рассказывая об учебе в

военно-морском училище, о службе на флоте.

Было очевидно, что годы, проведенные в училище, на кораблях, до сих пор предмет Толиной гордости, и, чтобы доставить другу удовольствие, Сахнин и потом всегда приходил к нему только в полной морской форме.

Орденов у него было семь, да еще тремя его наградили союзники за проводку трансатлантических конвоев и спасение экипажей английской подводной лодки и американских транспортов. Но надевать ордена он не любил, считая нескромным выделяться среди других офицеров училища прошлыми заслугами. А старшину Захарова специально предупредил, чтобы он не распространялся насчет его наград. Но когда шел к Толе, хоть и ворчал, но надевал, как он говорил, «весь иконостас», зная, что этим доставит другу большое удовольствие.

«Нахватал, нахватал! — каждый раз изумлялся хозяин. — Подарил бы хоть парочку старому другу. — А потом, представляя Сахнина всякий раз новым гостям, говорил: — Знакомьтесь, мой флотский корешок».

Сначала он прощал Толе эти маленькие слабости. Но когда однажды хозяин, выпив лишнего, стал в его присутствии врать, как они вместе

плавали кругосветку и неподалеку от острова Новая Гвинея в Арафурском море попали в десятибалльный шторм, а он, Толя, стоял на спардеке и наслаждался красотой вздыбленных волн, Сахнин не выдержал и рассмеялся.

«Это уж слишком даже для писателя, — сказал он. — Во всем должна быть мера».

Больше он к Толе не ходил.

...Федор Федорович закончил чистку пуговиц, оделся и вышел в коридор. Дневальный вытянулся.

— В роте есть кто-нибудь, Якобсон?

— Четверо неуволенных — в кино. Спит один Перлов. Как лег после ужина, так до утра и не повернется на другой бок.

— Здоровый беззаботный курсантский сон, — улыбнулся Сахнин. Он подумал, что раньше тоже мог проспать двадцать четыре часа, не поворачиваясь. Теперь не то. Ворочаешься долго, пьешь остывший чай, думаешь о своих курсантах. То с одним не ладится, то с другим. Лежишь и ломаешь голову, как поступить. А они, между прочим, не шибко жалуют его своей любовью. Он это отлично чувствует.

— С товарной станции группа не вернулась? — спросил он.

— Никак нет, товарищ капитан второго ранга. Раньше двенадцати вряд ли вернутся.

«Хорошо, если к двенадцати», — подумал Сахнин.

Сегодня утром он, наконец, начал писать письмо на Север своему товарищу, командиру «Беспокойного». Уже три безответных письма прислал ему приятель и в каждом, после подробных и обстоятельных перечислений флотских новостей, просил Федьку, как по старой курсантской привычке он его называл, рассказать, как расстался Сахнин с кораблем, как сложилась его служба на новом месте. Когда Федор Федорович уезжал в Ленинград, приятеля на флоте не было.

> «Понимаешь, интерес у меня не простой, — писал товарищ. — Замечаю, что стареть стал. Будя на мостике стоять. Собираюсь тоже просить о переводе».
>
> «Ты спрашиваешь, как я перевелся в Ленинград? — отвечал Сахнин приятелю. — В августе вызвал меня командующий. Думал, будет драить за ЧП. Ты же помнишь, как у меня перевернулась призовая шлюпка? Но ошибся. Первый раз, между прочим, видел таким комфлота.

Ласковый, обходительный, в кресло усадил. В войну сказали бы, что он таким может быть, — не поверил бы. «Воевал ты, Федор Федорович, хорошо. Для флота твой уход будет большой потерей. Но ведь знаю, болеешь, нелегко с язвой желудка тебе стоять на мостике. В общем, звонил сегодня в Москву, разговаривал с кадровиками. Предлагают перевод в военно-морское училище в Ленинград. Согласен?»

Я сразу согласился. Последний год действительно трудно было стоять на мостике. Иногда, поверишь, так схватывала боль в брюхе — стоишь, стиснув зубы, еле сдерживаешься, чтобы не застонать. А тут училище, которое сам закончил, работа живая, как раз по мне. В общем, поехал. Признаюсь, первые дни именинником ходил, все думал: «Повезло тебе, Федор Федорович». Что ни говори, а за долгие годы службы, за войну поднакопили мы кое-какой опыт, есть чем поделиться с ними, завтрашними офицерами, молодой надеждой флота. Но теперь вижу, ни курсантской любви, ни уважения завое-

вать не сумел, а заслужил лишь обидную кличку Завхоз...»

На этом месте его отвлекли от письма, так и лежит оно на столе недописанным...

В училищном парке не было ни души. Темнели расчищенные от снега дорожки. За оградой звенели трамваи. С Невы дул сырой, пронизывающий ветер — первый предвестник весны. Федор Федорович медленно шел к освещенному зданию клуба, погруженный в свои мысли. Действительно, почему так получилось, что он не сумел завоевать уважения курсантов?

Все четыре военных года он провел на мостике эскадренного миноносца, сначала старпомом, потом командиром. Высаживал десанты, топил вражеские подводные лодки, сопровождал трансатлантические конвои. В базу заходил только для пополнения запасов и ремонта.

На корабле об отношениях с экипажем не думал, любви личного состава не искал. Знал, что корабль воюет неплохо, что его «Бедовый» был у командования на хорошем счету, что офицеры и матросы верят в него и, когда командир на мостике, спокойны, что все будет в порядке. Без лишней скромности можно сказать, что он

неплохо знает свое моряцкое дело, в трудных ситуациях не теряет хладнокровия и принимает верные решения. Когда требовалось, матросы и офицеры шли за ним на любое, самое опасное задание. О том же, что он по характеру резок, сух и немногословен, — никто в годы войны не вспоминал.

В училище все обстоит иначе. Сейчас никому не нужна настойчивость в поиске врага, знание его повадок, умение найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Война кончилась. В училище нужно быть улыбчивым, компанейским человеком, участвовать в самодеятельности, как начальник первого курса, знать искусство. Чувствуется, что того любят и курсанты, и начальство. Ну что ж. Вероятно, воспитание курсантов не его призвание. Он доведет курс до выпуска, а потом попросит перевести его на другую должность.

В клубе, желтом двухэтажном здании без украшений и балконов, закончился сеанс. Широко распахнулись тяжелые двери, и во двор с шумом высыпала толпа курсантов. «Привык я к ним, — неожиданно подумал Сахнин. — Жаль будет расставаться».

Федор Федорович зябко поежился и медленно

пошел обратно.

* * *

Трамвай был наполовину пуст. На площадке продувало. Гриша недолго постоял там один и вошел в вагон. Молодая кондукторша, закутанная в огромный платок, с любопытством посмотрела на его физиономию, увидела здоровенный синяк под глазом, фыркнула, но ничего не сказала. Настроение у Гриши было великолепное. Давно он не чувствовал такого подъема. Он знал, что через три-четыре дня его лицо приобретет свой обычный вид, зато слава о поединке с самим Либелем еще долго будет греметь по курсу.

Напротив него сидела девочка лет пятнадцати. На отвороте ее пальто был прикреплен значок с какими-то буквами. Гриша чуть наклонился и разобрал надпись: «Кто прочтет — тот осел».

— Значит, я осел?

— Именно, — улыбнулась девочка.

— А кто носит, тот кто? Умный?

— Конечно, — сказала девочка.

Она была удивительно похожа на одну его знакомую еще в эвакуации. Каждого мальчика та называла «зайка». «Такая же дура», — подумал он и потерял к девочке интерес.

Дверь отворила Александра Андреевна. Как всегда с папиросой в зубах, шумная, громкоголосая.

— Господи! — загромыхала она. — Кто ж тебя так отколошматил, несчастного? — Несколько мгновений она рассматривала его лицо, сказала обеспокоенно: — Ну и постарался кто-то на совесть. Проходи в комнату, Гриша, Лерочка сейчас придет. Она пошла за конспектами.

Александра Андреевна сразу принялась лечить Гришу. Принесла с балкона мисочку снега, положила в него два пятака и заставила поочередно прикладывать холодные монеты к синяку под глазом:

— А мы с Леркой не понимали, куда ты исчез. Я говорю ей: «Сходи в училище, узнай. Мало ли что могло случиться? Может, мальчик заболел?» Так эта гордячка разве пойдет? «Неудобно, мама. Раз не приходит, значит, не хочет. Зачем навязываться?»

Вскоре пришла Лера, и Гриша поведал о сегодняшнем бое с чемпионом вмузов.

— Ужас сколько натерпелся бедняга, — вздохнула Александра Андреевна, дымя папиросой. — А все-таки ваш Завхоз жестокий и вредным человек. Этот чемпион мог тебя изувечить.

— Запросто, — охотно согласился Гриша. —

Вы бы посмотрели на его фигуру! Настоящий атлант.

Сейчас, сидя за столом, испытывая подъем после случившегося, польщенный сочувствием женщин, он уже забыл о недавних страхах, о том, как униженно просил Либеля о снисхождении. Ему казалось, что по-настоящему он и не боялся поединка, а с Либелем был просто товарищеский разговор. Любой поступил бы так на его месте. Он новичок, а у того опыт и мастерство.

— Ребята говорят, что и половину раунда бы не выдержали, — продолжал он. — А я, оказалось, классно держу удар. Для боксера это самое главное.

— Мамуля, — сказала Лера. — Почему так происходит: стоит мне с кем-то познакомиться, и у этого человека обязательно возникают неприятности?

— Чушь, — поморщилась Александра Андреевна. — Какие это неприятности? Ну, наставили синяков мальчику. До свадьбы заживет.

Потом они пили чай, и Гриша говорил не умолкая. Смешные истории из курсантской жизни так и сыпались из него.

— На первом курсе английский язык нам преподавала худенькая старушка по прозви-

щу Галя, — рассказывал он. — Приходит она в класс на занятия. Дежурный командует: «Встать! Смирно! Товарищ преподаватель английского языка!..» Галя говорит: «Английского языка — не надо!» «Присутствуют двадцать два будущих офицера», — докладывает дежурный. Галя говорит: «Будущих офицеров — не надо». «Отсутствуют трое. Двое в наряде, один драит кубрик». «Драит кубрик — не надо», — говорит Галя, садится, открывает портфель, вытаскивает тетради. «А о том, что надо сказать, вы молчите, — тихо произносит она. — Вы же списали все самым бессовестным образом. Я вам поставила двадцать две единицы».

Вслед за историей с Галей Гриша начал рассказывать, как он сдавал мореходную астрономию. Правда, случай этот произошел не с ним, а с Левой, но сейчас это не имело значения.

— Скоро из нас с тобой, Лерка, Гриша сделает форменных морячек, — засмеялась Александра Андреевна, стряхивая по своему обыкновению папиросный пепел в тарелку. — Секстан, — медленно произнесла она. — Я и слова-то такого не слышала. — Она поднялась, загасила папиросу, набросила на плечи кофточку. — Схожу-ка я к тете Глаше банки поставлю. Ты ж еще не уйдешь,

Гриша? У тебя увольнительная до которого?

— До утра, — сказал Гриша и почувствовал, что краснеет.

Александра Андреевна задумалась.

— Оставим его, Лерка, ночевать? Ты со мной ляжешь на кровать, а его положим на кушетке. Не возражаешь?

Она вышла.

Нет, так хорошо, как сейчас, Грише еще никогда не было. В конечном счете даже удачно, что он пришел сегодня с разбитой физиономией. «Прав был Левка, когда уговаривал пойти в увольнение, — подумал на миг Гриша. — И жизнь действительно синусоида. За отрицательной фазой следует положительная».

* * *

Незаметно прошла зима. Сырые ветры с Финского залива с трудом растопили снег на улицах, лед на Неве почернел и потрескался, но солнце по-прежнему появлялось редко.

Вместе с весной стремительно приблизилась пора государственных экзаменов. В ателье военной одежды на площади Труда курсантам уже шили офицерскую форму. С матросской формой расставаться было немного грустно. Уж

больно она красива, привычна, удобна. Брюки с клапаном, схваченные на талии широким ремнем, тельняшка, обесцвеченный известью, как у заправских мореходов, нежно-голубой воротничок.

— Нужно запечатлеть себя в ней последний раз, — говорил Левка, направляясь в фотографию на Невском. — Пусть адмиральские внуки знают, с чего начинал их прославленный дед.

— Пижон, — смеялся Гриша. — У тебя столько фотографий, что можно обклеить весь кубрик.

— Ничего, когда-нибудь они будут храниться в музеях под стеклом.

Командиры составляли списки курсантов, кто на каком флоте хотел бы служить. И хотя все отлично знали, что подавляющее большинство выпуска попадет на Север или на Дальний Восток, выражали желание ехать только на Черноморский или Балтийский флоты.

— Вот салаги, — беззлобно ругался командир второй роты Чесноков. — К пальмам и мандаринам их потянуло. А как же океанские плавания, айсберги и коралловые атоллы? Трепачи вы все, я гляжу.

— Одно другому не мешает, — смеялись ребята. — Да вы, товарищ старший лейтенант,

человек сухопутный. Не понять вам морской души.

— Вот я и вижу, что не понять, — ворчал старший лейтенант.

Чесноков пришел в училище два года назад прямо из госпиталя. Он окончил курсы младших лейтенантов, воевал в морской пехоте и считал себя моряком. Грудь его украшали два боевых ордена, что не мешало ему пуще огня бояться всякого начальства. По характеру он был безобиден, добр, и курсанты относились к нему хорошо, за глаза называя Митрий.

Расписания государственных экзаменов еще не было, но знакомая девчонка из учебного отдела уже сообщила по секрету их предполагаемые даты. Первым экзаменом была навигация.

Теперь самые заядлые лентяи и гуляки по вечерам сидели над книгами и конспектами. В учебных классах не стало слышно бесконечной курсантской «травли», взрывов смеха. Сиротливо стояли заброшенные коробки с шахматами и домино.

В эти весенние дни неожиданно заболел командир курса Сахнин. Старшина Захаров зашел к нему днем в кабинет, чтобы доложить о выполнении приказания, и увидел капитана второго

ранга лежащим на койке. Лицо его было мертвенно бледным, лоб покрыт испариной.

— Захаров, — едва слышно сказал он. — Мне нехорошо. Вызовите врача.

Вскоре прибежал из санчасти врач. А сразу вслед за ним «эмка» начальника училища увезла Сахнина в госпиталь. Его обязанности временно стал исполнять Митрий.

О Сахнине никто не вспоминал. Неумолимо близились госэкзамены, производство в офицеры, назначение на флоты. Нужно было спешно решать и личные проблемы — жениться в Ленинграде или ехать в Тмутаракань холостяком? Вопрос серьезнейший. В отдаленных морских базах, как известно, жену найти трудно.

В канун майских праздников Митрий на вечерней поверке объявил:

— Кто, значит, желает поздравить в госпитале нашего командира — тот пускай за увольнительной обратится ко мне лично. В любое время. Ясно?

— Ясно, — нестройно ответили курсанты. Но никто к Митрию не обратился. Всем было некогда. А в госпиталь пойдешь — полдня потеряешь.

Две недели спустя перед ужином в кубрик ворвался Левка. Полчаса назад он купил в киоске

небольшую книжицу. Ее автором был известный всей стране адмирал, командующий Северным флотом. Книга скромно называлась «Записки» и была посвящена событиям Великой Отечественной войны.

— Послушайте, фендрики, что здесь говорится! — закричал Левка и тотчас же начал читать вслух: — «Эскадренным миноносцем «Бедовый» командовал капитан третьего ранга Федор Федорович Сахнин. Не боясь преувеличений, скажу, что это был замечательный моряк. В любую погоду «Бедовый» уходил на выполнение боевых заданий, и я всегда был уверен, что командир сделает все возможное и даже, казалось, невозможное. Человек большой личной храбрости, хладнокровный, находчивый, Сахнин сумел воспитать экипаж, который по заслугам считался одним из лучших на Северном флоте…»

Левка читал долго. В небольшой книжечке их командиру курса было уделено почти три страницы. Рассказ о нем заканчивался фразой: «Я уверен, что о жизни и подвигах этого моряка еще будет рассказано подробно и обстоятельно».

Ребята слушали молча, ни словом, ни движением ни разу не перебив Левку. То, что они узнали сейчас о своем командире курса, было для них

полной неожиданностью. Вот тебе и Завхоз, придира и зануда. Это не укладывалось в голове, в это невозможно было поверить. Несколько минут в кубрике было тихо. Ребята потрясенно молчали.

Первым заговорил Гриша:

— Мы не прорицатели в конце концов, верно? Кто мог знать?

— Помолчи, Мачта, — тихо сказал Женька Якобсон. — Лично я считал себя вышедшим из пацанского возраста… Дай мне книжку на сегодняшний вечер.

На следующий день все книги в киоске были раскуплены. Продавщица клялась, что больше не осталось ни одного экземпляра, но обещала привезти с базы еще.

В ближайшее воскресенье курсанты решили навестить Сахнина. Поскольку в один день собралось поехать в госпиталь больше ста человек, Митрий установил очередность. Не более взвода на одно посещение. Сегодня была очередь первого взвода.

Ребята вывалились шумной гурьбой из трамвая, как это бывало во время культпоходов в театр, и направились к проходной. Госпиталь помещался неподалеку от Калинкина моста, на проспекте Газа.

Уже было тепло. По веткам прыгали и весело чирикали воробьи. На деревьях набухли почки. Гриша сорвал одну из них. Она была большая, и он держал ее двумя пальцами, как майского жука.

Сахнина они увидели в саду. Он сидел на уединенной скамейке в застиранной байковой пижамной куртке, просторных, как у запорожского казака, коричневых шароварах и читал книгу. Федор Федорович еще больше похудел. Скулы его торчали, острый, как форштевень, нос сильнее заострился, тонкие губы стали еще тоньше.

Ребята окружили его, как ни в чем не бывало, перебивая друг друга, стали рассказывать курсовые новости. За несколько месяцев до выпуска, по курсу прошла волна свадеб. Только за последнюю неделю женились четверо курсантов, сегодня «лез в хомут» Леня Тончевский.

Потом внезапно все замолчали, почувствовали себя виноватыми. Наступила неловкая пауза.

— А вы читали, что о вас написано? — прервал молчание Левка, протягивая книгу.

Федор Федорович не спеша взял ее, прочел фамилию автора, отложил в сторону, вытащил из кармана пижамы пачку «Беломора».

— Вам, наверное, сейчас курить нельзя, — ска-

зал Левка.

Сахнин усмехнулся, чиркнул самодельной, сделанной из патронной гильзы, зажигалкой, с наслаждением вдохнул в себя дым.

— Нельзя, — подтвердил он. — Врачи ругаются.

Гриша сбоку наблюдал за ним. «Здорово держится, — думал он. — По лицу не узнаешь, рад, что пришли, или не рад. Скорее всего — рад. Не баловали мы его. Наверное, и не навещал никто».

— А твои, Максимов, как дела? — спросил Сахнин, поймав на себе его пристальный взгляд. — Жениться не собираешься?

— Не знаю, — признался Гриша. — Не решил пока.

— Врет Мачта, — засмеялся Левка. — Выписывайтесь скорее, товарищ капитан второго ранга. Вместе на свадьбе погуляем.

Пока они шли гурьбой по аллее к выходу, Сахнин не отрываясь смотрел им вслед. Прочли о нем хорошие слова в книге и сразу прибежали. А не прочли бы, так ни разу бы и не появились… Он подумал, что, по сути дела, только сейчас, кажется, разобрался в их характерах. И еще он подумал, что, как ни печально в этом признаваться, роль воспитателя, видимо, не его призвание. Пускай начальство подыщет ему другое местечко.

...У проходной будки ребята остановились, дружно повернулись и прощально помахали руками.

— Поправляйтесь! — донеслись их голоса.

Федор Федорович тоже попытался ответно махнуть рукой и сразу почувствовал боль в животе.

«Черт возьми, а что, если рискнуть и попробовать еще раз? — неожиданно подумал он, все еще ощущая боль и поэтому боясь пошевелиться. — Взять с нового учебного года первый курс. Конечно, я бы многому мог научить их. Столько увидено, столько пережито. Кто же это сделает, если не мы, старые солдаты? Поправиться прежде надо, прийти в себя, — вздохнул он. — А уж затем решать. Да и поймут ли его те, новые? Или тоже будут считать «завхозом»?»

Несколько минут Сахнин сидел неподвижно, ожидая, пока успокоится боль, потом осторожно открыл книгу.

В. Коржиков
КАК МАТРОСЫ СТИРАЮТ РОБЫ
Стихотворение

Испытали бы ради пробы,
Как матросы стирают
робы!
Распинают их в жарком душе,
Трут мочалом, ругают в душу.
И ногами их мнут
в горячке,
И выкручивают,
как прачки,
Скользким кубиком натирают.
Драят шваброй, ногтями драят.
И вдыхают, блестя от жара,
Синеватые клубы пара!
Хороша, хороша водица —
Не грешно самому помыться!
Эх, и мыло, на что душисто...
Пару выдайте, машинисты!

Где там веник — березка с грустью?
Чтоб до сердца
Пробрало Русью.
Подлечиться б, погорячиться —
Бей от копчика до ключицы!
Чтоб носилась бы век,
до гроба
Эта
выдубленная роба!

В. Гордеев
УМБА-РЕКА
Стихотворение

Сквозь тоску,
через все расстояния,
тяжела ли дорога, легка,
сердцем празднуя встречу заранее,
я спешу к тебе, Умба-река.
Вот опять я любуюсь откосами...
И гляжу,
как, пройдя валуны,
вновь, сплетаясь, становятся косами
шелковистые пряди волны.

Освещен ли зарей берег западный
или берег восточный багров,
неумолчно взлетает над запанью
речь людская и стуки багров.

Лес на сопках стоит и красуется.
И небесная синь высока!
А внизу —

с Белым морем целуется
шаловливая Умба-река.

К. Бадигин
СЛУЧАЙ НА ЗАТОНУВШЕМ КОРАБЛЕ
(Рассказ)

Над морем летают чайки. Распластав крылья, они лениво кружат в воздухе, высматривая добычу. Иногда птицы смело садятся на странный корабль, неподвижно стоящий на море. Они привыкли к этой безмолвной громаде, возникшей здесь в дни войны. Пронзительно гомоня, чайки усаживаются по закраинам палуб, влетают через разбитые иллюминаторы в пустые помещения, сидят на мачтах, на высоких надстройках.

Океанский лайнер «Меркурий» затонул на небольшой глубине, и море не поглотило корабль целиком. Несколько лет он, словно стальной остров, отражал натиск штормовых волн. Непогоды потрепали корабль: остались без стекол иллюминаторы, разбиты спасательные шлюпки, подвешенные на металлических балках, погнуты железные стойки и поручни трапов.

Мертво и пусто на заброшенном лайнере. Все ценное — дорогая мебель, ковры, картины, все, что было на верхних палубах, свезено на берег. И

теперь бесчисленные каюты, обширные салоны и рестораны выглядят пустыми и жалкими. Но стальной корпус почти не тронула ржавчина.

И вот, наконец, корабль ожил. Веселые моряки заполнили каюты «люкс». Ничего, что роскошные ванны и умывальники не действовали, зато каюты находились на верхней палубе и даже в шторм вода не попадала сюда.

Два раза в неделю из порта к «островитянам» приходил небольшой пароходик «Шустрый», привозил почту, пополнял запасы отряда и увозил на берег немногих счастливчиков. Дни в напряженной работе проходили незаметно. А вечером и ночью портовый маяк ехидно подмигивал морякам большим рубиновым глазом.

Шесть месяцев люди готовили огромный корабль к подъему. Круглые сутки стучала топорами боцманская команда. Сотни раз на дно моря спускались водолазы: на большие пробоины они ставили тяжелые пластыри, сотни мелких закрывали пробками и щитами.

Последние сутки пожилой усатый капитан-лейтенант провел без сна. Он сам спускался под воду, снова и снова осматривал каждую заплату на корпусе. Вконец измотавшись, едва держась на ногах, Фитилев разрешил генеральную откачку.

Лайнер медленно всплывал. Издали он был похож на огромное чудовище, изрыгающее воду. Вокруг него, точно покрытое белыми кружевами, пенилось море…

Двум матросам в чистых парусиновых робах, стоявшим на палубе корабля, все было знакомо и привычно. Близко наклоняясь друг к другу, они разговаривали под несмолкаемый грохот десятков мотопомп.

— Называется, глотнули свежего воздуха, понимаешь… Дышать нечем, — косясь на сизые облака выхлопных газов, говорил плечистый водолаз Петя Никитин. — Шуму, гаму… Окрест всех чаек распугали.

— А как ты д-думал? Ежели тысячи тонн водички за час откачивать требуется… Ш-шутка!.. Посмотри, ш-шлангов-то батя Фитилев распихал, — слегка заикаясь, ответил Зосима Фролов, друг-приятель Никитина. Он был небольшого роста, худощав и подвижен.

По бокам лайнера торчали, словно дула орудий, толстые гофрированные шланги. Содрогаясь от мощных усилий помп, они выбрасывали упругие пульсирующие фонтаны. Падая вниз, бурлящие потоки пенили воду. Море вокруг корабля кипело, как в огромном котле.

— Вот такие-то дела, друг! — выкрикнул Никитин в ухо товарищу. — Сегодня буду на берегу… Прямо с причала — в родильный. Вызываю медсестру, а она мне: «Поздравляю вас, товарищ Никитин, с рождением сына». Понимаешь?

— Почему именно сын?

— А почему бы и не сын?

— Пусть б-будет сын, не хочу спорить. — Фролов посмотрел на море, на небо. — Однако, д-друг, быть в-великому авралу… Небо, смотри… — показал он на черные штормовые тучи.

— Авось мимо пройдет, мне на берег надо. Пойдем вниз, глянем, как братки трудятся. Мы-то с тобой в ночь отработали.

Большую часть помещений корабля, как раз до кормовых трюмных отсеков, удалось осушить почти полностью. Десятки людей трудились, переставляя тяжелые мотопомпы, перетаскивая толстые, «крупнокалиберные» шланги. В кромешной темноте мелькали слабые огоньки «летучей мыши»: электрики только еще разматывали резиновые провода переносных ламп. Боцманская команда расчищала забитые илом и песком многочисленные переходы, ставила времянки взамен сгнивших деревянных лестниц. Работа шла споро, весело. Как не радоваться:

всплывает судно, еще поднажать немного — и огромный корабль будет стоять в порту.

Никитин любил бродить в помещениях только что поднятого корабля. Ему казалось, что каждая закрытая дверь ограждает тайну. Хотелось ему открыть что-то важное, похороненное вместе с судном на дне моря. Во время этих экскурсий он старался представить себе трагедию, разыгравшуюся на корабле в последние минуты.

На нижних палубах сыро, грязно, скользко. Никитин и Фролов осторожно переставляли ноги, идя по узкому и захламленному коридору, останавливались у дверей, заглядывали в помещения. Голоса людей терялись в лабиринте тесных и сырых коридоров, звучали глухо, как в подземелье.

Трудно было представить себе, что в этом царстве мрака и сырости не так давно лежали ковры, сияли хрустальные люстры, носились, звеня посудой, официанты в белоснежных куртках, прохаживались разодетые пассажиры, раздавалась музыка…

— Зосим, а Зосим! — окликнул товарища Никитин. — Страшно как-то здесь, под водой и то лучше.

— Запашок! — потянув носом, согласился Фро-

лов. — До печенок пробирает.

На одной из площадок им встретился инженер Тарасов. Обшаривая темноту карманным фонариком, он что-то искал, сверяясь с чертежом, наклеенным на картонку. Матросы с грохотом катили за ним сварочный аппарат.

Большинство дверей разбухло и не открывалось. В некоторых каютах дверей не осталось вовсе, иные были полуоткрыты.

— Номер двести восемнадцать, — разобрал Фролов, очистив грязь с белого эмалированного кружочка. — П-посмотрим. — Он потащил в каюту длинный шланг с электролампой.

Там, где были когда-то деревянные, до блеска отполированные койки, покрытые белоснежным постельным бельем, теперь лежали на полу беспорядочные кучи хлама, покрытые пахучей слизью. В углу каюты из мокрого песка торчали ножки разломанных стульев. Вместо стекла в иллюминаторе толстая деревянная пробка с ржавым болтом посредине. С потолка и стен клочьями свисают куски отставшей краски, тонкими струйками бежит вода. Полочки, деревянные украшения разваливаются, как только прикоснешься к ним.

Из темноты послышался шорох, будто кто-то

легонько царапался. Осветив дальний угол, водолазы увидели большого серого краба, копошившегося в мокром мусоре.

— Гадость, — поежившись, сказал Никитин. — Интересно, чем он питается?.. Иллюминаторы закрывали давно, недели три назад. Понимаешь?

В четвертом отсеке покрытые грязью мотористы налаживали помпу. Они торопились, стучали гаечными ключами, разгребали руками песок, тянули шланги.

— Ну, давай, Евсюков, — махнул рукой худощавый узколицый моторист Носенко.

Рыжий Евсюков нажал кнопку стартера. Мотор рявкнул и дробно застучал. Послышалось громкое чавканье, шланги стали засасывать воду.

— Петька, — услышал Никитин голос Зосимы, — сюда, брат, давай!.. Еще одну палубу осушили.

Никитин шагнул вперед. Перед глазами возник черный провал: лестницы не было. Водолазы спустились на руках.

На палубе заблестели большие лужи воды: здесь совсем сыро. Со всех сторон слышатся звуки падающих капель. Коридор забит кучами размокших книг, валяющихся в жидкой грязи.

Книги расползаются под ногами, сапоги хлюпают, скользят в клейком месиве.

— Смотри! — схватил друга за руку Фролов. — Видишь?.. — Он поднял фонарь над головой.

Из кучи разорванных книг, обложек, скомканных листов торчали рыжие сапоги на шнуровке с позеленевшими петлями.

— Чуть не наступил, — выдохнул Петя, отскочив в сторону. — Давай свет сюда! Смотри, и здесь…

Еще несколько поворотов по узким коридорам — и водолазы вышли на широкую площадку, где находились служебные помещения.

Огромный камбуз с электрическими печами и котлами. Медная посуда валяется на полу из метлахской плитки. На всех тарелках, сковородках и кастрюлях — слой серой слизи.

В обширной кладовке около камбуза — оцинкованные ящики, бутылки с соусами. Множество разнокалиберных консервных банок раскатилось по всем углам.

Сюда уже успел забраться краснощекий повар Заремба. Он сидел на корточках возле отобранных для кухни продуктов и с аппетитом облизывал ложку.

— Малиновое варенье, — сообщил он водола-

зам. — Вкусное.

— Спасибо, дорогой, ешь на здоровье, — сказал Фролов.

Дверь в холодильную камеру не поддавалась. Дернув за медную ручку, Фролов оторвал ее вместе с замком.

В буфете — десяток луженых моек из красной меди, множество шкафов, подъемные лифты. Пол усыпан осколками фарфоровой посуды; в мусоре — множество мельхиоровых кофейников, тысячи ножей, вилок, ложек. Много чайной и столовой посуды торчало по полкам. Петя увидел совершенно целый небольшой красивый чайничек зеленого цвета.

— На память Андрюшке, — сказал он, вытирая находку рукавом, — вместе чайком будем баловаться.

— Это какому Андрюшке? — поднял брови Фролов.

— Сыну, — отрезал Петя и посмотрел на часы. — Пойдем-ка, друг, пора мне на берег собираться.

Ровно в девятнадцать часов в каюте командира отряда появился встревоженный инженер Тарасов.

Фитилев, стоя у стола, раскуривал трубку. Сапоги, ватная куртка, брюки и даже волосы — все у

него было перепачкано серой липкой грязью.

— Что будем делать, товарищ капитан-лейтенант? — спросил Тарасов. — Всплытие идет медленно. Шторм скоро начнется, крупная зыбь неизбежна. Несколько ударов корпуса о грунт — и наши пластыри полетят к дьяволу.

Фитилев резко повернулся к инженеру.

— Но почему, черт возьми, судно не выравнивается? Что? По твоим расчетам к полудню корабль должен быть на ровном киле, с осадкой не больше десяти метров. Сейчас семь вечера, а осадка… Что?

Фитилев стал с ожесточением насасывать трубку.

— Нос девять, корма тринадцать с половиной метров, товарищ капитан-лейтенант, — уныло отозвался Тарасов, отмахиваясь от едкого махорочного дыма.

— А глубина поворотов фарватера всего десять метров… Что предлагаешь?

— Немедленно поставить судно в исходное положение.

— Затопить корабль? — привскочил Фитилев. — Нет, дорогой товарищ инженер, рано играть заупокойную. Бросить собаке под хвост столько труда! Нет! Раз вода не уходит, стало

быть, есть где-то дырка, с которой мы с тобой, друг, еще не знакомы. Что?

Фитилев замолк. Трубка захрипела громче.

Тарасов ждал, свесив набок голову. Он немного побаивался грубоватого, хотя справедливого командира отряда, бывшего водолазного старшину, не стеснявшегося другой раз добавить крепкое словцо.

— Повреждено днище. Что? — вдруг зарычал Фитилев, раскрыв красные, припухшие глаза. — Пробоина! Я ее, проклятую, ясно вижу. Должна быть пробоина. Найти и заделать! Послать лучших водолазов — Фролова и Никитина! Буксиры заказаны. К рассвету начнем движение в порт… Выполняйте. Немедленно!

Трубка Фитилева опять угрожающе захрипела.

Оставшись один, он задумчиво покрутил усы, взял со стула замусоленный чертеж «Меркурия», включил электрическую лампочку и усердно принялся что-то мерить и подсчитывать.

— Выплывет, — сказал он, щелкнув пальцами. — Расчеты мои хоть в Академию наук — нате, старички хорошие, проверяйте…

— Ну, вот и они! Как всегда, вместе… Кастор и Поллукс, — обрадованно сказал инженер Тарасов, открыв дверь обширного, в два света, зала.

Когда-то здесь отдыхали пассажиры первого класса, а сейчас хранилось водолазное оборудование и запасы судоподъемной группы. Салон был отделан мореным инкрустированным дубом. На темном фоне стен выделялись вырезанные из крепкого желтоватого, как слоновая кость, дерева фигуры древних мореплавателей. Тарасов покосился на викинга Эриксона в шлеме и кольчуге, под развевающимся плащом, он наклонился, вглядываясь вперед, словно отыскивая в тумане путь своему кораблю.

Тарасову куда больше нравился Христофор Колумб — в широких одеждах, с картой в руках, лицо спокойное. Недурно был изваян и скромно опустивший глаза Магеллан с грандштоком и еще каким-то замысловатым прибором. Но почему-то в этом салоне Тарасова всякий раз притягивал пронзительный взгляд деревянного викинга.

Старшины Петя Никитин и Зосима Фролов курили в углу, усевшись на мешках с паклей. Друзья поджидали «Шустрого», а тот сегодня опаздывал.

Фролов, попыхивая папироской и заикаясь, с воодушевлением что-то рассказывал другу. Никитин внимательно слушал, слегка усмехаясь. Он был высок и плечист, глаза у него серые, необыкновенно ясные и добрые.

Оставляя грязные следы на мозаичном полу, инженер Тарасов подошел к друзьям. Матросы поднялись, пряча папиросы в рукавах бушлатов.

— Значит, собрались на берег, товарищ старшина? — спросил Тарасов.

— Так точно, по вашему разрешению, товарищ старший лейтенант, — отрапортовал Никитин.

— Видите ли, какое дело… — тянул Тарасов.

Он не любил отменять своих распоряжений. Покосившись на водолаза, опять перевел взгляд на викинга в темной нише.

— Вот так, значит. Отставить берег, товарищ старшина.

Никитин испуганно посмотрел на Тарасова, добродушная улыбка разом сползла с его лица.

— Но ведь утром вы…

— Да, утром я дал разрешение, а сейчас отменяю.

— Т-товарищ старший лейтенант, — вступился Фролов. — Никитину надо быть на берегу. У н-него жена в родильном, сына сегодня ж-ждет.

— Почему сына? — удивился Тарасов.

Никитин снова улыбнулся, словно был уверен, что теперь, когда старшему лейтенанту известно, почему он должен быть на берегу, все будет в порядке.

Тарасов посмотрел на улыбающегося Никитина и снова уставился на деревянного своего Эриксона.

— Обойдется без вас… — устало сказал он. — Без вас…

— П-правильно, — обрадовался Фролов, — без него обойдемся, я все сделаю.

— Без Никитина, говорю, жена обойдется… А вот я без вас обойтись не могу. Оба немедленно под воду, осмотреть корабль.

Никитин во все глаза смотрел на Тарасова.

— Что? — подражая Фитилеву, резко произнес Тарасов.

— Есть осмотреть к-корабль! — за двоих отчеканил Фролов. Тарасов присел на табуретку и торопливо, в двух-трех словах сказал, что надо сделать.

— Днище-то в песке было, — закончил он, — поэтому раньше могли не заметить. — Он поднялся и быстро пошел к выходу. Створчатая дверь хлопнула.

Над морем красавица дева с-сидит

И, к другу ласкаяся, так говорит:

«Д-достань ожерелье, с-спустися на дно,

Сегодня в пучину упало оно!

Ты этим докажешь с-свою мне любовь!»

В-вскипела лихая у юноши кровь,

И ум его обнял невольный н-недуг,

Он в п-пенную бездну кидается вдруг… —

Лермонтов, брат, сочинил, не кто-нибудь, — Фролов хитро подмигнул деревянному Христофору Колумбу. — Видишь, вьюношу какая-то дева просила, так он слова не сказал, в воду полез, а тебя не дева, а сам старший инженер-лейтенант Тарасов… Н-ничего, Петя, — успокаивал он друга, — все будет как надо. Жена и вправду б-без тебя обойдется…

— Да-а… — протянул Никитин. — Только вот командир наш, Фитилев, не такие бы слова нашел, если даже и нужно остаться: как и что? Как, мол, сына назовешь? Как дома, здоровы? И сейчас бы вот про жену спросил. Понимаешь? Это точно, спросил бы.

— П-подход другой у командира… А с-скажи, Петька, п-почему ты все — сын да сын? А в-вдруг дочка, и в-выйдет, настраиваешь себя понапрасну.

— Сын, назову Андреем, — упрямо сказал Никитин.

— Ладно, — махнул рукой Фролов, — пойдем одеваться.

Привязанный к якорю толстой цепью, «Меркурий» медленно описывал огромную дугу. Так всегда: корабль, стоящий на якоре, стремится повернуть нос против ветра. Изменит направление ветер — и вслед за ним, натянув цепь, немедленно начнет поворачиваться корабль.

Восемь часов вечера. Непроглядная тьма окружает «Меркурий». На поднятых из воды палубах лайнера горят огни. Большая люстра освещает железные трапы, по которым только что спустились водолазы. Мерно постукивают поршни водолазных помп. Мичманы Коротков и Снегирев, надев наушники, настороженно следят за сигналами.

Неожиданно раздается хриплый тонкоголосый свисток: это пароходик «Шустрый» торопится в порт.

Ветер крепчает. По морю непрерывно катятся волны, наседают на борт и чуть-чуть колышут тяжелое тело корабля.

Водолаз Никитин уже не слышал прощального гудка пароходика. Усердно нажимая воздушный

клапан, он опускался на грунт.

— Стою на дне, чувствую себя хорошо, — сказал он в телефон обычные слова.

Подвязав крепче мешок с аварийным материалом, подошел к стоящему рядом Зосиме Фролову и плотно прижал свой шлем к его шлему.

— Счастливо, Зосим! — крикнул Петя.

— Желаю удачи, — прогудело в ответ.

Отсалютовав друг другу фонарями, водолазы разошлись.

На долю Никитина досталась добрая сотня метров толстых стальных листов, добротно соединенных между собой тысячами заклепок. Освещая путь яркой электрической лампой, он двигался медленно, как всегда внимательно осматривая каждый сантиметр.

— Ушел пароходик, — вздохнул он. — Что ж, ладно…

Он притронулся к оранжевой звезде, примостившейся на выступе старого пластыря: будто протестуя, она пошевелила живыми лучами и загнула их кверху.

— Сын… скоро, сегодня… Может быть, завтра—, повторял он, переставляя в песке пудовые водолазные галоши. — Сын, Андрей.

Над водолазом железной крышей простиралось

черное днище, границы его сливались с темнотой и были неразличимы.

Неожиданно Никитин почувствовал толчок, будто кто-то дернул за шлем.

«Зацепили шланги», — пронеслось в голове.

Он быстро повернулся, в упор на него смотрела пучеглазая рыбина. Неподвижно застыв на месте, она лениво пошевеливала плавниками. Петя улыбнулся ей. «Со шлангами, значит, все в порядке, дорогой мой Андрюшка».

Взглянув на клубы мути, медленно расплывавшейся над следами тяжелых галош, водолаз двинулся дальше. Теперь рыбы, большие и маленькие, то и дело мелькали перед стеклами иллюминатора. Их, точно бабочек в теплую летнюю ночь, манил свет фонаря.

«А где же дыра?» — Никитин почувствовал беспокойство.

Он вынул из брезентового мешка горсть мелких опилок. Увлекаемые течением (был отлив), они дружной золотой стайкой медленно плыли под днищем корабля. Вдруг маленькие разведчики-крупинки, словно притянутые магнитом, стремительно понеслись вперед и закружились на одном месте.

«Есть, нашли, голубчики! — обрадовался Ники-

тин, ускоряя мерный свой ход. — А-а-а, вот оно что, заклепки выпали. Невелика беда», — рассуждал он, нащупав светом фонаря две крупные дырки в шершавом днище.

Стайка опилок, втянутая водоворотом, мгновенно исчезла в чреве корабля. Заколотив вместо выпавших заклепок две сосновые пробки, Петя выпустил в воду новую порцию опилок. Теперь они повели себя иначе: стремительно метнулись вперед и мгновенно исчезли.

Никитин почувствовал, будто его легонько подталкивает в спину. Сделав еще два шага, он увидел, что мешок у него в руках сам по себе, как живой, потянулся куда-то кверху. Впереди, вытянувшись гирляндой, заплясали прозрачные пузырьки воздуха.

«Эге-ге, — догадался водолаз, — пробоина близко… Помпы работают, вот и тянут воду».

Он остановился и, высоко держа фонарь, стал шарить светом по днищу. Идти дальше было опасно: вода, мощным потоком всасываясь в пробоину, могла затянуть и его.

«Вот она, — увидел водолаз рваные края пробоины. — Ишь, заусенцы выгнулись, о такой «ноготь» только задень… Рубаху, что гнилую тряпку, распорет…»

Даже сквозь шлем было слышно, как бурлит вода в водовороте.

— Товарищ мичман, — сказал в телефон Никитин, обойдя вокруг зияющего темнотой отверстия, — обнаружена пробоина… Понимаете? Да, большая, нужен пластырь… Иду дальше.

У середины корпуса Никитин, стоя на грунте, доставал стальные листы вытянутыми руками, а здесь, под кормой, ему приходилось пригибаться. Пробравшись к винтам, он увидел, что кормовой частью лайнер почти касается грунта. Здесь колебания корабля были хорошо заметны. Покачивая корабль, волны то поднимали, то опускали его. Каждый раз тяжелая корма с глухим скрежетом оседала в песчаное дно. Ветер на море медленно разворачивал корабль на якоре, и его корма, забирая вправо, с каждым ударом волны входила в песок на новом месте.

Оберегая шланги, водолаз осмотрел корму. Ни пробоины, ни даже маленькой трещины больше не нашлось.

Теперь, когда осмотр был окончен, снова вспомнилось о доме. Ему казалось, что в последний раз он видел свою синеглазую Наташу очень давно. Пополневшая, немного бледная, она сидела у окна и шила крохотную рубашонку.

— Ната-шень-ка, — вслух отчетливо сказал он.

— Повтори, плохо понял, — тотчас же откликнулось в телефоне.

— Это не вам, товарищ мичман, — смутился Никитин. — Иду к пробоине, здесь делать нечего.

Напоследок он еще раз осветил корабль. Над головой нависали огромные винты, черной тенью уходил вверх многоэтажный корпус. Луч фонаря скользнул вниз, потом вправо, пробежал по неровной поверхности дна, вырвал из темноты остов затонувшей шлюпки, витки ржавого троса, выглядывавшие из-под песка. Еще дальше раскорячилась исковерканная шлюп-балка.

А это что? Из грунта, почти под самой кормой, торчал какой-то странный продолговатый предмет.

Сначала Никитин подумал, что это кусок толстой трубы или обрубок дерева. Мало ли таких штук на дне моря!

«Пусть лежит еще сто лет», — решил Петя и собрался было уходить, но задержался, подошел; осторожно, стараясь не замутить воду, осмотрел странный предмет со всех сторон. Яркий свет снова привлек морских жителей: рой мелких рыбешек замельтешил перед стеклом шлема, зарябило в глазах. Никитин взмахнул

рукой — мелкота разом шарахнулась в сторону, но через несколько секунд так же дружно снова окружила водолаза. Прозрачная, в кружевных оборках медуза, пошевеливая своим огромным помелом, медленно спустилась откуда-то сверху. Две длинные большие рыбы быстрыми тенями промелькнули над головой.

«Разбудил все морское царство, — усмехнулся Никитин, счищая с шершавой поверхности незнакомого предмета густо налипшие ракушки. — Что за черт, тут ребра какие-то», — раздумывал он, пережидая, пока осядет муть.

«Да ведь это авиабомба! — вдруг догадался он, инстинктивно отдергивая руку. — Подожди, Петя, рано пугаться. В сорок четвертом была пострашнее, а эта бомба выдержанная, ни с того ни с сего не взорвется. Но… но… ведь корма движется?!» Никитин замер и стал наблюдать.

Стальная громада корабля приближалась к бомбе. Тревожно заколотилось сердце.

«Спокойнее, Петя, — снова сказал себе Никитин, — водолазу волноваться не положено. А вот математикой заняться надо».

Корма судна двигалась по ветру, описывая широкую дугу. Авиабомба лежала как раз на ее пути.

Взглянув еще раз на исполинские следы, которые оставляла корма, и заметив, что она опускается в грунт приблизительно через каждые две минуты, Петя прикинул на глаз расстояние до авиабомбы.

«Через шесть минут, — решил Никитин, — корма припечатает эту штуковину… тогда конец… Взрыв!»

В смятении он передал наверх все, что увидел, и тут же хотел дернуть три раза за сигнальный конец, что означало: «Поднимайте меня, выхожу наверх».

Но не сделал этого.

Его остановили четкие удары, раздавшиеся изнутри корабля. Кто-то часто и сильно бил кувалдой.

Никитин представил себе скользкие темные палубы… Две сотни его товарищей копошатся, как муравьи, в огромном чреве корабля и не подозревают об опасности, грозящей им.

Он бросился к бомбе, попытался сдвинуть ее, оттащить от кормы, но она не шевелилась, будто вросла в песок.

«Тяжела, — задохнувшись от напряжения, подумал Петя, — не осилить. А если подкопать?» Он схватил какой-то железный стержень, валявший-

ся под ногами, и с ожесточением стал ковырять слежавшийся грунт руками, точно крот, он отбросил песок, еще разрыхлил, снова отбросил… Еще раз… И налег на лом. Бомба подалась, шевельнулась. Петя почувствовал на спине ручейки пота.

Илистая муть окутала страшную болванку и, клубясь серым облаком, медленно расплылась в темной воде.

Облапив бомбу, Никитин осторожно толкал, расшатывал ее… Все силы напряглись в одном порыве — одолеть!

Ничего не вышло. Оттащить бомбу не удалось. Обессиленный, чуть не плача, Никитин повалился на край вырытой им ямы.

Стайка рыб кружилась возле брошенной на песок лампы. Большой пучеглазый краб выполз на свет, пошевелил усами и, не торопясь, убрался куда-то в темноту.

— Корму наваливает на авиабомбу. Времени осталось пять минут… Никитин предлагает оттащить бомбу лебедкой, просит стальной строп, — торопливо передал командиру отряда мичман Коротков, стоящий на вахте у телефона.

Фитилев почувствовал неприятную дрожь в коленях и прислонился к поручням. Последние слова мичмана донеслись до него словно сквозь

вату. Он рванул вверх рукав, взглянул на часы — было двадцать два часа ноль три минуты. Через мгновение слабость прошла.

«Водолаза наверх, судно затопить, потом убрать бомбу!» — подумал он и уже раскрыл рот, чтобы отдать команду, но мелькнула другая мысль: «А если затопленное судно сядет как раз на бомбу… Да, так и будет. Только ускорю аварию!»

Фитилев опять взглянул на часы. Прошла минута. Времени для размышлений не было.

Выхватив трубку из рук мичмана, он закричал в микрофон:

— Никитин, сколько до бомбы?.. Да, это я, Фитилев. Что? Четыре минуты?.. Никаких стропов, марш к подъему! Немедленно! Приказываю!.. Что? — Фитилев почувствовал удар корпуса по грунту и инстинктивно сжался. — Не разговаривай!.. Снегирев, — приказал он главстаршине у второго телефона, — Фролова наверх… Всех наверх!

Он сунул телефон мичману Короткову, а сам бросился к большому колоколу и ударил тревогу.

Три раза потух и зажегся свет: это электрик, стоящий у дизель-генератора, услышав сигнал тревоги, продублировал его, вызывая всех наверх.

Из дверей на палубу посыпались встревоженные матросы. Они бежали перепачканные, мокрые, застигнутые тревогой в разгар работы.

Мимо Фитилева пробежал замполит Кудрявцев и стал спускаться вниз по трапу. Командир понял, что он решил проверить, все ли матросы поднялись на верхнюю палубу, и проводил его благодарным взглядом.

«Успеют ли? Скорей же, скорей! — Фитилев посмотрел на часы: — Как быстро движется стрелка!.. Четыре минуты прошло… Еще минута. Все ли, все ли вышли наверх?!»

Гулко прогремел взрыв. Корабль вздрогнул всем корпусом и, покачиваясь, стал медленно погружаться. Оборвалось четкое постукивание дизель-генератора. Через пробоины и щели, образовавшиеся при взрыве, вода неудержимо устремилась внутрь корабля. Она шумела со всех сторон, ревела и била в переборки.

Внизу на грунте оставались водолазы Никитин и Фролов.

— Никитин! — раздался неуверенный голос Фитилева. — Никитин!

Оглянувшись, Фитилев увидел сотни глаз, устремленных на него.

— Как люди? Целы все? — отрывисто спросил

он.

— Водолаз Фролов идет на подъем, беспокоится, как Никитин, — доложил мичман Снегирев.

— Затоплены все отсеки. Мотопомпы, оборудование остались под водой…

— Разрушен взрывом дизель-генератор…

— Сорван с места кормовой пластырь, носовой поврежден…

К Фитилеву протиснулся замполит Кудрявцев, без фуражки, с окровавленным лицом, с волосами, перепачканными грязью.

— Николай Иванович, люди наверху, все. Мотористов Евсюкова и Носенко едва удалось спасти. Только корабль…

— Все исправим, — махнул рукой Фитилев, — вот люди… Вздохнув, он снова сказал в микрофон:

— Никитин, Никитин!.. Это я, Фитилев. Слышишь меня?

Телефон молчал.

«Да жив он! — уверял себя Фитилев, всматриваясь в манометр водолазной помпы. — Клапан-то ведь работает!»

Свирепо захрипев потухшей трубкой, он снова сказал в микрофон:

— Никитин!.. Это я, Фитилев…

Корабль, опустившись на дно моря, снова превратился в стальной остров. Волны, ударяя в борт, заплескивались на палубу. А ветер все крепчал. Начинался шторм.

С корабля взлетели вверх одна за другой три красных ракеты. Сигнал говорил: «Пришлите буксир, нужна помощь».

Взрыв оглушил Никитина, отбросил куда-то в сторону. Он потерял сознание… Но с первым проблеском мысли он автоматически нажал головной клапан и выпустил лишний воздух. Затем попытался встать. В голове шумело, глаза застилал туман. Ему удалось подняться на колени. Шлем упирался во что-то твердое, неподвижное. Лампочка не горела, густой мрак окутывал водолаза.

«Корабль… Взрыв… — припомнил Никитин. — Затонул корабль… На грунте стоит. Но где я?»

Он рванулся вперед, ощупывая стальные листы руками: всего два метра — и руки водолаза встретили песок. Кружа, он пополз дальше, тыкаясь то в песок, то в железо. Наконец нащупал свои шланги, застрявшие в плотном грунте.

И вдруг он все понял. Взрывами его отбросило в небольшое углубление песчаного дна, а сверху лег корабль… Как просто… Если бы не эта ямка… И

он представил себе стальную махину в несколько десятков тысяч тонн, неотвратимо опускавшуюся на человека.

Никитина охватил страх. Затуманилось сознание, и он провалился в черную безмолвную пустоту…

Тихо и темно. Совсем тихо и совсем темно.

«Хоть какой-нибудь звук! Чертова тишина», — подумал Никитин, когда снова вернулось сознание. Страшно остаться одному в беде… Ведь и раньше бывали трудные минуты, но таким одиноким и беспомощным он никогда себя не чувствовал.

«Слово бы услышать… Одно слово! — повторил он, напрягая слух. — Нет, ни звука». Сигнальные концы накрепко зажаты судном. Но ведь воздух поступает непрерывно… Значит, о нем помнят?

Никитин попытался встать, однако шлем сразу уперся в днище корабля. Лежа на спине, он рукой легко доставал стальные листы. Заскрипел песок, придавливаемый тяжелым корпусом. Корабль медленно оседал вниз.

— Мама! — непроизвольно вырвалось у моряка.

— Я — Никитин, — без всякой надежды сказал он в микрофон. Ему просто хотелось услышать

свой голос. — Я — Никитин. Слышите меня?

Не слышат.

Тишина, показалось, сделалась еще зловещей…

— Разгильдяй! Что? На партийном собрании шею намылим, — ворвался вдруг шумный голос Фитилева. — Смотри, провода оборваны, не видишь? Черт знает что такое!

— Я слышу, Николай Иванович, — выдохнул Никитин.

Закончить фразу у него недостало сил.

— Никитин! — радостно раздалось сверху. — Как себя чувствуешь? Что? Успокойся, голубчик, все будет хорошо. Рассказывай, Петя!

Словно тяжелый груз свалился с Петиных плеч. От Фитилева он узнал, что на грунте Фролов и еще два водолаза ищут его.

Но что это? Опять заскрежетал песок, опять леденящие душу толчки. Но самым страшным было другое: к водолазному шлему прикоснулась сталь оседавшего исполина.

…Фитилев, зажав до боли в руке потухшую трубку, прислушивался к бессвязным словам Никитина. Когда водолаз умолкал, на душе у командира делалось скверно.

«Он должен прийти в сознание. Во что бы то ни

стало прийти в сознание, иначе — смерть...»

— Петя! — радостно сказал он. — Сейчас получили известие. От жены... Ты слышишь, Петя?.. Родился сын, слышишь? Родился сын! Почти пять килограммов! Богатырь!

— Сын? — чуть слышно откликнулся телефон. — Сын, Андрей!

— Да, да, Андрей! — с готовностью подхватил Фитилев. — Ты того, держись, Петя! Воздух, воздух не забывай травить...

...Опять скрежет песка! Нет, это снег скрипит под ногами.

Никитину чудится родной лес, вековые ели, засыпанные снегом... Звонко поют пилы, стучат топоры. Среди лесорубов он, Петя Никитин.

Вздымая снежные вихри, одно за другим падают деревья. Вот дрогнула вершина столетней ели, дерево валится на него, надо бежать. Но бежать Петя не может: не вытащить ног из глубокого снега. Он хочет крикнуть, позвать на помощь — нет голоса... непомерная тяжесть легла на грудь... Душно.

Бред и явь смешались.

Мучительное томление охватило Петю. Нудно и тошно звенит в ушах, стучит сердце. Нет, не только сердце, все существо Никитина пульсиру-

ет в неистовом ритме.

— Да, Андрей же, сын…

Кто это сказал? Он сам или кто-то другой? Отчетливо возник образ сына, каким он себе представлял его.

— Андрей! — кричит Никитин и приходит в себя.

Сколько прошло времени, он не знал. Час или мгновение?

Пришло сознание, пришли и звуки. Скрежещет песок… Опять наседает корабль. Но и другие звуки проникают сквозь медный шлем: он слышит шум винта… Кто-то скребется назойливо и громко. И вдруг — удар…

Перед глазами идут круги: красные, оранжевые, желтые… Дыхание перехватило.

Тихо открылась дверь в каюту. Вошел Фролов. В руках у него телеграмма.

Петя Никитин спит, дышит спокойно.

— Д-дочь родилась. С-сегодня утром, — бормочет Фролов. — Врачи п-поздравляют. — Он нерешительно вертит в руках бумажку. — Разбудить Петра можно?

Зосима шагнул к постели и вдруг широко открыл глаза: голова у Никитина совсем-совсем белая.

— Дочь!.. А я и хотел дочь. — Никитин приподнялся на локте и, не мигая, смотрит на друга. — Понимаешь, нарочно это я… Страховался, когда про сына говорил. — Он медленно произнес фразу и снова свалился на подушки.

В. Матвеев
ОСЕННЯЯ ПУТИНА
Стихотворение

Хмурятся просторы штормовые,
Их мрачней — тралмастера чело.
Даже тем, кто в море не впервые,
Выдюжить сегодня тяжело.

Трос, что нерв, натянут до предела.
Океан — сплошной водоворот.
А треска — ну словно ошалела,
Валом, проклятущая, идет!

Взгляд порой затянется туманом —
И не разберешь, от качки пьян:
То ли рыба пахнет океаном,
То ли рыбой пахнет океан.

Е. Сигарев
ТРАЛМЛСТЕР ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ
Стихотворение

Придонный лов — не шуточки,
И трал — не то, что сеть.
Придонный лов — не с удочкой
Над речкою сидеть.
Рыбацкий труд — не пустяки,
Рыбак — не рыболов.
Бывает так, что трал в куски
И не хватает слов…
Бывает кру́гом голова,
Когда набит куток,
Когда у трала наплава́
Притоплены чуток.
Когда трещит и стонет трал,
Лебедка не берет.
Один аврал, другой аврал,
И снова — на замет!
На капитане взмок берет,

Работает за двух,
Последней пачкой сигарет
Поддерживает дух.
Ему знакомы риск и страх,
Не терпит чепухи.
Здесь ошибешься впопыхах, —
Тогда дела плохи.
Тогда, как говорят, пролов,
Тогда в кутке — вода.
Хоть разорвись, хоть ногти в кровь,
А рыбы нет.
Беда.
И свет не мил, и нету сил.
И в капитанский час
Эфир — ну, кто его просил! —
Подбадривает нас.
Гудит стальное слово: ПЛАН.
Прилечь бы на часок.
Зубами скрипнет капитан:
— А ну, еще разок... —
Еще разок, еще замет,
Аврал, опять аврал, —

Вновь пишет рыбу эхолот,
Трещит и стонет трал.
И в робах вымокших братва
Хлопочет над кутком.
Хоть ноги двигаешь едва,
Но счастлив!
А потом…
Цветы, и митинг, и причал,
И речи про дела.
Потом — начало всех начал:
— Я так тебя ждала…

А. Герасименко
ДАРЫ МАСАМУНЭ
(Рассказ)

Неистовый вал тянулся к нему огромной мохнатой лапой. Загнулись цепкими когтями белые гребни, они настигли Мацубару, разодрали в клочья одежду, и словно дохнуло из пасти неведомого чудища, зловонно и мерзко. От ужаса он перестал ощущать вес собственного тела, а невыносимо смердящий запах стеснил дыхание. Потом тиски воды ослабли, и та же лапа, играючи, швырнула Мацубару на острый зуб скалы Кадзикаки.

Она торчала посреди залива, и Мацубара по-детски плакал от безысходной нелепости смерти. Он падал на скалу и видел, как издевательски приплясывают лохматые волны у ее подножия, как сходятся в хоровод строчки из лоции: «...сильные юго-восточные ветры разгоняют крутую волну в направлении скалы Кадзикаки». Ему не минуть ее.

«Будь ты проклята во веки веков! — клокотал в нем неродившийся крик. Ужас и безысходность

душили его. — Будь ты проклята!»

Темнота сгущалась и сгущалась, превратилась в липкую кровь, и Мацубара, брезгливо выдернув руку из тягучей массы, проснулся.

Он долго отплевывался, тяжело дышал, ходил деревянными шажками по каюте, растопыренными пальцами рук наталкиваясь на переборки. Одуревший от духоты, тяжести в голове и желудке, он никак не мог найти дверь в туалет. Лишь больно ударившись о край стола, Мацубара вернулся в реальность.

«Все это эби но темпура[3], — кусая губы, думал он, раскручивая барашки иллюминатора: Мацубара спешил побыстрее глотнуть прохлады ночного залива, уйти от противного запаха. — Нехорошо, нехорошо…»

С самого утра он и механик Эндо смаковали холодное пиво и нежную темпуру из креветки в припортовом баре «Дары Масамунэ». Креветки были необычно хороши, и они заказывали порцию за порцией, похрустывая аппетитной золотистой корочкой, и блаженно закатывали глаза, запивая темпуру холодным пивом «Кирин».

---

[3] Примечания: 3

Темпура — рыба в кляре, преимущественно мелкая. Национальное японское блюдо. *Эби но темпура* — темпура из креветки.

Насытившись, они повели ленивый спор о том, кого из рода Масамунэ имел в виду первый владелец бара, назвав его «Дары Масамунэ». Мацубара уверял Эндо, что бывший властитель Сэндая князь Датэ Масамунэ — не самая подходящая фигура для вывески, ибо он был жаден, завистлив и коварен. И уж чего-чего, а каких-либо даров ждать от него не приходилось.

— Ты, Эндо, не найдешь светлого пятна в его жизни, — наставительно растягивал слова Мацубара.

А Эндо не соглашался, он лениво мотал головой: найду, мол.

Во второй половине дня они перешли на сакэ и поэзию, но прибежал матрос, посланный за ними, передал распоряжение хозяина компании возвращаться на «Хиросэ», где и ждать дальнейших указаний. Если их не последует, выйти на связь в 22.30. Мацубара так и не услышал от Эндо ни одного приличного трехстишия. Глуп Эндо.

«Ох, эта темпура…» — гадливо поморщился Мацубара.

Шел десятый час вечера, бархатная тишина скрывала и не могла скрыть тревоги перед нашествием тайфуна. Природа, словно совестясь, готовила своему безумному сыну тихие покои,

а тот являлся, разнузданно бесчестя свою мать, круша покой и умиротворение. Но пока еще было тихо.

Мацубара не любил эти два-три часа ожидания тайфуна и, если спасатель стоял в порту, ложился спать, всегда наказывая не будить его: просыпался сам, интуитивно угадывая нужную минуту пробуждения. Так сделал он и сегодня.

В раскрытый настежь иллюминатор не вливался прохладный воздух: все замерло. Мацубару раздражало это омертвение, дурной запах и больше всего — непонятный сон. Все не нравилось. Даже душ не освежил, не облегчил его состояния. «Мерзость, а не сон… От обжорства это…»

Он вновь, сжав зубы, уставился в открытый иллюминатор, в ночь, где в середине залива укрылась скала Кадзикаки, а еще дальше в открытом океане мчался к заливу Исиномаки тайфун.

«Давай быстрей… — торопил его Мацубара. — Еще больше часа, — с раздражением прикинул он, взглянув на барометр. — Отметки на две упадет еще, тогда и подойдет».

Глаза искали перемен в темноте за иллюминатором, а руки теребили какой-то предмет на столе. Мацубара включил верхний плафон и посмотрел на стол — это был журнал в яркой глян-

цевой обложке. Мацубара не мог припомнить, как он попал в его каюту. Журнал был раскрыт, и начало заголовка статьи позабавило Мацубару: «Великий Масамунэ…» «Опять Масамунэ… Великий Масамунэ, великий Масамунэ… Откуда это чтиво в моей каюте? — недоумевая, Мацубара поспешил дочитать заголовок: «Великий Масамунэ торжественно встречает посланца».

Мацубара свободно ориентировался в мозаике дат, имен, событий, поскольку учился в далекой юности на историческом факультете. Правда, для него аромат отшумевших эпох развеялся, едва возникла необходимость зазубривать мертвые имена и времена, впрочем, и сама история, став предметом изучения, обезлюдела для него. И Мацубара оставил исторический факультет, избрав твердую, «земную» специальность — морскую. Прочную, как сама история.

Он читал предисловие к рассказу, водя свободной рукой по стриженому затылку: «Сегуны из рода Токугава заботились о процветании ремесел, развивали и поощряли торговлю. В 1613 году Датэ Масамунэ, князь сэндайский, послал в Европу своего хатамото Хасэкуру Цунэнагу для заключения торговых сделок с тамошними правителями».

Мацубара взглянул на сноску: хатамото — дословно «знаменосец», ближайший подданный князя, выбирались хатамото из самых приверженных. «Чепуха, — отметил Мацубара мельком, — обычный вассал из обедневшего самурайского рода. Если мне не изменяет память, встреча оказалась безрадостной. Европа не приняла даров Масамунэ. Ворошить прах бедного Хасэкуры… Да…» Он захлопнул журнал с видом человека, не поддавшегося на обман.

Время для отдыха еще оставалось, и Мацубара решил ненадолго прилечь. Чтобы не заснуть, вернулся к рассказу. Ладно уж… Пока он шел к кровати, снимал шлепанцы, ложился, не отрывая глаз от столбцов иероглифов, что-то рассеивало его внимание: «…Япония устала от междоусобных войн, нуждалась в долгом и прочном мире…» Отвлекал звук, далекий, приглушенный расстоянием, но знакомый уху моряка. Мацубара прислушался к нему повнимательнее: в районе поля морской капусты становилось на якорь судно. Определил — большое. «В миле от Кадзикаки, с юга… Кто? До тайфуна час…»

И продолжал чтение: «…Семь лет длилось путешествие хатамото по странам Европы. И у римского папы побывал он, но европейские коро-

ли и властители не спешили помочь маленькой Японии…»

«Блестяще! — оценил прочитанное Мацубара. — Неплохо устроилась маленькая бедная Япония: грабит рядом, а за миром едет к дальним. Светлой памяти великий Датэ изрядно погрел руки на грабительских походах в соседку Корею. Интересно, отчего это не сиделось ему на мешках с корейским серебром? Под старость, видно, появляется тяга к замаливанию грехов и миссионерству. А впрочем, вряд ли собирался Датэ искупать грехи. Пушки ему были нужны, пушки… Дурной пример заразителен»[4].

Мацубара отложил журнал, стал одеваться. Он был из тех людей, у кого в жизни ничего не случалось. Чужие беды не касались его, своих он не заводил, приучил себя не подниматься до благородства и не снисходить до сострадания. Цветные сны ему не снились, черно-белые редко. Разве только вот сегодня…

Он был уверен, что именно таким набором качеств должен обладать капитан спасателя,

---

[4] Примечания: 4

Междоусобные войны за власть в Японии закончились победой рода Токугава в 1600 году битвой при Секигахара. В решающий час сражения голландские купцы доставили в лагерь Иэясу Токугава пушки, которых тогда не было в Японии. За эту услугу им, единственным из европейцев, было разрешено основать торговую факторию у Нагасаки.

ибо жестокость заложена в первой строчке Соглашения о спасении: «No cure no pay» — «Без спасения нет вознаграждения». Читай: «Без вознаграждения — нет спасения». Только так можно заставить уважать себя. Благородство и сострадание — канючение попрошаек у храма сильного.

«А почему бы и нет? — вдруг подумал он со злостью. — Помалкивать о неудачах и трезвонить о победах куда надежней. И прав, в конце концов, Иэясу Токугава, закрывший Японию от всего мира на целых двести лет. К примеру, повстречайся Хасэкура с прощелыгами из «Общества купцов — искателей приключений» (надо же! Сколь романтично алчные британцы окрестили свою первую компанию для заморской торговли! Хитрая приманка…), позволь им Датэ обосноваться у нас, они бы вывернули и японский карман и японскую душу задолго до своих сородичей из-за океана. Не печалься, Хасэкура, именно твоя неудача помогла японцам остаться японцами. Подумать только, мы — единственный в мире народ, который чтит еще древние обычаи и облачается в кимоно не для карнавалов. В этом мире давно перепутались мораль и пороки, и только мы храним тысячи наших заповедей, как тысячи японских островов. И только так можно

заставить уважать себя!»

Он торопливо дочитывал рассказ и распихивал по просторным карманам штормовой робы защитные бифокальные очки, жевательную резинку, коробочку с угольными таблетками, носовой платок, зажигалку и пачку ментоловых сигарет «Мидори».

«— Скажи мне, Хасэкура, что ты думаешь о Европе? — спросил Датэ.

— Великий князь, самураю не пристало просить. Нужно приходить и брать».

Мацубара усмехнулся:

«Разговорился столько лет спустя. Кому это понадобилось из скромного Хасэкуры, каким он остался в памяти потомков, делать реваншиста?»

Часы показывали 22.20, и Мацубара заторопился. Оставалось прочитать совсем немного, но время вышло.

Он любил неторопливо подняться на мостик и обязательно по трапу левого борта. Внутренним переходом он не пользовался вообще: и когда был капитаном портового толкача-буксира, и сейчас, командуя спасателем «Хиросэ», приятным его душе океанским увальнем. Мощный «Хиросэ» таил в поршнях машины силу трех тысяч лоша-

дей, и, поднимаясь на мостик, Мацубара всегда видел перед глазами настоящий табун, покорный хозяйской воле.

Накрапывал мелкий дождик — посланец тайфуна, ночь робко сжалась в глубине залива, береговые огни чуть тлели за тканым пологом мороси. Природные неравновесия всегда настраивали Мацубару на веселое расположение духа. Он любил сниматься в океан с непогодой, в ненастье, в сильный ветер. Ему нравилось прямо от причала «стегнуть» разом все три тысячи лошадей «Хиросэ», и тот, задрожав от веселой прыти, принимался лихо мять крепким форштевнем толчею воды. Кому в хорошую погоду мог понадобиться спасатель? На кого в погожий день мог охотиться Мацубара?

Сегодня он вышел на палубу довольный: «Моя погодка». На секунду Мацубара замешкался: «Это еще что такое?» Тоскливый, монотонный звук частыми повторами тыкался в дождевой полог. «Чего мычишь? — разозлился он, вспомнив, что портовые власти установили несколько дней назад у западной оконечности капустного поля буй с ревуном. — Му-у… Му-у… Теленок нашелся…»

Раздражение было обоснованным. Раньше он выводил свой мелкосидящий «Хиросэ» из бухты

напрямую, теперь мешал буй, и вчера капитан порта оштрафовал Мацубару за то, что он прошел не по новому фарватеру.

Дождь приятно освежил лицо. На мостик Мацубара приучил себя подниматься только в добром настроении, заставлял себя забывать о досадных мелочах: море коварно и всегда не прочь подставить ножку тем, кто чересчур уделяет внимание своей персоне.

Однако из головы не выходило прочитанное: «Вернулся Хасэкура, и не было для него никакого торжества, никаких объятий. Опала в конце концов постигла его. Все мы месим для сильнейших. Кто грязь, кто глину, если повезет чуть выбиться. Правы они или нет — нас не спрашивают. Мы — сама глина, пригодная для лепки. Покажешься камешком — выкинут. А хочется ведь заставить уважать себя…»

Жалость к хатамото Хасэкуре охватила Мацубару. Он понял отчего: боится его участи. Слишком много сил и терпения затратил Мацубара, чтобы выбиться и не раствориться в общей массе, и он понимал всю малость добытого, зыбкость своего нынешнего положения.

Семь лет он терпеливо ждал возможности стать капитаном спасателя. Подрабатывал все это

время то незаконным перевозом, то сокрытием контрабанды, добился своего и быстро обратил на себя внимание хозяина компании за удачливость в столь щепетильном деле, как спасание судов. И он этим дорожил.

Мацубара не верил в прочитанное, но тени великих предков легли однажды, и поворачивать их в другую сторону было бы глупо и смешно. Он обязан был соглашаться с прочитанным, ибо в молчаливом согласии крылся рецепт благополучия. Поступать иначе простительно лишь мальчику из сказки Андерсена: с единственной парой штанов можно кричать, что король голый. У Мацубары было что терять.

С высоты мостика бухта казалась черной ямой, лишь к дальнему краю ее прилепился тусклыми огнями пароход.

— Кто? — спросил Мацубара, быстро входя в рубку.

— Русский, — с готовностью откликнулся рулевой. — Лесовоз польской постройки…

— Ясно, — остановил рулевого Мацубара, прошелся с крыла на крыло и вернулся в рубку. — Спущен на воду в пятидесятых годах, машина — паровой «Бурмейстер» в две тысячи лошадей. Хлам, пора давно списать на гвозди. —

Мацубаре нельзя было отказать в знании флота.

Ровно в 22.30 он вышел на связь с компанией и получил указание сниматься в десятый квадрат под защиту восточного берега. Всё в сторону, наступала пора серьезных дел: очень скоро русский лесовоз встретится с разъяренным тайфуном, и одни боги знают, чем эта встреча закончится.

«А одни ли? — ухмыльнулся Мацубара, подавая неторопливые команды рулевому. — Разве мы не в счет?»

Не первый раз становились на поле морской капусты либерийцы, греки, шведы; сухогрузы, лесовозы, ролкеры; разные дедвейты, разные флаги и капитаны. Они сверялись с лоциями, свирепо ругались по радиотелефону с портом, требовали другого места якорной стоянки, но слышали в динамике нейтрально вежливый голос: «Другого места нет». У кого нервы были покрепче, уходили подальше от предательского берега, навстречу тайфуну.

Не первый раз Мацубара переводил свой спасатель под защиту восточного берега, отстаивался, ждал тайфуна — работы. Как-то в одно из этих ожиданий он обратил внимание на странную закономерность: все флаги побывали в гостях у скалы Кадзикаки, и только голландцы ни разу не

становились там. «Дань, — поразила Мацубару догадка, — стародавняя дань! Япония и по сию пору оплачивает голландцам пушки, которые возвестили победу Иэясу Токугавы. Двести лет сменялись в Японии сегуны рода Токугава, и все двести лет торговать с Японией имели право только голландцы. И всегда голландские суда пережидали тайфуны в надежно защищенном месте. Не в пример всем этим грекам, либерийцам, высокомерным англичанам...» Он представил себе, как поползут якоря по шелку морской капусты, едва тайфун обожжет борта стоящего там судна яростным дыханием, как пробудят эфир вопли о помощи. Тогда наступит время Мацубары — без вознаграждения нет спасения. Торговался он жестоко, по-пиратски изощренно, и чем больше и красивее было чужое судно, тем изобретательней и алчней он становился.

«Этот... — презрительно подумал Мацубара о русском пароходе, — куча железа. На нем много не заработаешь...» — И велел боцману отдавать якорь. Огни русского парохода сместились левее, стали ближе, но ярче не стали. Плотный, обложной дождь растворял их в ночи.

«Интересно, чем он сейчас занят?» — размышлял, расхаживая по рубке, Мацубара. Представил

себе русского капитана: согбенный годами и обидами, некогда прямой, стройный. Хотел подчернить возраст русского подагрой, передумал, остановился на гастрите. Некоторая жалость к обреченному моряку великодушно пририсовала рядом со стариком двух маленьких внучек с тихими, робкими улыбками. Они далеко от доброго старенького дедушки. Ему давно пора на отдых, а он все работает, чтобы внучкам жилось слаще. Плохо ему и одиноко. Старикам у чужих всегда плохо…

— Сколько лет капитану? — неожиданно громко прозвучал вопрос Мацубары в тишине рубки.

Вахтенный помощник не услышал капитана, ответил рулевой:

— Сорок, господин капитан.

— Не мне, — повернулся к матросу Мацубара. — Русскому…

— Русскому? Пожалуй, даже моложе вас…

— С чего ты взял?

— Я слышал его переговоры с портом. Молодой голос. По-английски говорил. По-японски даже… И хорошо говорил…

— Голос молодой… — проворчал Мацубара и отослал матроса на крыло наблюдать за морем.

Он отнял у русского внучек, дал взамен крик-

ливую, худую жену — в наказание за молодой голос. Но годы все-таки уменьшил: тридцать пять лет. «Наверное, проштрафился и угодил на паршивый лесовоз. Вместе со знанием иностранных языков».

В бинокль Мацубара долго разглядывал русский пароход и перерисовывал в воображении его капитана, чувствуя, что теперь не ошибается. «Итак, русский. Имя роли не играет — русский. Тридцать пять лет».

…Отчего же не играет?.. Морское имя — Христофор. Христофор Асланович Садашев. Мать русская, отец казах.

Сначала все складывалось у него удачно. Учеба, диплом, назначение четвертым помощником на лучший пассажирский теплоход. Быстро обкатался на линии Находка — Иокогама: нес вахты, лихо плясал «Яблочко» перед иностранцами на вечерах самодеятельности, настырно учил японский язык, в лавчонках на Исезаки яро торговался, скорее не из корысти, а из желания поразить хозяев. Без задержки продвинулся в старпомы, заметил вдруг, что отяжелел для присядки, появилась чиновничья плотность (над чем смеялся раньше, замечая у других). Пора было бы и в капитаны, да не хватало плавательного ценза, который

зарабатывается в дальних рейсах. Пришлось распрощаться с «трамвайной линией».

Попав старшим помощником к хмурому, всегда недовольному капитану на один из новых сухогрузов-универсалов, крутился, старался, как будто он снова курсант-дипломник, сбросил лишний жирок, побывал во многих странах, открыл для себя, что на многотрюмном сухогрузе несравнимо спокойней работать, нежели на пассажирском судне. Вскоре и в капитаны вышел.

Не таким представлялся ему первый капитанский рейс. Хотелось вольного полета, а упал в собственном гнезде. Пришли тогда и первые сомнения, нет-нет да и спрашивал себя: за свое ли дело взялся? Почему вдруг упал?

Долго не мог прийти к простому ответу — усыпила гладкость продвижения к цели, убаюкала до уверенности: что капитан, что шофер — все одно извозчик. Этому же помогало и другое — ни разу не попадал в переплеты, о которых грезил в детстве. Возможно, не замечал их за нудными штормовыми вахтами, как за деревьями не видно леса; возможно, еще и оттого, что со временем стал стыдиться восторженных стихов Надсона, которые читал совсем недавно на память:

Чу, кричит, буревестник!.. Крепи па-

руса!
И грозна, и окутана мглою,
Буря гневным челом уперлась в небеса
И на волны ступила пятою.

В первом самостоятельном рейсе случилась неприятность, о которой и вспоминать не хочется. Ну, случилось бы это хоть в конце рейса, в середине. Так нет же… Экипаж взял повышенные социалистические обязательства, грузились в своем порту, решили за счет балласта принять дополнительно караван леса на палубу. Загрузились любо-дорого, только отдали швартовы, так и повалились на борт. Весь караван, конечно, в море, а судно ванькой-встанькой легло на другой борт. Вместо рейса — ремонт. Заключение комиссии: неправильная балластировка танков, халатность вахтенной службы, само собою, и капитана. А потом пошло-поехало, покатилась полоса неудач. Все чаще маялся в моринспекции, вздыхал, выдавливая через силу: «Так вышло…»

Еще не упал окончательно, но уже и не подымался, балансируя на одном месте — капитанском мостике судов поплоше. Капитаны-наставники, каждый раз выпроваживая его за двери, сходились во мнении: разве это капитан? Вот я

помню… И после каждого очередного отпуска судно, на которое назначали Садашева, было еще старее прежнего: плохим капитанам дают и плохие суда. А плохой пароход — кандалы на ногах. Заглянет кто в послужной список — не надо никаких характеристик.

Садашев отдал все необходимые распоряжения вахтенному помощнику и спустился в каюту. Посидел за столом, затем прилег не раздеваясь на диван. Думал невесело о хороших судах, о товарищах по выпуску, которые на этих хороших плавают давным-давно. Думал о том, что одна неприятность тянет за собой остальные и что теперь вряд ли ему когда-нибудь доверят сто́ящего океанского рысака. Над товарищами Южный крест, «…а у нас углы да стены и над ними потолок».

Он лежал и думал, что утрачивает до срока ту морскую уверенность, которая отличает истинного капитана от каботажных неудачников, что все реже взбадривает себя истиной, что капитан не имеет права на расслабление.

Но у него все не так: отчаянно жмет левый ботинок, пароход стар, унынием несет изо всех углов — из разбитой филенки двери, из продавленного дивана, и даже журнал, которым

прикрыт прожженный край стола, годичной давности. И от всего этого не хочется снимать телогрейку перед тем, как прилечь.

— Вахтенный!

— Здесь, господин капитан!

— Когда русский запрашивал порт, голос… Усталый, веселый, уверенный?.. Каким голосом он говорил?

— Усталым, скорее, господин капитан.

— Благодарю…

«…Значит, коллега, это не первый ваш плохой пароход. На первом еще взбрыкиваются, а вы уже устали. Все ясно…»

— Как здоровье, Мацубара-сан? — Неслышно вошел механик Эндо.

Минут пять назад Мацубара прогнал бы его назад, в машинное отделение. Сейчас же он ясно представлял своего будущего соперника и благодушествовал. Почему и не скрасить ожидание беседой? Тем более машина автоматически запускается с мостика. Возможно, хитрый Эндо примеривается к настроению Мацубары: он умеет потрафить своему капитану, как некогда Мацубара своему. Без труда он узнавал прежнего себя в повадках механика и старательно не замечал сходства.

— Сносное… — ответил Мацубара неприязненно.

— А что нам сделается, настоящим мужчинам? Да, капитан?

Мацубара не ответил, продолжая разглядывать русский пароход.

— Да, я вам в каюту журнал приносил, вы отдыхали как раз… Наш спор помните? Не взглянули?

— Пролистал… Ты хочешь сказать, дескать, хозяин того кабачка в незапамятные времена получал подарки от Масамунэ?

— И немалые. Но не от князя, от скалы Кадзикаки. С молчаливого согласия Масамунэ. Говорят, именно князь и прозвал скалу Кадзикаки — «Кузнец зла». С тех самых времен чужаков перед штормом ставили вблизи скалы. А капусту приловчились выращивать позже, когда якоря стали потяжелее.

— Развел изыскания! С чего это ты все взял?

— Я родом из этих мест, когда-то увлекался историей…

«Эндо с мозгами из отофу[5] увлекался историей? Занятно…»

— …И если вы прочли рассказ до конца, именно

---

[5] Примечания: 5

Отофу — соевый творог, дешевый и популярный в Японии продукт питания.

на эти дары намекал автор.

— Детский лепет, Эндо. Рассказишко — перепев самурайского гимна «Выйдешь в море — трупы на волнах» для несмышленышей.

— Пусть и так… — начал было не соглашаться механик.

— В машину, Эндо! На место! Я прощаю тебя…

Механик ушел, осторожно прикрыв за собой дверь, а недовольный Мацубара некоторое время ходил по рубке, оставаясь во власти своих мыслей и не обращая внимания на матроса и помощника.

«Болван! Видите ли, он догадался! Но тебе, болвану Эндо, даже этого грязного дела не выполнить! Не доверят! Помалкивал бы уж и дальше…»

Он взял бинокль, попробовал разглядеть русский пароход. Мешал дождь, плотный, обложной. Опять тихо пожалел обреченного русского капитана и обуздал жалость простой мыслью: «Из нас двоих кто-то выиграет. Я верю в свою победу, потому что жду своего хатамото».

Полог дождя за стеклами стал почти непроницаем, в открытые двери рубки врывался тугой гул струй, похожий на звук низкого регистра органа, который называют иногда «человеческий голос».

Мацубара осветил фонариком циферблат часов. Без пяти час. «Сейчас начнется...» — усмехнулся он угрюмо и крикнул матроса и помощника. Мацубара по голосу узнавал приближающийся тайфун, его приход, тот момент, когда этот голос берет последнюю доступную человеческому уху ноту и в клочья разрывает гармонию покоя.

— Наблюдать внимательно. Как только русский поползет к скале, сообщать пеленг каждые полминуты.

— «Хиросэ»! «Хиросэ»! Мацубара-сан, прошу на связь, — зачастил голос в эфире.

— Слушаю, Мацубара.

— Снимайтесь и начинайте. Удачи!

— Понял. Будет удача.

Он представил себе, как там, откуда пришел голос, дежурный менеджер компании следит за полем локатора, как вспыхивают на нем от пробегающего по кругу зеленого луча точки — суда, как радисты крутят верньеры настройки, вслушиваются в эфир и с нетерпением ждут короткой скороговорки точек и тире — «SOS». Первый, поймавший ее, немедленно сообщит об этом менеджеру: «Атта!» («Нашел!»), а тот не менее радостно доложит хозяину компании об удаче, и побежит на голос беды спасатель-охотник,

чтобы «No cure no pay» приняло свое логическое завершение: вознаграждение за спасение. И счастливчик Мацубара будет не последним в дележе выкупа.

В первые годы службы в компании Мацубара частенько рыскал по всей тихоокеанской стороне Японии и счастье не всегда поворачивалось к нему лицом. Теперь же любимчик хозяина Мацубара караулил добычу у скалы Кадзикаки, и не было случая, чтобы он упустил ее. Он настолько свыкся с отлаженной системой вызволения аварийного судна, что мог по секундам расписать ее. Сначала судорожные потуги судна выбраться из ловушки самому, потом требование буксиров у порта, который почему-то долго не будет выходить на связь (Мацубара предполагал, и не без оснований, что при дележе доходов от спасения кое-что перепадало и хозяину порта), затем выйдет, и буксиры, конечно, запоздают, и, наконец, «SOS». Тогда Мацубара приблизится к терпящему бедствие и по радио жестко перечислит пункты соглашения, а после маленькой паузы безапелляционно назовет сумму вознаграждения. Сумма эта будет грабительской, но чаще всего в ответ слышалось: «Согласен». Встречались, правда, иногда любители поторговаться, однако ост-

рый зуб скалы Кадзикаки быстро образумливал упрямца. «Жить всем хочется, — потирал в таких случаях руки Мацубара, — а жаль… Перевелись смельчаки».

Ливень прекратился неожиданно, стало совсем тихо. В тишине позвякивали звенья выбираемой якорь-цепи, как будто скупой в одиночестве пересчитывает медяки: день… день… день…

Последние секунды затишья перед оголтелым нашествием. Минута тихой молитвы.

«Великие боги… — Мацубара не задумывался, к каким богам обращается, кто именно работодатель и заступник его, но традиционно замирал на мгновение, — пошлите нам хорошую работу».

— Якорь вышел из воды, — негромко доложили с бака, и Мацубара положил руку на кнопку автоматического запуска двигателя.

«А русский небось спит…»

Садашев забылся, утомленный невеселыми думами. Приснился ему кабинет моринспекции, на возвышении сидят судьи — капитаны-наставники. Угрюмые глаза, сжатые губы. «Вы изуродовали судно, — говорит главный из них, — вы лишаетесь звания капитана, уходите с моря». Поклонился молча, вышел, долго, на ощупь пробирался темным коридором, в той же темноте

очутился перед бортом своего лесовоза, ржавого и жалкого. Взял шкрябку, поддел пласт ржавчины, и обдало теплом живого металла. Значит, все неправда — громадное тело парохода ждет его заботы и, пока он холит его, никто не лишит Садашева права быть капитаном. Падают, падают к ногам струпья ржавчины… Надо бы побыстрее, уже подходит буксир, а вдоль борта угрюмые фигуры наставников. Сейчас главный подаст команду оттаскивать лесовоз на металлолом…

Протарахтел брашпиль, высыпая в воду якорную цепь. Стали. Мацубара сощурился, едва по надстройке и бортам «Хиросэ» ударил первый заряд бури. Запричитали всплесками воды залива, закипела сумятица волн, и они, очнувшись ото сна, покорными вассалами бездумного владыки поднимались, строились ряд за рядом — все выше, все круче, все грознее, и знаменами гребней взъярилось покорное воинство, готовое крушить все без разбора в отместку за долгое повиновение покою.

Мацубара машинально отстукивал пальцами секунды. Ждал. Так, так, так… Изредка с бака доносились сухие, резкие щелчки — это выворачивались звенья набитой втугую якорь-цепи. Сам спасатель будто прилег собакой в чистом

поле — лапы вытянуты вперед, голова на лапах. Пережидает ураган? Нет, слишком много напряжения в вытянутых вперед лапах, готовых к рывку. Ждет добычу.

Вахтенный помощник с матросом согнулись за оградительным козырьком, наблюдают неотрывно за огнями русского парохода. Мацубара не удержался от сравнения: окоп, солдаты, ждут сигнала к атаке.

— Пополз!

— Хорошо…

Так, так, так…

«Как он там, знаток английского и японского?»

Свежий океанский ветер ворвался в открытый иллюминатор, толкнул застоявшийся воздух каюты, разбудил капитана. Ох, некстати сон. Однако самобичеванием заниматься некогда. Ботинок жмет — к черту ботинок!

Трап, поручни, темно в рулевой рубке, вахтенный помощник никак не решится — будить капитана или нет? Отстоимся или все-таки будить капитана?

Капитан ругается. Русские крепкие ругательства. Ездим быстро, запрягаем медленно. К черту ругательства! В ладони ручка машинного телеграфа.

А паровую машину так сразу не запустишь…

— В машине, когда дадите ход?

— А чтоб… Это… в общем, сейчас, Христофор Асланович.

— Дайте поскорее, прошу.

— Христофор Асланович, надо порт вызывать, буксиры…

— Надо, надо… Все надо… Вызывайте, второй помощник. Первого помощника попрошу возглавить аварийную партию, старпому — на бак.

— Но Христофор Асланович, по тревоге я возглавляю аварийную партию!

— Какая тревога? Ее кто-нибудь объявлял? Нет. Это тайфун, он не по расписанию приходит. На буксиры не надейтесь.

— Вон же буксир!

— Вижу. Это спасатель. И скалу вижу!

Не нужно ни карты, ни лоции. Оскаленный зуб в полумиле по корме, брызги летят слюной бешенства у его подножия. Кажется, от натиска воды и ветра расцепят молекулы свою связь в немой покорности безумной стихии. Разве не покажется такое чудом, если вода становится крепче металла, лезвие скорой волны острее бритвы полосует борта, надстройку и стихия лучше любого регистра находит неполадки на

судне и в команде?

Пароход сползал к скале, из последних сил цепляясь якорями за предательский шелк морской капусты. Машина заходилась от удушья, запускалась и глохла, корпус дрожал от судорожного кашля внутри и от яростных ударов снаружи. Капитан ждал. В рулевой рубке темно, иначе бы все заметили, с какой болью он воспринимает удары волн.

Мацубара занервничал: долго! Почему так долго? Ему хотелось вмешаться в ход событий, он лихорадочно перебирал в памяти похожие и непохожие случаи, силился отыскать один нужный, заручиться им для успокоения.

— Сиогама, Сиогама, прошу на связь! Порт, прошу на связь!

Мацубара подобрался весь, напрягся, потянулся носом к динамику, словно вынюхивал голос в эфире, неожиданный и требовательный. Русский вызывал Сиогаму. Порт молчал. Мацубара ухмыльнулся — знакомое дело, передвинулся в угол рубки, оттуда продолжал следить за пароходом. Вахтенный помощник доложил очередной пеленг, и в голосе его проступило удивление: он не увидел капитана на своем обычном месте, у лобового стекла в центре рубки.

— Достаточно пеленгов! — зашипел из своего укрытия Мацубара, и помощник юркнул на крыло.

«Выходит, не запускается машина, — злорадно отметил Мацубара и, как щитом, прикрыл злорадство другой мыслью: — А каково было Хасэкуре в чужом краю? Давай-давай, коллега. Так, кажется, вы подбадриваете друг друга?»

— Давай, милый, давай!

— Не понял, Христофор Асланович.

— Это не вам… На баке, как у вас?

— П-я-ок! («Порядок!»)

Тайфун отрывал небо от неба, воду от воды, дробил их, превращал в хаос. Нет берега, нет моря, даже скалы Кадзикаки нет, только живет агонизирующее свечение огней парохода, только они еще существуют в клокочущей черной воронке залива.

Пароход продолжал сползать к скале, дюймы отступления становились все длиннее и длиннее, пружина упорства до предела растянулась: еще чуть-чуть, и она лопнет без звука, и сам пароход рассыплется, рассыплется в беззвучный прах, если только, если только… Под ногтями Садашева выступила кровь, так сильно он впился ими в дерево обшивки лобового стекла. Он почувствовал

боль и перевел дыхание.

Смещение огней прекратилось, и Мацубара пожалел о преждевременной радости!

— Пеленг! — заорал Мацубара.

Помощник выкрикнул с крыла мостика:

— Не меняется!

«Неужели на камнях?» — почему-то не обрадовало, а встревожило предположение.

А голос в эфире звал порт непрестанно и требовательно. Сиогама откликнулась. Уточнение координат, уточнение ситуации, нейтрально вежливые неторопливые вопросы в шелухе из «э-э…», «нэ-э…» и пр., и пр. Ответ капитана следовал без задержки.

«Ага, вышло из строя рулевое управление, зацепили о камни баллером руля. Теперь недолго…»

И вопросы порта, и ответы русского подбодрили Мацубару, он снова перебрался в центр рубки.

Садашев по-прежнему оставался у лобового стекла, руки не отпускали деревянной панели обшивки, взгляд прикован к баку, где в призрачном свете носовых прожекторов решалась его судьба и жизнь судна.

Сообщения старпома оттуда, усиленные мегафоном, радовали мало. Капитан отклонялся

корпусом к пульту трансляции и в микрофончик запрашивал:

— Как дела, корма?

Комиссар отвечал коротко:

— Терпимо.

Терпимым стал и голос второго помощника: переговоры с японским портом научили его терпимости. Молоденький третий брал пеленги на крыле. Крутился ураган, крутились вода и небо, русский пароход сносило на Кузнеца зла.

По каналу компании вызвали «Хиросэ»:

— Мацубара-сан, подойдите ближе, подтянитесь в двадцатый квадрат.

Мацубара подтвердил приказ, он понял его. В голосе менеджера слышалось нетерпение: что он там, этот аварийщик, не видит «Хиросэ»?

Ярко подсвеченная надстроечными прожекторами, горела вдоль борта «Хиросэ» надпись: «Спасатель».

А русский вызывал и вызывал порт, требовал буксир, требовал согласно нормам международного права.

«Что ж, его право требовать, — согласился Мацубара, — но есть и право хозяина: если гость жалуется на сквозняки, уместно спросить, не подвержен ли он простуде. Извините, коллега,

таковы наши обычаи».

«Хиросэ» двигался к центру залива, и Мацубаре захотелось со стороны взглянуть на свой красавец, как давит он бунтующую стихию, попыхивая неторопливо дымовой трубой. Что ему тайфун?! И это только на среднем ходу, а пожелай Мацубара, «Хиросэ» взлетит над кипенью вод — какой у него полет!

Крутнувшись на месте, «Хиросэ» остался дрейфовать в трех-четырех кабельтовых от русского парохода.

«Спасатель» — резануло острым светом по глазам Садашева, «Спасатель» — резанула надпись на другом борту. «Вижу, что спасатель», — подумал Садашев, не без восхищения оценив гладкий корпус-утюжок «Хиросэ». Грохотнуло на баке, перекрывая ревущую круговерть, и он тотчас забыл о спасателе.

— Пошел правый, вираем левый! — всунулся связной в проем двери.

— Годится, — кивнул капитан. — Ты легче, Ваня, по трапам носись, не развали нашего старичка.

— Хоро-ош старичо-о-к… — отдышался матрос. — Да его всеми тайфунами вместе не развалишь!

Дрожал корпус парохода, дрожал ритмично, и

Садашеву, также как всаднику от лошади, передавалась эта дрожь.

Что-то случилось… Мацубара встревожился опять, точно дорожка к русскому пароходу затягивалась болотной ряской. Он попробовал оживить образ своего соперника, но ничего, кроме иконы с суровым ликом, не получилось. Мацубара покрутил головой, стряхивая наваждение, и стал подыскивать что-либо нейтральное, чтобы не пугаться символа чужой веры, чтобы оживить свою. «Неужели я где-то просчитался?!»

Вахтенный помощник, извинившись, просунул голову в рубку, сообщил:

— Русский удаляется от Кадзикаки.

— Как?!

На циферблате часов стрелки разошлись шире — без десяти два.

«Упускаем! Упускаем!»

Шаг на крыло в гудящую суматоху — и в ней судорожно всплескивает бой колокола. «Отбивает смычки? Травит якорные цепи?..» — в первый миг Мацубара готов был осмеять русского капитана за глупость, за желанную глупость. В следующий — опешил: его бесцеремонно обворовывают. «Русский хочет вытянуться на якорях? Ну-у…» Мацубара сжал кулаки от прилива ненависти.

Года три назад изящный, как скрипка, итальянский фруктовоз тоже пытался тянуться на якорях, помогая машине осилить тайфун, уйти от скалы. Цепи не выдержали, как и следовало ожидать, полопались от напряжения. Капитан фруктовоза, экспансивный тосканец (то ли Каприччио, то ли Назаччио — какая разница?), безоговорочно принял условия Мацубары, продиктованные по радио. Днем позже изуродованное судно поставили в док. Итальянец сопровождал смотровую комиссию, ходил вместе с ней по холодильным камерам, сияющим никелем и стерильностью, спускался в зал машинного отделения, где тот же блеск и до противного чисто: казалось, сам двигатель (ах, какая у него была турбина!) вобрал в себя солнце и запах апельсиновой рощи. Он покорно принимал любое предложение, согласие без слов читалось в его темных, влажных глазах, а губы шептали, как молитву, имя своего красавца или красавицы фруктовоза. Мацубара забыл это имя начисто.

Теперь же сопротивлялся неказистый лесовоз, и Мацубара угадал, как угадывают завзятые картежники ускользающую удачу, — уйдет. Ладонями Мацубара давил костяшки пальцев, сжимал и разжимал кулаки, не замечая ревущего

урагана, потоков воды, помощника, который бегал от пеленгатора в рубку и дважды упал от поспешного усердия. Мацубара не хотел сдаваться, и если бы не матрос, не помощник, если бы он один остался сейчас на «Хиросэ», то закричал бы, порвав легкие в клочья: «Тайф-у-у-ун! Тайф-у-у-ун! Я не слышу тебя! Что же ты?»

Лопнула, левая якорная цепь…

— В машине: держимся на одном якоре! Как поняли?

В динамике кашлянул стармех, вклинился чей-то возглас, и пароход задрожал. Это была дрожь лошади, свившей мускулы в один жгут для прыжка через пропасть.

Садашев убрал руки с деревянной панели, выдохнул весь воздух, как будто мог этим помочь судну в минуту крайнего напряжения, напружинился весь сам: «Ну, милый…»

Ему показалось, что он почувствовал этот прыжок и даже ощутил удар копыт на той стороне пропасти. «Черт, дышать-то как вольно! Кто это легкие назвал легкими? Умный человек…»

— Вот теперь можно и с нуля. Хоть старпомом в каботажку, — повернулся и подмигнул Садашев помощнику.

Тот прижал к груди трубку радиотелефона —

жаль, что не цветы! Да где ж их среди моря-урагана найти? А надо было бы — сегодня еще раз родились!

— Поплаваем еще, Христофор Асланович…

Силуэт русского парохода виден отчетливо, и Мацубаре передается дрожь чужого судна. Тайфун еще ярится, но нет более торжества гудения в его натиске.

«Проклятье, как он смог?»

Неприятно засосало под ложечкой, хотелось убраться куда угодно, исчезнуть с «Хиросэ», чуть-чуть передохнуть и собраться с мыслями.

На мгновение Мацубаре померещилось, что не он, а русский сторожит его оплошность и погибнет именно «Хиросэ». Тяжело сплюнув прямо на палубу рубки, Мацубара несколько раз энергично вдохнул и выдохнул. Стало легче на сердце, но была еще душа, она не испытала облегчения.

«Уверенность русского разрушает мою, — подумал он, и плохое предчувствие снова сжало сердце. — Это не просто русский уходит от Кадзикаки, это я возвращаюсь в тиски зла и безысходности. А так мало надо японцу для жизни… Ну почему он прав? И почему не прав я?» — пристукнул он кулаком по переборке.

Русский капитан в его воображении вырос до

размеров гиганта, в руках у него по якорю, он вбивает их мощными ударами в дно и выбирается из ямы залива, а сэндайский Масамунэ со своим хатамото, утратив решимость во взгляде, смотрит с затаенным сожалением.

— «Хиросэ»! «Хиросэ»! Мацубара, сообщите обстановку. Русский от услуг спасателя отказывается, просит только буксир. Что происходит? — прорезал эфир голос хозяина компании.

— Русский удаляется от Кадзикаки. Выбрался…

— Свяжитесь с ним, подойдите ближе, наконец! Что вы там торчите в бездействии?! Не хватало еще, чтобы мы лишились и буксировки…

Мацубару больно задело, что хозяин, собственной персоной вышедший на связь, обычно корректный с ним и вежливый до заискивания, назвал его просто по имени, без приставки «сан». Времени для обиды не было, он тотчас связался с русским пароходом. Но хозяйское пренебрежение корябнуло, оставило неприметный след. Хозяин будто со стороны увидел ошибку в расчетах Мацубары и рассердился на его недогадливость.

— Я — «Хиросэ». Прошу капитана на связь. Я — спасатель «Хиросэ». Прошу капитана на связь.

— Второй помощник у аппарата.

Вот в чем дело… Голос соперника, которого он

прорисовал тщательным образом, принадлежал всего лишь второму помощнику. Всего лишь. Он снова запросил аварийное судно, и тот же уверенный голос ответил: капитан занят, помощь по-прежнему нужна, буксир следует подавать на бак. Мацубара растерялся окончательно и сказал совсем не то, что собирался сказать:

— Почему на бак?.. С кормы удобней…

— Со стороны кормы вы рискуете сесть на мель. Как поняли меня?

«Хиросэ» обиженно рванул поводья, разворачиваясь в сторону лесовоза.

Стрелки часов беспомощно разошлись в стороны — без пятнадцати три. Тайфун пошел на убыль, и в сером предрассветье черным паром клубились валы, водная пыль летела в одном направлении — в сторону скалы Кадзикаки, огибая с обоих бортов корпус русского парохода.

«Подача буксира — только десятая часть. А ведь было в руках почти все! О-о боги!..»

Мацубара прошел на крыло мостика и в полный рост принял тяжесть летящей навстречу массы воды и воздуха. Команды подавал, стиснув зубы, и помощник боялся ошибиться, но еще больше боялся переспросить Мацубару. Один «Хиросэ» двигался, поворачивался, останавли-

вался, безучастный ко всему происходящему.

Вблизи русский пароход утлым не выглядел. Старым — да, но клепаное железо борта внушало уважение. На кормовой палубе веселились люди, похожие в скупом свете палубных ламп на пляшущих чертей, грохотала паровая лебедка. Когда она замолкала, было слышно, как набитый втугую стальной трос бодро колотит по металлу грузовой стрелы: тень-день, тень-день, день, день, день… Кто-то из русских помахал Мацубаре рукавицей, кто-то, смеясь, показал кусок манильского кончика. Мацубара отвернулся. Он представил себе, как пятился бы пароход на буксире спасателя кормой, и пожалел, что согласился с предложением русских.

«Не нравится кормой…» — подумал он с безразличным отупением, слизывая капли соленой воды с губ. На верхнем открытом мостике нудно шлепала какая-то снасть под порывами ветра — не осталось у тайфуна ярости оттянуть ее, как тетиву лука, как струну, и заставить подпевать мелодии разгула.

Мацубара не стал разглядывать людей на мостике русского парохода, понимая бесплодность попытки выделить среди них капитана — все они одинаковы.

— «Хиросэ», — неожиданно прозвучал в динамике глуховатый мягкий голос, — в помощи больше не нуждаемся. Завели румпельтали и к месту новой стоянки пойдем своим ходом. Как поняли?

Он узнал голос русского капитана! Он мог поклясться, что слышал этот выговор японских слов. Но где, проклятье, где?!

«Хиросэ» огибал прямой форштевень лесовоза, и Мацубара вместо ответа скомандовал в спикер, забыв отпустить кнопку вызова:

— Стоп машина!

Он увидел необычное. Правый якорь русского лесовоза висел под самым клюзом с нелепо отогнутой лапой!

— Хая, хая! — пробормотал он, вытаращив глаза, и отпустил кнопку вызова.

— Повторите, — вежливо попросил русский капитан.

Невероятно!

Сколько видел Мацубара сиротливо свисающих якорь-цепей, сколько безжалостно развороченных бортов и штевней, но чтобы у якоря отогнулась лапа — нет! Невероятно!

И со злостью, в каком-то мистическом страхе двинув ручку машинного телеграфа до отказа

вперед, он погнал «Хиросэ» напрямик к причалу.

Впервые после установки буя Мацубара видел его в такой близости. Помощник застыл в полный рост на крыле, не шелохнувшись стоял за спиной рулевой, а Мацубара невидящим взглядом вперился в бегущий навстречу буй. «Я раздавлю тебя!» — с яростью повторял он мысленно, не думая о последствиях, будто этот жалко мычащий «теленок» был причиной всех его сегодняшних неудач.

Оставалось треть кабельтова до буя, и глаза Мацубары стали непроизвольно расширяться от ужаса, и тот же ужас слепил его губы, вязкой массой обволок самые нужные слова, без которых не будет уже ни «Хиросэ», ни Мацубары. Секунда, другая…

Белые бурунчики хищно выскабливали обнаженную в отлив часть банки.

«Как я проходил здесь раньше?!» — возопила жуткая мысль. И не оставалось уже времени вспомнить, что прежде в тайфун он брал аварийщика на буксир и отводил под защиту восточного берега, теперь же срезал угол к западному берегу и «Хиросэ», «закусив удила», верный воле своего хозяина, летел прямо к гибели.

— Лево на борт! — Такие нужные три слова!

Рулевой в бесценные три секунды судорожно вдавил кнопку левого разворота, не осознавая, что команда пришла из динамика внешней связи от русского капитана.

Возможно, русский капитан был здесь ни при чем. А уж боги тем более. Мацубара не сомневался в этом: слабые не любимы небом.

— Гамбаттэ[6], — с мягкой хрипотцой вновь прозвучало в динамике.

Не открывая глаз, Мацубара перевел ручку машинного телеграфа на «самый малый», потом нащупал пульт внешней связи и отключил его совсем. Да, и обезьяна, бывает, с дерева падает.

Всё!

Разные капитаны приглашали Мацубару на «скотч», одни похлопывали по плечу, другие, наоборот, услужливо поддерживали под локоть, провожая к трапу, но все они, кто сутки назад торговался с ним за каждый доллар, марку, фунт, в момент встречи понимающе подмигивали — бизнес есть бизнес. И он понимал их, разных и таких одинаковых в критической ситуации: своя рубашка ближе к телу. Постепенно у него появилось устойчивое мнение обо всех моряках и, познако-

---

[6] Примечания: 6

Гамбаттэ — держитесь (*яп.*).

мившись с новым капитаном, держался ли тот на дистанции или напрашивался в друзья, выделял главное: поляк — лихой, филиппинец — робкий, итальянец — горячий, немец — практичный…

Встречался Мацубара и с русскими. Те не мелочились, не торговались, подписывали счета, выполняли требования властей, искренне извинялись за упущения, если случались таковые, могли настоять на своем, если на то существовали оговорки в правилах. Но всегда были предупредительны, угощали по-царски и напоминали Мацубаре старательных первоклашек. «Пока-то они выучат наши правила…» — с иронией думал о них Мацубара. По отношению к русским он сначала принял назидательный тон. Но…

Однажды, угощаясь на русском судне, в приятной осоловелости Мацубара вышел на палубу подышать свежим воздухом. Только что капитан с первым помощником ублажали его, внимали ему, буквально смотрели ему в рот, и вот через приоткрытую дверь Мацубара вдруг увидел, как помощник плутовски и очень точно копировал его. Ученики выросли. Мацубара протрезвел от возмущения, нагло выпросил бутылку водки и ушел, не прощаясь. Оскорбился. С тех пор он посещал русских настороженно, не расслаблялся

и уроков не давал.

Когда же на другом судне его тактично и вежливо посрамили в знаниях собственной истории, он убедился окончательно, что икра и водка — дорогостоящее лакомство. Хватит. Он навсегда перевел русских из правил в исключение.

А мир менялся день ото дня, все чаще встречались Мацубаре первоклассные, ничем не уступающие японским русские суда. Чаще и чаще русские вызывали у Мацубары симпатию и затаенный интерес, хотелось вновь пооткровенничать с каким-нибудь русским капитаном, даже съездить в Россию; он любил повторять Эндо о единстве дома и натуры хозяина: большой дом — щедрый характер.

Определенно, русские нравились ему! Но и полученные уроки настораживали: исключения оставались исключениями.

Его привлекли голоса на причале. Группа людей поднималась на разъездной катер портовых властей. Мацубара узнал среди них представителей Института морской безопасности: «Все правильно, едут к русским зад замывать…»

Ему захотелось вдруг, чтобы его заметили, пригласили с собой, как приглашали не раз; хотелось взглянуть на капитана, сумевшего избе-

жать «даров Масамунэ». Нет, он не поедет. Катер отвалил от причала, и Мацубара почувствовал облегчение.

— Я сойду на берег, — сказал он помощнику и, заложив руки за спину, прямо в штормовом облачении вышел из порта.

У первого киоска, где торговали газетами и журналами разной давности, он остановился, нашел нужный: дочитать надо — кто-то перетормошил историю. Возможно, это лекарство, возможно — яд. Знать надо. Он медленно полистал страницы.

«…Не отчаивайся, Хасэкура, — сказал великий князь. — Япония сумеет постоять за себя. Кто не приемлет наше добро, познает зло». И весь рассказ.

«Бедный Хасэкура, — подумал Мацубара с тоской, — умер, забытый всеми, в немилости князя Датэ. Знаменосца лишили знамени».

Почему? Все просто: род Токугава готовился править Японией взаперти. Так спокойней. Ни врагов, ни друзей — тоска, но спокойно. Хатамото Хасэкура, по-видимому, высказал князю правду, великий же Датэ плыл на одном корабле с Токугава и предпочел выбросить за борт старые знамена вместе со знаменосцем. Без умных обойтись можно, без послушных — никогда.

«Как пусто все. Как глупо… Куда мне идти, с кем?.. Били нас тайфуны и цунами, природа и пришельцы помыкали Японией, мы научились защищаться: гнемся веткой под тяжестью лишений, сгибаемся, пока они не свалятся. Непогода уходит, страна Ямато вечна. Радоваться или печалиться? Мы научились выжимать крохи жизни даже из скал, приспособились, смирились с необходимостью ловчить, лишь бы выжить, попираем друг друга, и слабый гнется веткой, как вся нация от комля до верхушки. Но почему так? Почему лежат на нас коростой грехи Датэ? Неужели творящий зло потому его и творит, что сам по уши в грязи и душа его в грязи?»

Мацубара сжал виски и простонал. Хозяин лавчонки по соседству, сухонький пучеглазый гномик, выглянул наружу.

— Есть таблетки, господин капитан. — В ближайших к порту лавках Мацубару знали. — Стаканчик виски тоже не повредит, снимает боль, — приблизившись к Мацубаре, участливо кивал гномик.

— Душа болит, — ударил себя ладонями по бокам Мацубара, — так болит…

— Душа нежна, — кивал гномик, — от боли она грубеет.

— Грубеет? А когда она совсем… совсем больна? — глядел сквозь гномика Мацубара. — Тогда как?

Гномик кивал и улыбался, молча смахивал невидимую пыль с товаров на открытом стенде.

— Вот ведь… — разглядел вдруг гномика Мацубара. — О душе все толкуют, а что это, скажи мне? Как ее лечить, как спасти от боли?

— Болит, значит, живет, — испугался гномик. Чуть отодвинулся и добавил: — Болью и лечат.

— Занятно… Сначала говорил, душа грубеет от боли, потом, что болью лечиться надо. Как же боль проникнет в огрубевшую душу?

Чувствовалось, хозяин лавки и не рад был уже своему участию.

— Чужая боль сильнее, она лечит. Надо только впустить ее, — быстро ответил гномик.

— Но если огрубела душа, как?

— Ваша еще нет, о сэнте-сан, — кланялся, отступая в лавку, гномик. — Вы только прятали ее от себя самого.

В лавке хозяин распрямился, спокойно взирая со своей территории на Мацубару. Верхний косяк широкой двери-входа был почти на уровне его глаз.

«Разговорился в своей раковине… — ирониче-

ски усмехнулся Мацубара, разглядывая ставшего независимым хозяина. — А впрочем, почему бы и не быть ему правым?»

— Так чужой болью? — спросил он, сдерживая улыбку.

— И своей, если сильная, — низко поклонился гномик.

Мацубара пошел прочь, так и не позволив себе улыбнуться, и в такт шагам медленно сменяли друг друга мысли: «Как бы то ни было, а душа наша чиста в глубине своей, как лепесток сакуры. Мы просто давно не мылись».

Кто-то из русских рассказывал Мацубаре о парной бане с веником. Он тогда еле-еле уразумел: чем сильнее пар и хлеще удары веника, тем выше наслаждение. «Вот ведь тоже очищение: обряд не обряд. Очищающая порка. Как тайфун для русского. Ведь проспал начало беды, а собрался, спас пароход».

Мысли потекли о русском капитане, и опять он не знал — радоваться, что русский не увидел его, или печалиться, что сам не увидел русского. И где теперь взять такой тайфун для себя, чтобы все начисто выдуть, чтобы якорь не обломился?

Солнце жаром плавило тело, накалило штормовые доспехи Мацубары. После тайфуна над

Сиогамой всегда горячее солнце.

Он шел к берегу, снимая на ходу куртку, остановился только, чтобы стянуть сапоги и носки. Бледные ступни застенчиво выглядывали из-под брюк, обнаженное тело пощипывал разогретый воздух. Пахло водорослями, и свежесть прошедшей бури таяла постепенно, отдавая дню тонкий аромат. Ленивые пологие волны слизывали его, казалось, с прибрежного песка. На камне у воды сидел старик, сухой и светлый, похожий на обкатанный водой, ветром и временем продолговатый кусок дерева, точно такой, что лежал у него на коленях.

Обломанный деревянный брус был некогда основанием чему-то, и массивные ржавые гвозди торчали во все стороны ежовыми иголками. Старик расшатывал их и выдергивал плоскогубцами, заглядывал внимательно в каждое освободившееся отверстие. Мацубара остановился. Сначала он услышал негромкое пение и только потом увидел, чем старик занят.

— И ничего нет на такарабунэ, корабле счастья, и совсем его не было. Сказка это. Но разве можно выходить на берег моря без сказки?

Мацубара догадался — не песня это, старик помогает работе, напевно бормоча.

— …А вдруг он есть?

Мацубара прислушался, заинтересованный. Заметил и старик Мацубару.

— …Тогда всякие бездельники первыми увидят его и возьмут незаслуженные богатства.

Мацубара улыбнулся: в таком виде на капитана он мало походил.

— …А пока такарабунэ не видно, мы сделаем внучке кокэси[7]. Пусть думает, будто корабль счастья привез ей подарок.

— Извините, отец, — решился прервать занятие старика Мацубара. — А почему вы взяли такой большой обломок для маленькой кокэси?

Старик промолчал, поглощенный выдергиванием большого уродливого гвоздя. Мацубаре стало неловко — уйти, остаться ли? Бледные ступни зарывались в податливый песок, горячий сверху и успокаивающе прохладный внизу. Уходить не хотелось, да и берега им двоим хватит.

— …Мы отшлифуем маленькую кокэси, — снова напевно забормотал старик, — и никто не догадается, какой это был никчемный обломок. Он и не был таким, просто бездельники не умеют видеть маленькой доброй куклы, они видят

[7] Примечания: 7

Кокэси — деревянная кукла с цилиндрическим или прямоугольным туловищем, без рук и ног, чаще всего разрисованная.

грубый обломок.

Мацубара отошел на расстояние, повалился на горячий песок и зарыл в нем блаженную улыбку.

— Мацубара-сан, — легонько тряс за плечо Эндо, — проснитесь.

— Обожди, обожди, — все еще не хотел расстаться со сном Мацубара, потому что во сне он видел хатамото Хасэкура, который давал понять знаками, что хочет говорить. Его одежда хранила следы дальней дороги, усталое, печальное лицо — следы разочарования.

— Обожди, — прошептал Мацубара, садясь на песок с закрытыми глазами. — Мне только смысл…

Хасэкура обращался к нему с чем-то, и смысл сказанного посланником Датэ отложился в голове Мацубары подобно непроявленной фотопленке — откроешь глаза, сон уйдет, и пленка засветится. Он не открывал глаза.

— Обожди.

«Придет русский капитан, скажи ему: «Хасэкура Цунэнага сожалеет, что не побывал в России. Дороги туда трудны и опасны, много страхов рассказывают о ней, но лучше трудный путь, чем двести лет одиночества». Мы вырождаемся, Сиро,

а когда ослабнем совсем, нас заклюют птицы «юань»[8]. Ты не хочешь этого? Сиро, не бойся моей участи, сынок…»

Сиро… Так звал Мацубару только один отец, которого он давным-давно и во снах не видит.

— Мацубара-сан, — тихо позвал Эндо.

— А-а?.. — протер глаза Мацубара. Проснулся и пронзительно горько почувствовал одиночество. — Эндо, друг… Спасибо, что пришел.

Эндо молчал, пересыпая в ладонях песок. Они сидели совсем рядом, почти соприкасаясь.

— Не знаю, как тебя и благодарить.

— …Там русский капитан хотел видеть вас…

— Да? — удивился Мацубара, подумав про себя: «Три вещих сна за столь малое время. Не слишком ли? Прохудилось, видно, решето со снами…»

Эндо запустил обе руки в песчаный холмик и с улыбкой заглянул в ладони, из которых шустро уползал маленький крабик. Перед тайфуном крабики Сиогамы убегают подальше от воды, зарываясь в песок. Потом возвращаются к морю. Этот задержался. Видно, чувствовал новый тайфун…

— «На белой безмятежности песка затерянного

---

[8] Примечания: 8

Птица «юань» — черный коршун (*кит.*).

в море островка… — тихо начал Эндо, и Мацубара подхватил:

— …я с маленьким играю крабом. И слезы на глазах». Эндо… Как вовремя! Как просто, оказывается, поделить мир на всех. Я понял смысл, почти смысл жизни — нельзя отмерять его от себя. Прости.

Эндо всхлипнул.

— Идите, капитан, — сказал он, спрятав глаза под ладонями, — я посижу еще.

Мацубара пошел прочь, всей тяжестью ступая в зыбкий песок, обжигающе горячий к середине дня. «Жги сильнее!» — хотелось кричать ему.

Сейчас он увидит человека, который дал ему прозрение.

«Вы меня поймете, если я признаюсь вам, что я вновь родился? Благодаря вам. Это было так трудно! Мучительно тяжело родиться человеком» — так он скажет русскому капитану. Честно скажет. Разве это не радость — пережить бурю и вернуться с другом издалека?

Быстрым шагом Мацубара обогнул склад, бодро вышел на причал и — растерялся. Он ожидал увидеть сразу и русских, и людишек из разных служб, которые станут крутиться поблизости — как бы капитан Мацубара не сказал лишнего. О

нет! Он скажет только основное: нечего прятать хищный клык Кадзикаки за слащавыми улыбками фальши. Покажите! Покажите его — символ страны, герб города, пославшего некогда знаменосца добра! У Мацубары хватит сил сказать это, он не боится участи Хасэкуры!

Но причал был пуст.

— Где русские? — спросил Мацубара у вахтенного и не скрыл своего беспокойства. — Где русские?!

— Ушли, господин капитан, — ответил матрос, — совсем ушли.

На выходе из залива до размеров точки уменьшился пароход, и Мацубара смотрел на крохотную точку, силясь совладать со своим лицом.

Он сел на причальный пал, и раскаленная верхушка его заставила остановиться дыхание, так неожиданно хлестнул жар и вытеснил все ощущения, кроме одного желания — убить этой болью все остальные. «Ну, жги сильнее!» — выдохнул Мацубара со стоном.

Какое-то время он сидел без движений. Пал остыл, боль утихомирилась. Ничего не изменилось вокруг — причал, знакомые запахи порта, щербины на бетонных плитах, кое-где в стыках и щелях торчком зеленели былинки.

«А он приходил, русский капитан… Ну почему ты, Эндо, не поспешил за мной? Он же приносил какие-то слова…»

На ветке, сломанной дождинкою, — слеза.

Ушел тайфун — я выплакал глаза.

Приплясывали мелкие волны у причала, изредка какая-нибудь одна попроворней забиралась в якорный клюз «Хиросэ», слышался всхрап, и похоже было, будто усталый конь пьет воду.

Мацубара поднял голову, словно ощутил на себе понимающий взгляд «Хиросэ». Большие с наклоном вперед лобовые стекла очень напоминали склоненную голову лошади: терпение, тайна и печаль сплавились в темном бархате глаз-стекол.

Светило солнце. После тайфуна над Сиогамой всегда горячее солнце.

И. Рядченко
СУРОВЫЙ ТОСТ
Стихотворение

Когда беснуется норд-ост
и ходит дрожь в домашней шторе,
мы поднимаем старый тост,
суровый тост «За тех, кто в море!».

Порой в заливе шторма нет
и море с небом ищет сходства.
Но до утра не гаснет свет
во многих окнах пароходства.

Мы попадаем к морю в плен,
и без него нам, как без соли.
А море синее взамен
нас учит мужеству и воле.

Рванув тельняшки на груди,
отцы шли в бой, со смертью споря.
Ты их сегодня награди,
произнеси: «За тех, кто в море!»

А дождь сечет, а ветер крут,
волна рождает стон в металле.
Кого-то дома верно ждут.
Кого-то ждать уже устали.

Встает каюта на дыбы,
и горизонт в опасном крене…
Но нет прекраснее судьбы —
не пасть в сраженье на колени!

И я б хотел меж туч и звезд
так жить в бушующем просторе,
чтоб заслужить однажды тост,
суровый тост «За тех, кто в море!».

В. Рыбин
ПОД БЕЛЫМ СОЛНЦЕМ КРАСНОГО МОРЯ
(Главы из повести)

Летом 1974 года советские военные моряки по решению Организации Объединенных Наций и по просьбе правительства Египта проводили боевое разминирование Суэцкого залива, заминированного ранее израильскими агрессорами. Выполняя эту гуманную миссию, советские моряки проявили высокое боевое мастерство, выдержку, мужество и хладнокровие.

О подвиге советских моряков в Суэцком заливе и рассказывает повесть писателя В. Рыбина «Седьмая звезда», главы из которой мы публикуем в нашем сборнике.

Редколлегия

На остров к гидрографам корреспондент флотской газеты капитан третьего ранга Туликов поехал не без тайного умысла: хоть немного побыть в уединении, отписаться. Но и здесь

оказалось немало интересного материала. И вот теперь он сидел в палатке и набрасывал очередной очерк, сразу же получивший название «Гарнизон кораллового острова».

...Малый десантный корабль, — писал Туликов, — *долго ходил вдоль пенной кромки обсыхающих рифов, испятнавших морскую гладь частым белым пунктиром: подойти к острову было негде. Тогда мичман Смирнов и старшина первой статьи Светин поплыли на разведку. Это было опасно: у кромки рифов охотились акулы, — но ничего другого не оставалось. Проход нашли скоро, но к берегу десантный корабль все равно не смог подойти: оставалось еще метров тридцать разноцветного хаоса подводных рифов — где человеку по грудь, где по колено. Гарнизон — десять матросов, старшин и офицеров гидрографического поста — высадить было нетрудно. Но на палубе дожидались выгрузки аппаратура, двигатели, бочки с горючим и пресной водой, ящики с макаронами, консервами, прочим провиантом. Три тонны груза.*

— Придется на себе, — сказал командир гидрографического поста старший лейтенант Сурков и первым спрыгнул в воду, принял на плечо тяжелый куль палатки и пошел к берегу, раздвигая грудью искрящуюся гладь, стараясь тверже ставить ноги, чтобы если и не раздавить подошвой все то колющее, жалящее, ядовитое, что может оказаться на дне и что кишмя кишит в теплом Красном море, то хотя бы отпугнуть.

Выбравшись на песчаную отмель, он внимательно оглянулся, прежде чем сбросить палатку. Потом, осторожно ступая, обошел берег, вглядываясь в песок, в хаотично разбросанные камни: египетские власти предупредили, что на острове могут быть мины.

Ничего подозрительного Сурков не нашел и махнул рукой, чтобы начинали разгрузку. И пошел живой конвейер от корабля к берегу. Час работали без отдыха и другой. Море искрилось сплошным бликом, остров, как печка, дышал жаром. Возвращаясь к кораблю за очередной порцией груза, люди приседали, окунались с

головой, чтобы охладиться, но уже через минуту пот снова заливал глаза.

— Проверь, сколько градусов! — крикнул Сурков лейтенанту Гиатулину, в изнеможении опускаясь на свернутую палатку. На песок или на камень сесть было невозможно — обжигали.

— Уже проверил. Термометра не хватает.

— Как это не хватает?

— Уперлось в пятьдесят градусов, а больше делений нет...

Корабль осторожно разворачивался среди рифов.

— Счастливо отдыхать! — крикнули с палубы.

Сурков вяло отмахнулся. Им было не до шуток и тем более не до отдыха: предстояло сегодня же перетащить весь груз за километр от берега, на пологий взгорок, делавший остров похожим на погруженную в воду голову бегемота. Предстояло разбить палатки, зарыть в песок бочки с водой и с горючим, установить движки и теодолиты, наладить работу рации. Чтобы уже завтра с рас-

светом выдать на тральщики первые данные.

Сначала, чтобы не напороться на мину, тщательно проверили дорогу до развалин старого маяка, темневших на взгорке, потом до ночи работали на площадке.

А на рассвете песчаная буря сорвала палатки…

Кто-то пощекотал Туликову ногу. Он отвел глаза от строчек и увидел на сандалетке небольшую ящерку.

— Гляди-ка! — удивленно воскликнул он, обращаясь к сидевшему рядом лейтенанту Гиатулину. Второй день Туликов находился у гидрографов и был уверен, что на острове нет никакой живности.

Видно, он на одно неуловимое мгновение отвел глаза, потому что ящерка вдруг исчезла, будто провалилась.

— У вас тут ящерицы живут? — с вопросительной интонацией сказал он, словно оправдываясь на случай, если вдруг выяснится, что это ему почудилось.

— Мало их тут, — сказал Гиатулин. — Не остров, а сковорода горячая. Наши палатки — един-

ственная тень, вот и забегают. А вообще на всем острове, кроме ящериц, крабов да мух, никто не живет. Правда, недавно сверчок пиликать начал. Откуда взялся?.. Вся жизнь тут — под водой. И нас только море спасает…

Гиатулин говорил медленно, словно бы через силу, и Туликов понял, что лейтенант просто задремывает, устав от его монотонных расспросов. Вроде бы какая у Гиатулина работа — сидеть у теодолита. Гляди на тральщики да через каждые две-три минуты передавай радисту данные об их передвижении. Но выматывает это простое дело хуже физической работы. Все время в напряжении, не дай бог упустить момент, когда корабль начнет сбиваться с курса. Отклонится от прямой линии на какой-нибудь десяток метров — и может напороться на мину. Вчера Туликов попытался сесть к теодолиту и уже через минуту отшатнулся: глаза слезились, черные точки тральщиков растворялись в ослепляющих бликах. А ведь старший лейтенант Сурков и лейтенант Гиатулин сидели у теодолита целыми днями, а иногда, если траление велось ночью, то и круглые сутки. Самую важную работу — теодолитные наблюдения — вели офицеры, только они двое.

— Пойду пройдусь, — сказал Туликов, решив, что надо дать Гиатулину отдохнуть от расспросов.

— Далеко не ходите. Вокруг палаток мы проверили — чисто, а дальше кто знает. Арабы говорят, могут быть мины.

— Они много чего говорят.

— Все-таки. Береженого бог бережет.

Под приподнятые полы палатки тянул слабый ветер, и хоть он был горячий, все же создавал иллюзию прохлады. Когда Туликов вышел под прямые солнечные лучи, ветер исчез. Сверху и со всех сторон дышало жаром, песок, попадая на ноги сверху, обжигал сквозь носки. Да и сквозь подошвы чувствовалось, до чего горяча земля.

Неподалеку от палаток высилась аккуратно сложенная кучка ракушек, и он полюбовался поблеклым, но все еще красивым перламутром. Это были ракушки-крылороги, большие, с длинными отростками, похожими на растопыренные пальцы. У основания каждой ракушки было пробито отверстие: жители Хургады, в иные, мирные времена наезжавшие на острова, именно так вытаскивали моллюсков из их красивых домиков.

Как ни хорохорился Туликов, а упоминание о минах заставило его пристальнее вглядываться

под ноги. Осторожно ступая, он прошел к развалинам старого маяка, огляделся. Отсюда был виден весь остров, длинной серой косой протянувшийся на целую милю. Вдали за ним синело море и темной полосой виднелся другой остров, такой же низкий и пустой, без деревца, без кустика. Угнетающей душу пустынностью веяло от всего, что было вокруг.

Туликову приходилось бывать в наших Каракумах, но там даже голые пески казались живописными, а барханы, поросшие редкими кустами песчаной осоки, по сравнению с тем, что было здесь, прямо-таки кишели жизнью: бегали ящерки-круглоголовки, дредноутами двигались черепахи, в каждой ложбинке суетливо катили свои шары черные жуки-скарабеи. Никак не представлял себе Туликов, что такими мертвыми могут быть тропические острова. «Пальмы, синие лагуны, экзотика», — вспомнил он разговоры перед отъездом и невесело рассмеялся. Здесь экзотикой и не пахло.

Просто не верилось, что все это, поджаривающее человека, уничтожающее его пространство, существует само по себе и нет в этом ничьей злой воли. Туликову казалось, что если бы не мирное, знакомое, успокаивающее потрескивание движ-

ка, то в этом пекле, в этой бесконечной пустоте недолго и сойти с ума.

Отсюда, от раскаленных камней старого маяка, самым живописным местом на всем острове казался координационный пост. У кромки берега, выстланного ослепительно белым коралловым песком, стояли три палатки, темнела бочка воды, почти совсем зарытая в песок, высилась антенна. Только там была жизнь: ходили люди, кто-то плескался в бухточке на мелководье, охлаждался.

Туликову вдруг нестерпимо захотелось в эту бухточку, и он заторопился к берегу, на ходу расстегивая рубашку. Сбросив шорты и сандалеты, не имея больше сил пройти туда, где поглубже, плашмя плюхнулся в воду. Его передернуло от озноба: температура воды, он хорошо знал, была больше тридцати градусов, но после пятидесятиградусного обжигающего воздуха вода показалась ледяной.

— Не хотите поплавать? — крикнули ему с берега. Оглянулся, увидел мичмана Смирнова с гнутой трубкой и маской для подводного плавания. — Далеко не заплывайте, на глуби акулы ходят. И на кораллы не наступайте, только на чистый песок, где все видно, ежей тут много…

— Я знаю. — Туликов натянул на лицо маску, поудобней пристроил загубник, нырнул и обмер от невиданной красоты подводного мира.

Как невообразимо пустынен был остров, так ошеломляюще красочно и богато было подводное царство. Туликов знал об этом: еще прежде, бывая в плаваниях, перечитал массу книг о живности тропических морей. И теперь он многое узнавал. Кораллы здесь были самых разнообразных форм — ажурные, шарообразные, блюдцевидные, то раскинувшиеся легкими веерами, то массивные, испещренные лабиринтом извилин, словно обнаженный мозг. Золотистые коралловые рыбки скользили меж зыбких щупалец бледно-фиолетовых анемон. Черные ежи топырились тонкими длинными иглами. Среди водорослей весело кувыркались морские коньки. Порхали полосатые рыбы-бабочки, склевывали кораллы тонкими своими клювиками. Неожиданно выскакивали из-за кораллов и так же быстро исчезали сплющенные с боков морские окуни, черно-бархатные губаны, красивые голубые морские караси. Откуда-то появилась вдруг колючая рыба-шар, плывущая вниз головой и кверху брюхом. Туликов решил, что рыба гибнет, протянул к ней нож, который все время держал в руке, но

рыба с необыкновенным проворством юркнула в сторону и пропала в зелено-красных зарослях.

Туликов вынырнул, глотнул воздуха, огляделся. Увидел, что отплыл уже довольно далеко, но не обеспокоился: было мелко, а на мелководье, как им говорили, акулы не заходят. Во всех книжках про акул, которые он читал, говорилось, что эти хищники нападают, переворачиваясь на спину. А при малой глубине не больно напереворачиваешься.

Когда он снова глянул на отдалившийся берег, то понял, что там что-то случилось: старший лейтенант Сурков, сидевший у теодолита, прикрыв глаза одной рукой, другой махал. Кто-то торопливо надевал рубашку, кто-то бежал куда-то за палатки, где был движок.

Стараясь не забыться и не наступить на дно, Туликов изо всех сил заспешил к берегу, бросил на песок маску и трубку и, как был в трусах, побежал к теодолиту. Там возле Суркова, сидевшего с плотно закрытыми глазами, уже топтался лейтенант Гиатулин. Просовывая руки в рукава рубашки (в тени палатки все отдыхали, раздевшись до трусов), он одновременно заглядывал в окуляр теодолита.

— Не вижу! Корабли не вижу! — повторял Сур-

ков. — Передайте по радио: не вижу!..

— Погоди передавать, разберемся, — говорил Гиатулин. И снова приникал к окуляру и жмурился, вытирал слезы: море сияло как зеркало, слепило.

— Передай! Нельзя, чтобы они думали, что мы их не видим.

Туликов знал, что угловые величины, переданные отсюда по радио, принимал на тральщике капитан-лейтенант Колодов, который и производил нужные вычисления, поступающие потом к рулевому в виде команд.

Гиатулин, сидевший у теодолита, тряс головой, протирал глаза и все всматривался в белое марево, стараясь разглядеть темные точки кораблей.

— Должны увидеть! — звенел в наушниках голос Колодова. — Смотри внимательнее. Надо увидеть!

Гиатулин и сам понимал, что надо увидеть. Хоть умри, а надо.

Ровно тридцать лет назад, в 1944 году, вот так же гидрограф выдавал данные его отцу, плававшему на тральщике. И уж он все видел, тот гидрограф. Иначе, кто знает, может, вовсе не было бы на свете лейтенанта Гиатулина, родившегося пять лет спустя.

— Товарищ старший лейтенант, — донеслось из-за палаток. — Киреев упал.

— Как это упал? — крикнул Сурков.

— Солнечный удар, наверное…

— Оставайтесь тут, я пойду помогу, — сказал Туликов и побежал за палатки.

— Голову накройте! — крикнул вслед Сурков.

Моторист старший матрос Киреев лежал навзничь на раскаленном песке, и возле него уже суетились два матроса и старшина Светин, которого все называли «гарнизонным лекарем», поскольку он имел некоторую санитарную подготовку. Бледное лицо Киреева странно сливалось с белым песком.

Туликов крякнул, поднимая матроса. Он собирался помочь отнести его в тень и вдруг согнулся от неожиданной боли. Светин, крепкий, кряжистый, подставил руки, перехватил обмякшее тело матроса и понес его не в палатку, а к берегу, к воде.

— Брезент несите! — властно приказал он. — Да корреспондента оденьте. А то придется двоих откачивать.

Боль разливалась по низу живота… Кто-то надел на голову Туликова пилотку, накинул на плечи рубашку, и он, с беспокойством прислу-

шиваясь к себе, стал одеваться. Неожиданно коснулся голым коленом работающего движка и забыл о боли в животе: движок был раскален. Наверное падая, Киреев сдвинул легкий брезентовый навес, и теперь движок, лишенный тени, перегревался прямыми солнечными лучами.

Туликов представил себе, что может произойти, если сейчас же не поправить навес: движок перегреется, выйдет из строя, рация замолчит, корабли лишатся связи с координационным постом и какой-нибудь из них сойдет с линии безопасного курса, окажется на коварных рифах… Вот когда почувствовал он, что такое флотская взаимозависимость. Знал, всегда знал, что порой от четких действий одного, даже самого, казалось бы, маловажного специалиста зависит успех всего большого корабля, даже соединения кораблей, а по-настоящему понял, почувствовал это только сейчас. И, превозмогая боль, он начал поправлять навес, чтобы спрятать движок в тень. Увидел ведро с водой, сбросил рубашку, намочил ее и принялся прикладывать к сердито шипевшему корпусу движка.

Потом пришел мичман Смирнов, отобрал рубашку, выжал, накинул на плечи Туликову.

— Отдыхайте, я сам все сделаю.

Туликов огляделся и пошел к берегу, где матросы держали брезент, создавая тень. В тени по грудь в воде сидел старшина первой статьи Светин и держал Киреева так, чтобы у него только лицо было над поверхностью воды. Потом Киреева начало рвать, и Туликову стало не по себе. Он вошел в палатку, лег на раскладушку, с беспокойством прислушиваясь к пульсирующей боли в животе. От теодолита доносились радостно громкие, четкие доклады лейтенанта Гиатулина, должно быть все же разглядевшего корабли. Тарахтел движок, и все было, как всегда — спокойно, обыденно.

В палатку внесли старшего матроса Киреева, положили на соседнюю раскладушку. Все еще смертельно бледный, ослабевший, Киреев, виновато улыбаясь, попытался подняться. Светин прижал его плечи к раскладушке, погрозил пальцем и принялся ощупывать живот Туликова.

— Может, отравление, — сказал он, — а может, и аппендицит. Тут врачу надо бы глядеть, не мне. Полежите до завтра, утром вертолет воду привезет, с ним улетите.

— Пройдет, — сказал Туликов. Улетать ему не хотелось, поскольку еще не решил окончательно, как и что будет он писать об этом «Гарнизоне

кораллового острова».

Светин ушел, и они остались вдвоем, лежали, не глядя друг на друга, стесняясь своего положения. Монотонно тарахтел движок, слышались голоса. Туликов попытался подняться, но испугался вдруг нахлынувшей не сильной, но какой-то обширной боли, вызвавшей непонятный в этой жаре озноб. Он заставил себя вспоминать что-нибудь такое, что отвлекло бы от чересчур пристального внимания к самому себе. Вспомнил дом, туманную Москву и раскаленный Каир.

— Тоскливо, — подал голос старший матрос Киреев.

— Это пройдет.

— А вас тоже солнце придавило?

— С животом что-то.

— А… Я на прошлой неделе тоже что-то съел. Несло, извините… Доктор наш, старшина Светин, перепугался. А я ничего, как видите.

— Да уж вижу… — усмехнулся Туликов.

— Как они тут живут? — вздохнул Киреев. И Туликов сразу понял, о ком речь — о местных жителях. — Дождь, говорят, бывает один раз в два года.

— А то и в три…

— А ведь живут, и еще воюют из-за этих пес-

ков.

— Это их земля, другой у них нету…

Видно, он задремал под этот разговор, потому что вдруг услышал настойчивый голос матроса:

— Товарищ капитан третьего ранга! Товарищ капитан… Слышите?..

— Что?

— Вроде дождь собирается…

Никакое другое сообщение не могло бы сейчас поднять его с койки. Но дождь! «Какой может быть дождь в этой пустыне, где и крохотная тучка в диво!» — думал он, медленно переваливаясь на бок. Издалека донесся низкий, утробный грохот, но это еще не было доказательством приближающейся грозы, это мог быть взрыв очередной мины, уничтоженной тральщиками. «Слишком долог взрыв? Но может, подорваны сразу две, а то и три мины…»

— Надо же, туча! — вдруг услышал он разговор за стеной палатки. — Я думал, тучу тут можно только во, сне увидеть, а она — вот она.

На это следовало поглядеть. Туликов сразу прикинул, какой эффектный образ получится в очерке, если и в самом деле пойдет дождь.

Держась за живот, он осторожно поднялся и вышел из палатки. На юге висели над горизонтом

темно-багровые пятна, словно кто-то огромный заляпал синюю даль грязными пальцами. Пятна быстро увеличивались, темнели, сливались вместе, застилая горизонт.

— Пыльная буря идет! Крепить палатки! — крикнул сидевший у теодолита с наушниками на голове старший лейтенант Сурков.

Задвигался, загудел голосами только что казавшийся уснувшим координационный пост. Моряки заносили в палатки все, что находилось снаружи. Полы палаток были опущены и накрепко привязаны к кольям, вбитым в песок. Движок еще работал, но было приготовлено все, чтобы в последний момент наглухо затянуть его брезентом. И Сурков все еще сидел у теодолита, взглядывал на быстро темневшее небо, снова приникал к окуляру. Все делалось без него, все знали: командир будет у теодолита до последней возможности, пока стена пыли совсем не закроет даль.

А в небе творилось что-то грозное. Оно словно бы застилалось, задвига́лось сферической темно-красной заслонкой. Закрыв солнце, эта гигантская заслонка посветлела, превратившись вдруг в матово-стеклянную. И остров, и море словно бы попали в огромную бутылку, запол-

ненную клубами красного дыма.

Последним в палатку протиснулся старший лейтенант Сурков. Он втащил теодолит, уложенный в ящик, и мичман Смирнов принялся застегивать вход, затягивать шнуровку. В палатке становилось все темнее. И вдруг с очередным порывом ветра зашуршало сверху, словно и в самом деле по брезенту бил дождь. Шорох все усиливался и скоро обрушился таким гулом, что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— А воду проверили? — спросил мичман Смирнов.

Никто этого не знал, а до других палаток было не докричаться. Зарытая в песок бочка с водой обычно закрывалась большой металлической пробкой, но во время приготовления обеда кок, часто бегавший за водой, случалось, оставлял бочку открытой. Мичман виновато посмотрел на командира: вот ведь все проверил, каждую растяжку подергал, памятуя, как в первые дни ветром срывало палатки, а самое главное — бочку с водой — не посмотрел. Он встал и принялся заматывать лицо полотенцем. Затем расшнуровал вход, отчего у всех сразу же заскрипело на зубах, и, прикрыв глаза руками, шагнул в серую

пелену летящего песка.

Вернулся не скоро. Струйки песка стекали с него, как вода.

— Ну что? — не выдержал Сурков.

— Ничего, — хмуро ответил мичман.

— Что значит — ничего?

— Ничего не осталось.

— Говорите яснее.

— Нету воды. Крышка не завернута была, скинуло ее ветром, а дыра-то дай бог, если уж кок черпаком воду брал, то песку-то туда насочится…

— Кто отвечал за бочку?

— Я. Кому же еще?

— Кто непосредственно?

— Какое это теперь имеет значение?

— На флоте все имеет значение.

— Да знаю, — поморщился мичман. — Только сейчас не это главное. Воду надо экономить.

— Распорядитесь…

— Распорядился. На камбузе термос чаю есть да еще ведро воды. Сказал коку, чтобы без приказа командира никому ни грамма… И как оно быстро засыпало! — неожиданно воскликнул мичман. — Там и бочки уже не видать, бархан на этом месте, а посередине дыра, и в эту дыру песок, как вода…

— В случае чего из радиатора можно пить, —

подсказал Гиатулин.

— Нельзя брать из радиатора. — Сурков был растерян и потому, наверное, раздражен.

Он, как и каждый в палатке, хорошо понимал, какая грозная опасность вдруг надвинулась на гидрографов. Горячий сухой ветер усилит жажду. И если песчаная буря продлится долго, то ему, командиру, первая боль и первый ответ за то, что может случиться. И с него первый спрос за боеготовность поста. Выпить воду из радиатора — значит вывести из строя движок. Воду потом доставят первым же вертолетом. Но пока ее доставят… А движок должен работать сразу, как уляжется буря и прояснится даль. Тогда начнется траление. А без надежной связи с координационным постом оно не может начаться, и, значит, из-за них одних встанет все дело.

— Ладно, Сурков, не переживай, — сказал Гиатулин. — Передай капитан-лейтенанту о нашем положении. Радист — вот он, питание от батарей пока есть.

Палатку рвануло так, что она затрещала, и все уставились на тугой брезент, ожидая, что он вот-вот начнет расползаться по ниточкам. С новым порывом ветра сильнее зашуршал о палатку песок, еще острее запахло пылью. Под лампочкой,

горевшей на стойке, словно бы клубился дым.

Туликов вдруг спохватился, что все происходящее само просится в строку — и выдумывать ничего не надо, — он потянулся за блокнотом и вдруг согнулся от нового приступа боли внизу живота. Его уложили на койку и уставились на него со всех сторон растерянно-горестными глазами.

— Передавай, — сказал Гиатулин радисту. — Больной у нас, серьезно больной. Срочно в лазарет надо…

* * *

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? — Голос, заглушаемый треском вертолетного двигателя, казался тонким и нервным.

Начальник походного политотдела капитан второго ранга Строев внимательно посмотрел на пилота лейтенанта Комморова. Молодой, красивый, загорелый, а в глазах беспокойство, мука.

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите спросить?

— Вы считаете, сейчас время для разговоров? — прокричал Строев и посмотрел на юг, где кроваво пульсировало небо над горизонтом.

— Так ведь то одно, то другое, — вздохнул Комморов. — Вечно не время…

— Если пыльная буря надолго, наговоримся на корабле.

— А нам приказано вернуться. Доставить вас на БПК и вернуться на крейсер.

Лейтенант бросил быстрый взгляд на Строева.

— Вы бы раньше… — Строев пошарил в кармане, показал пустую руку. — Я ведь догадываюсь, о чем вы хотите говорить.

Комморов вдруг зарделся, как молодая девушка, отвернулся.

Он так больше ни разу и не оглянулся на капитана второго ранга, сидевшего в вертолете у него за спиной, стеснялся. Строеву была видна только его щека, все еще красная. А может, это падал отсвет неба, все больше краснеющего от приближающейся пыльной бури.

Строев хорошо помнил тот день, точнее, тот поздний вечер в походе, когда лейтенант пытался выбросить в море ключ от своей квартиры. Да видно, рука его дрогнула, и ключ упал на палубу. Строев его подобрал. Помнил, как лейтенант совсем по-мальчишески зарделся и начал наивно оправдывать свой поступок тем, что будто бы убедился, что жена не любит его, поскольку не поцеловала при прощании на причале. Все помнил Строев и берёг этот ключ пуще своего.

Сложны психологические взаимосвязи между политработниками и их подопечными — офицерами, старшинами, матросами. Все, казалось бы, все без исключения учитывается, используется в политработе. Но порой случается неожиданное, вроде этой истории с ключом, и тогда главное — деликатность.

У Строева в тот вечер хватило такта не обидеть Комморова неосторожной репликой, на какие горазды скорые на розыгрыш моряки. Сколько раз ему казалось, что лейтенант готов попросить ключ обратно, но то ли не решался, то ли боялся услышать, что ключа уже нет, выброшен или потерян. А Строев сам не говорил об этом, хотя много раз хотел сказать. Но молчал, сдерживая себя укоренившимся в нем убеждением: политработник должен быть добрым, но не добреньким, а значит, должен уметь сдерживать свои желания, если нужно для дела.

В Хургаде их тогда ждала первая почта. Строев получил три письма из дому, а лейтенант Комморов — двадцать три. Молодая жена писала ему чуть ли не каждый день. И видимо, столько женской печали и любви было в тех письмах, что на Комморова смешно было смотреть: то хмурился, то глупо улыбался.

Вертолет шел низко, и от этого полет казался особенно стремительным — белые гребни волн, пенные пятна над рифами мелькали внизу, убегая назад с необыкновенной быстротой.

Строев сунул руку в карман и вдруг нащупал ключ. Он был там, куда он его и положил и где в последний момент перед вылетом почему-то не нашел. Хотел тут же отдать ключ Комморову, но передумал, решив, что момент для этого не подходящий: слишком много внимания требует полет и отвлекать пилота, да еще таким «эмоциональным средством», не следует.

Большой противолодочный корабль «Смелый» появился в иллюминаторе внезапно. Он был близко, казался сверху огромным и выглядел колючим от многочисленных ажурных мачт, сферических антенн, ракетных комплексов. Накренившись, вертолет обошел по небольшой дуге нагромождение стальных конструкций и повис над кормовой площадкой, прицеливаясь опуститься точно в середину белых окружностей, похожих на мишень, вокруг которых уже бегали матросы.

Сколько раз Строев видел БПК с воздуха и каждый раз ловил себя на том, что любуется. И почему это корабли всегда красивы? Так было во

времена парусников, так и теперь, когда корабли изменились. Может, они красивы только для моряков? Как, например, для летчика — самолет, для токаря — станок. Постарались дизайнеры? Но какие дизайнеры были при строительстве парусников? И разве только морякам радостно смотреть на корабли? Сколько он, Строев, слышал восторгов по поводу тех же БПК от людей, понятия не имеющих, зачем на палубе те или иные конструкции. В этой красоте, сотворенной руками человека, прослеживается нечто большее, чем просто преклонение перед необычным. Вон крейсер — совсем вроде бы урод: асимметричен, все надстройки сдвинуты вперед, а сзади — пустота, голая низкая палуба. Но ведь и крейсер кажется красивым, особенно когда идет через штормовое море. Идет, почти не качаясь, не кланяясь океану, — могучий, прекрасный. «Ага! — мысленно воскликнул Строев. — Кажется прекрасным потому, что выглядит могучим!..»

Но тут вертолет «припалубился». Строев соскочил на палубу, взглянул на солнце, тускло просвечивающее словно через красное матовое стекло, отступил за надстройку и махнул рукой пилоту. Вертолет сразу взмыл вверх.

БПК «Смелый» стоял в районе траления. По

всему морю, вразброс, каждый в своем квадрате ползали тральщики. Некоторые уже становились на якоря. Порывы ветра все крепчали, и волны вздымались все выше, угрожающе фиолетовые, пенные. А за герметическими дверями, плотно зажатыми тугими задрайками, были тишина и комфорт. Перешагнув порог, Строев попал словно бы в другой мир, мир строгого порядка, чистоты, прохлады, создаваемой трудягами кондиционерами.

Строев любил этот корабль. На каких только ни плавал, а к этому особенно привязался. Если бы его спросили, чем БПК так уж отличается от других кораблей, он бы, пожалуй, не смог ответить. На каждом — чистота, порядок и уютная теплынь в кубриках, каютах, на боевых постах. Есть, конечно, малые корабли, вроде тральщиков, где кондиционеров не предусмотрено. Но ведь и для дальних походов они не предназначены. Этот — в Суэцкий залив — случай исключительный. Не о малых речь. Но и большие корабли бывают разные. Так вот, среди них БПК больше всего пришлись Строеву по сердцу.

Часто работники политотдела, прибыв на корабль, начинают с того, что подолгу беседуют с командиром, старпомом, замполитом. Строев,

особенно на этом, знакомом и любимом БПК, начинал с обхода корабля. Шел один, без сопровождающих. Его успокаивали, вдохновляли эти обходы. После них он чувствовал себя так, словно прогулялся по Историческому или Приморскому бульварам у себя в Севастополе. Здесь, как и там, на каждом шагу встречались знакомые, с которыми, независимо от того, офицер это или матрос, Строев здоровался за руку и, если была возможность, останавливался побеседовать.

И теперь, сбегая по крутому трапу, он прямотаки налетел на старшего матроса Дольника — знаменитость корабля, за которым ходила слава лучшего сигнальщика. Прославился он тем, что однажды на учениях обнаружил перископ подводной лодки за пятьдесят кабельтовых. Прошло с того случая больше года, и имя Дольника, отмеченное в приказе, многими забылось, но стоило только сказать, что это тот самый, который обнаружил перископ, как все восхищенно вскидывали глаза, вспоминали.

— Как дела, герой? — спросил Строев, пожимая крепкую руку матроса.

— Лучше не бывает, товарищ капитан второго ранга.

— Неужто ни одной тучки на солнечном небо-

склоне?

— Только гальюн, — вздохнул Дольник.

Строев рассмеялся. Это была давняя заноза самолюбивого матроса, из-за которой он не переставал переживать. Когда Дольник пришел на корабль из учебного отряда, возгордился: ведь место сигнальщика — на мостике, рядом с командиром. Но обязанностей у каждого члена экипажа множество, и в числе прочих была у Дольника обязанность по приборкам — наводить порядок в гальюне. Казалось бы, что из того? Никого не обходят обязанности по приборкам. Но Дольник переживал так откровенно, что это тотчас заметили дотошные матросы и уж позубоскалили над ним всласть. Известно, что лучший способ избавиться от насмешек — не обращать на них внимания. Но Дольник этого не учел, и даже теперь, на третьем году службы, нет-нет да кто-нибудь и подначит, напомнит ему «гальюнную эпопею».

В кают-компании сидели свободные от вахт мичманы и младшие офицеры, о чем-то горячо спорили. Страстность споров у моряков, он знал, находится отнюдь не в прямой зависимости от серьезности темы. Ему как-то пришлось стать свидетелем ожесточенной дискуссии на «чрез-

вычайно актуальную» тему: зачем кошке усы? На этот раз спор шел об акулах. Одни говорили, что первые хищницы океана подлежат полному истреблению, поскольку от них много вреда и никакой пользы. Другие столь же категорически доказывали, что акул не только не следует истреблять, а, наоборот, необходимо охранять от полного уничтожения, как лучших санитаров моря, как необходимое звено экологической цепи.

Как всегда бывает в подобных случаях, когда правы и не правы обе стороны, спорщики были непримиримы и, сами устав от бесплодности дискуссии, хватались за любой аргумент, лишь бы «перегнуть» оппонентов. Поэтому появление Строева было встречено с энтузиазмом, все тотчас согласились с тем, что именно ему и быть третейским судьей.

— Акул, конечно, следовало бы уничтожать, — охотно отозвался Строев, вызвав кое у кого торжествующие улыбки. — Только зачем? Что у нас, других дел нет?

— Они же первые враги всего живого в океане! — взвился чей-то возмущенный голос.

— Первые враги океана — супертанкеры под так называемыми «удобными флагами», — сказал Строев, решив, что настала пора перевести

разговор на серьезную тему.

— «Удобные флаги», как вы знаете, — обман. Чтобы экономить на ремонте судов, на техническом оснащении, на спасательных средствах, на всем другом, капиталисты — владельцы судов «прописывают» свои суда через подставных лиц в другие страны. По данным Регистра Ллойда, таких судов сейчас около семи тысяч. Пятнадцать процентов мирового торгового флота плавает под «удобными флагами», и по их вине происходит две трети всех катастроф. А что такое катастрофа супертанкера, вы себе представляете! Океан на сотни миль покрывается пленкой нефти, все живое в воде задыхается, прекращается испарение и вообще обмен между океаном и атмосферой. А ведь океан производит едва ли не три четверти кислорода, попадающего в атмосферу. Некоторые ученые уверяют, что если одновременно расколются десять супертанкеров и вся нефть выльется в океан, то умрет весь мир. Вот так. На западе уже кричат: «Моряки могут погубить человечество!» Не моряки, нет, не моряки, а проходимцы в смокингах…

Высокий и нескладный Строев прошел от двери к иллюминаторам, за которыми уже совсем пожелтела даль, и замолчал.

— А как насчет акул? — разорвал почтительную тишину чей-то голос. — Последнее время о них много пишут.

— Не поняли ничего… — с огорчением произнес Строев. — Вы не задумывались над тем, почему в мире так много сенсаций? То морские звезды начинают пожирать все живое в океане, то эскадрильями появляются летающие тарелки… Не задумывались? Да потому, что сенсации отвлекают внимание от действительных опасностей, угрожающих человечеству. Существует целая индустрия сенсаций…

— Но они интересуют людей…

— Именно, что интересуют. Сенсации — это чаще всего спекуляции на естественном природном любопытстве человека. Потому и работает «индустрия сенсаций», что с их помощью легко морочить головы людям, отвлекать их от действительно насущного, важного…

— Но ведь не все так понимают…

Строев наконец-то рассмотрел своего оппонента. Невысокий худощавый мичман с быстрыми нетерпеливыми глазами. Красивый, девчонки от него, наверное, без ума.

— Вы неправильно выразились, — мягко поправил мичмана Строев. — Вы хотели сказать: не

все так считают. Верно?

— Пожалуй, да…

Когда Строев вышел на палубу, он не узнал моря. Волны несли кроваво-пенную бахрому и сами отсвечивали багрово. Небо, затянутое прозрачной пеленой, светилось, словно было стеклянным. По всему морю, вразброс стояли на якорях тральщики. Даль становилась темно-серой, непрозрачной, вспухала огромными клубами, словно там, вдали, горело море. От всей этой картины заползала в душу какая-то смутная тревога, стихийная, неосознанная, неподконтрольная, похожая на ту, что однажды пришлось испытать Строеву во время землетрясения в Термезе. Было это зимой. Он тогда выбежал из угрожающе раскачивавшейся гостиницы и стоял в толпе таких же растерянных людей, ожидая новых толчков, не зная куда деться. Тогда, на морозном ветру, к нему пришло какое-то неожиданное понимание глубокой человеческой потребности в крыше над головой, в доме, в пещере, если угодно, где можно укрыться, расслабиться, отойти встревоженной душой. Человеку совершенно необходимо сознание, что в любую минуту он может прислониться к чему-то, к кому-то своему, надежному, способному защитить, помочь. Человеку нужны друзья, дом,

родина, без них он обречен. И тогда, в далеком Термезе, он вдруг остро пожалел глупцов, покидающих родину в погоне за призрачным счастьем. Вот ведь как бывает. Казалось бы, что общего между землетрясением и чувством родины? А оказывается, есть. И там и тут, хоть и по разным причинам, земля уходит из-под ног.

— Опять придется промывать фильтры, — услышал Строев. Оглянулся, увидел корабельного инженер-механика капитана третьего ранга Герасимова. — Да что фильтры? Весь корабль мыть придется.

И, словно в подтверждение его слов, очередной порыв горячего ветра ударил по надстройке с шумом пескоструйного аппарата. Строев и Герасимов укрылись за уступом надстройки и с тревогой смотрели, как быстро темнело море, меняя багрово-красный оттенок волн на серо-стальной, как быстро бегали по палубе песчаные змейки, извивались, прятались в мелкие щели. По кораблю волнами ходил тяжелый шум, словно с порывами ветра хлестал дождь.

Но едва Строев захлопнул за собой дверь и повернул тяжелые задрайки, как снова наступила тишина. И снова подивился он уюту, даже комфорту на корабле. Легкой тучкой прошла бес-

покоящая мысль: а что как в боевой обстановке откажут кондиционеры и людям придется работать в жару, в тучах летящего песка? Выдержат? И сам же отбросил это беспокойство. Выдержат! Выдерживают же в машинном отделении, где жара всегда выше, чем на палубе, и людям к тому же приходится работать в комбинезонах…

Вечером, возбужденный событиями дня, он долго не мог уснуть, лежал с открытыми глазами, смотрел в подволок, неровный, бугристый от множества проводов, покрытых толстым слоем белил, и долго вспоминал дом, родных и друзей, оставшихся в Севастополе и, несомненно, слушающих каждую радиопередачу в надежде узнать хоть какие-нибудь подробности о советских кораблях в Суэцком заливе, вообще о положении в этом беспокойном районе земли…

Его разбудило монотонное постукивание шпиля, выбирающего якорь-цепь. Много шумов и стуков на корабле, но любой моряк легко разбирается в них и часто, не выходя даже из каюты, знает, кто и что в этот момент делает. Тихий, мирный перестук шпиля заставил Строева не просто встать — вскочить на ноги: для того чтобы корабль снимался с якоря в песчаную бурю, должно случиться нечто чрезвычайное. Он

вызвал рассыльного — тихого, всегда скромно улыбающегося костромича матроса Терехина, и еще ни о чем не успел спросить, как рассыльный доложил:

— Снимаемся с якоря, товарищ капитан второго ранга.

— Это я и сам слышу. Что случилось?

Терехин совсем не по-уставному пожал плечами и ничего не ответил.

— Что пыльная буря?

— А нету бури.

— Как так нету?

— Нету. Видно, песок кончился, — широко заулыбался рассыльный.

Строев выскочил на палубу и неожиданно для себя увидел синее небо и большой красный шар утреннего солнца. Стояла тишь, обещавшая обычный изнурительно знойный день. Лишь море, растревоженное за ночь, ходило высокими валами зыби.

— Что случилось? — спросил он, шагнув в рубку.

— Ничего особенного, — спокойно ответил командир корабля капитан второго ранга Володин. — Становимся на якорь.

— Как становимся? Мы же не снимались…

— Начали сниматься: на острове корреспондент заболел. Командир отряда приказал срочно его снять.

— А теперь что?

— Решил вертолет послать… Пыльная буря угомонилась.

— Повезло, считай, корреспонденту…

* * *

Проснулся Туликов от тишины. То есть полной тишины не было: близко дышало растревоженное море и ветер все трепал палатку, только теперь как будто с другой стороны. Но не было главного, что создавало шум, — хлеставшего по брезенту песчаного ливня. Туликов обрадовался этому, как спасению. Пыльная буря могла бушевать и сутки, и двое, и ему, если у него и в самом деле был аппендицит, лежать бы тут на острове до перитонита, после которого и хирург не понадобился бы.

Он поймал себя на том, что думает о себе с иронией, и спохватился, принялся щупать живот: болело, когда трогал, но сносно, не как вчера. В палатке все спали, раскинувшись в духоте на своих койках. Лампочка все горела, но, как показалось Туликову, более тускло: должно быть, садился

аккумулятор. Он тут же догадался, почему свет лампочки потускнел: потому что посветлел брезент палатки. Это могло означать, что уже близок рассвет.

Стараясь не делать резких движений, он встал. Расшнуровав вход, вышел и сразу же отшатнулся: прямо на него надвигалась огромная фигура с поднятыми руками. Фигура присела, и Туликов увидел, что это кок.

— Ты чего? — спросил изумленно.

— Гимнастикой занимаюсь, — сказал кок. — Спать охота, сил нет.

— Так иди спи.

— Э-э, если бы это мне мичман сказал.

— Я же старше его по званию. Разрешаю.

— Оно, конечно, так… Однако все-таки я ведь часовой, а вы не мичман.

Только тут Туликов увидел ремень от автомата, перехлестнувший грудь матроса.

— Тогда другое дело.

Они говорили шепотом, чтобы не разбудить спящих в палатке.

— Мичман говорит: поскольку завтрака все равно не будет — воды нет, — становись на пост. Все равно, мол, привык раньше всех вставать. А от кого тут охранять, от крабов?

— От лягушек, — сказал Туликов.

Матрос уставился на него удивленно и вдруг рассмеялся:

— А, понимаю. Это вы про… подводных диверсантов?

— Про этих самых.

— Откуда им взяться?

— Оттуда. — Туликов кивнул в темень, где над горизонтом уже чуть светлело небо и где днем, в ясную погоду, хорошо просматривался берег.

— А чего им тут? — спросил матрос. Однако потянулся за автоматом, перекинул его на грудь.

— Подумай.

— А вы далеко? — вдруг обеспокоился он.

— Пройдусь попробую. Душно что-то.

Осторожно ступая, он шагнул в серую, чуть забеленную близким рассветом темноту, и сразу уютный мирок палаток отодвинулся в какую-то дальнюю даль. Тревожное чувство одиночества охватило его. Но вскоре беспокойство прошло, осталось ноющее ощущение затерянности в этой бесконечной пустыне, сотканной из тьмы и звезд. Ластился ветер, забирался под мышки, студил тело, разомлевшее в палаточной духоте. Монотонно и мощно шумело взбудораженное море.

Туликов присел на что-то, подвернувшееся под

ноги, стал смотреть на звезды. Они устилали тьму густой искрящейся россыпью. Одни едва заметные, сливающиеся в сплошные светлые поля, другие яркие, сияющие особняком «навигационные звезды», беспокойно ворочающиеся с боку на бок в своем вечном одиночестве — Альфа Волопаса, Альфа Лиры, Альфа Скорпиона, Альфа Возничего… — сплошные Альфы. Полярная звезда слабо помаргивала почти у самого горизонта. Над ней висел перевернутый ковш Большой Медведицы с резко вздернутым вверх хвостом-ручкой. Туликов вспомнил арабские названия этих звезд — Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш. Вспомнил, что средняя звезда ручки — белый Мицар, что значит «конь», — двойная. Над ней в молодости он хорошо различал золотистого Алькора — «всадника». Древние арабские окулисты по этой двойной звезде проверяли зрение своих «пациентов», предлагая им разглядеть Алькора — «всадника» отдельно от Мицара — «коня». Но теперь, сколько он ни всматривался, не мог различить раздвоения светящейся точки, сказывались многочасовые сидения над книгами и рукописями.

— Товарищ… Товарищ капитан третьего ранга!

Голос часового был тревожный, и Туликов по-

шел к палаткам. Рассвет уже был близок, слабая заря подсвечивала горизонт.

Часовой показал рукой в едва посветлевшую даль.

— Идет кто-то. Чего делать, товарищ капитан третьего ранга?

— Вас кто на пост поставил?

— Товарищ мичман.

— Ему и доложите. Да побыстрей.

В серой мгле шевелились, двигались два темных пятна. Это могли быть только люди, поскольку никаких крупных животных на острове не водилось. И это могли быть только чужие люди: свои прибыли бы на баркасе или на вертолете. «А вдруг какая беда с нашими», — мелькнула мысль. Туликов отверг ее: «Если бы что случилось, здесь бы знали: рация работала исправно».

Мичман Смирнов выскочил из палатки с автоматом в руке.

— В ружье! — тихо приказал он, едва глянув в серую даль. — Поднимай всех, только без шума. — И сам нырнул в палатку будить командира.

И тут грохнул взрыв, сухой, короткий, словно где-то громко хлопнула дверь. Снова упала тишина, и в этой тишине беззвучно, как в немом кино, выскакивали из палаток матросы и старшины.

Затем вдали затрещал автомат. Стрельба резко оборвалась, и послышались тихие, приглушенные расстоянием крики, едва пробивавшиеся сквозь шум прибоя. Иногда удавалось понять, что кричат не просто так, а вроде как зовут.

— Йа руфака![9] — наконец разобрал Туликов. — К нам обращаются, «йа руфака» кричат.

— А вдруг провокация?

Как всегда в этих местах, неожиданно выскочило солнце, и все увидели резко выделявшуюся на песчаной проплешине фигуру человека, согнувшегося над чем-то темным, бесформенным.

— Йа руфа-ака-а! — снова донеслось издали.

— Что-то случилось, — сказал Сурков, смотревший в бинокль. — Арабские военнослужащие. Во всяком случае, в арабской форме. — И крикнул, вскакивая на ноги: — Мичман Смирнов, старший матрос Грицко — за мной!

Он побежал по тропе, остановился, оглянулся.

— Держать дистанцию! Оружие наготове!

Хорошо распорядился старший лейтенант Сурков — это Туликов отметил про себя, чтобы запомнить: в случае чего, свои прикроют огнем с близкого расстояния.

---

[9] Примечания: 9
Йа руфака! — Товарищи!

Однако прикрывать не понадобилось. На песке, скорчившись, лежал арабский солдат. Возле него стоял на коленях ефрейтор с одним угольником на рукаве и плакал, размазывая кулаком слезы. Ефрейтор поднялся, и Сурков увидел, что солдат ранен: на куртке и брюках расплывалось темное пятно крови.

— Что случилось? — крикнул Сурков, забыв, что арабы не поймут его.

Но ефрейтор догадался, указал автоматом на песчаную отмель. Из быстрой пантомимы ефрейтора, из вихря слов — арабских, английских, русских — Сурков понял, что произошло. Солдат, идущий впереди, как это они обычно делали по утрам в порядке профилактики против подводных диверсантов, бросил в воду гранату. Но граната ударилась о риф, отскочила и взорвалась в воздухе, ранив осколком солдата. Тогда ефрейтор стал стрелять, рассчитывая привлечь внимание русских моряков.

Приказав отнести раненого, Сурков задержался, осмотрел отмель и прибрежные камни. Ничего подозрительного не было.

Когда он вернулся к палаткам, арабский ефрейтор уже сидел в кругу матросов, наперебой угощавших его сигаретами, и улыбался широко

и бессмысленно, как улыбаются люди, ничего не понимающие из того, что им говорят.

В палатке старшина первой статьи Светин бинтовал раненого солдата.

— Бедро порвало, — сказал он, увидев командира. — Но кость, кажется, цела.

Солдат, бледный, как полотно, длинный, растянувшийся на всю раскладушку, нервно мял в руках свою кепи и испуганно поглядывал влево, где на соседней раскладушке лежал Туликов. Для солдата было непостижимо лежать в одной палатке с офицером. Это его пугало.

— Что, опять прихватило? — спросил Сурков, наклоняясь к Туликову.

— Извини, брат, добавил я вам хлопот.

— Что вы! — машинально сказал Сурков, оборачиваясь и ища глазами лейтенанта Гиатулина.

Гиатулин понял, подошел, наклонился пониже.

— Кто они? Как на остров попали? Надо выяснить, — сказал Сурков тихо.

— Уже выяснили, — громко облегченно отозвался Гиатулин. — Ефрейтор немного говорит по-английски, рассказал. Пограничники они. В отлив перешли сюда по мелководью с другого острова. К нам шли, за водой. Воды у них нет. Да

теперь уж не до воды. В госпиталь надо солдата.

— В госпиталь надо, — эхом повторил Сурков и поглядел на Туликова. — Как вы?

— Терплю вроде.

— Потерпите. Вертолет скоро будет. — И повернулся к Гиатулину: — Сообщи о раненом арабском пограничнике. Может, сразу и заберут?..

Вертолет прибыл через час, прошелся над палатками, заглушая монотонный шум волн, и завис неподалеку, там, где у руин старого маяка была площадка поровнее. Туликов выбрался из палатки и стоял, согнувшись от боли, дожидался, когда вертолет приземлится. Но он все висел, и летчик, приоткрыв дверцу, махал рукой, кричал что-то. Потом из широкого подбрюшья вертолета вывалился человек, отстегнулся от тросика и побежал к палаткам. Туликов узнал в нем врача с крейсера Плотникова.

— Какого черта! — закричал Плотников еще издали. — Чего не несете раненого?

— Ждем, когда вы сядете, — сказал Сурков.

— Не будет посадки. Запрещена посадка.

— Как это запрещена?

— А вот так! Арабы неба не дали. Запретили на сегодня полеты. Только нас и выпустили без права посадки.

— Но ведь их раненый…

— Где он? — перебил его Плотников и побежал в указанную палатку, неся перед собой свой небольшой чемоданчик. — А, это вы? — остановился он, увидев Туликова. — Как?

— Побаливает.

— Не побаливает, а болит. Верно?

— Болит, — признался Туликов.

— То-то. Погодите, я счас.

Он нырнул в палатку и скоро вышел, на ходу застегивая чемоданчик.

— Несите к вертолету! — крикнул, не оборачиваясь.

Матросы вынесли раненого прямо на раскладушке, взявшись спереди, сзади и с боков, быстро прошли к вертолету, согнувшись, нырнули под его вихри. Под придирчивым взглядом арабского ефрейтора Плотников усадил раненого в ременчатое кресло, и тросик быстро втянул его в темный люк.

— Теперь вы! — крикнул Плотников на ухо Туликову, когда тросик с креслом выпал снова. — Давайте, давайте, нельзя вам тут оставаться. Аппендицит только для врачей легкое дело, для врачей, а не для больных.

Прошло еще некоторое время, прежде чем все

устроились в тесном пространстве за спинами двух пилотов. Вертолет, надсадно гудя двигателем, с трудом набрал высоту и, завалившись на бок, ушел от острова. Туликов видел в маленький квадратный иллюминатор, как гидрографы махали им руками, но кто из них кто, сверху было уже не разобрать.

Вертолет мелко дрожал, в животе у Туликова тоже дрожала обжигающая боль. Мутная пелена затягивала горизонт, и море было не голубым, каким он привык видеть его сверху, а темным и бурным, неприветливым.

И тут он вспомнил о воде, толкнул пилота и, когда тот наклонился, крикнул ему в оттянутый наушник.

— Воду почему им не оставили?

— Какую воду? — в свою очередь крикнул пилот.

— У них воды нет. Должны были привезти.

— Про воду не было приказа. Нас по тревоге подняли.

Туликов кивнул и отвалился, но тут же снова толкнул пилота.

— Почему запретили полеты?

Пилот пожал плечами и поднял глаза к небу, дескать, один аллах об этом знает, потом кивнул

на маленький календарик с зачеркнутыми цифрами, приклеенный к стойке.

— Праздник сегодня, пятница. По пятницам они не воюют.

Внизу крохотными островками стояли на якорях тральщики, ждали, когда хоть немного поуспокоится взбаламученное море, чтобы вновь приступить к своему монотонному и опасному делу. Море было пестрым от пенных бурунов над рифами, от бесчисленных солнечных бликов. Белые и темные пятна мелькали перед глазами, и от этого мелькания Туликова стало поташнивать. Руки и лицо похолодели, покрылись неприятным потом. Он вытянулся, сколько позволяла теснота, откинул голову и закрыл глаза, стараясь справиться с неожиданной слабостью. Когда отхлынул от лица холод, Туликов поглядел вниз и увидел, что вертолет летит уже над окраиной Хургады. И он сразу забыл о своей слабости, приник к иллюминатору, стараясь все разглядеть, запомнить. Дома здесь стояли тесно, белые, с небольшими двориками, окруженными со всех сторон высокими глухими стенами-дувалами. Кое-где во дворах росли какие-то небольшие серые кусты, изредка — пальмы. В стороне высились белые минареты, за ними виднелся порт,

где тесно стояло несколько кораблей отряда траления и были причалы, густо заваленные всякой всячиной.

Дома как-то сразу отошли в сторону, и потянулась пустыня, исполосованная асфальтовыми и грунтовыми дорогами, изрытая. Туликов разглядел дворики для боевой техники, окопы, позиции зенитных ракетных установок. Враг стоял близко, по ту сторону залива, и серая земля эта была, по существу, как передовая на фронте.

Затем внизу показался аэродром с чистыми взлетными полосами, с кое-как замаскированными закрытыми капонирами для самолетов. Вертолет медленно приблизился к небольшому зданию, где, судя по всему, должно было располагаться командование авиабазой или, по крайней мере, дежурные офицеры, и завис в десяти метрах от широкой асфальтовой площадки. Прошло пять минут, еще пять, а вертолет все покачивался на одном месте; ни санитарной машины, ни людей. А пилот все бубнил что-то, прижимая к горлу ларингофон, сердито взмахивал рукой и снова говорил, доказывал. Наконец вертолет пошел вверх и в сторону, и пилот обернулся к доктору, крикнул, склонившись к нему.

— Посадку не разрешают? — Он кивнул на

раненого.

— Как не разрешают?!

— Сегодня пятница, праздник у них, «фантази». Никого нет.

— А раненый? Куда его?

— Вот и я спрашиваю — куда?

— А что они говорят?

— Спрашивают, кто раненый. Солдат, говорю. Куда его девать? Отвечают: куда хотите!..

Пилот закашлялся от долгого крика, сел на свое место.

Раненый солдат, похоже, догадывался о том, что происходит, жалобно взглядывал на пилота, на врача и закатывал желтые глаза, в которых стоял страх. Потом он ткнул пальцем в иллюминатор, указывая куда-то на север, произнес еле слышно:

— Шималь! Шималь!..[10]

В его голосе слышались испуг, мольба, надежда.

Плотников толкнул пилота в плечо, тоже показал влево, и вертолет, круто накренившись, пошел вдоль береговой кромки.

«Вот тебе и экзотика, — подумал Туликов. — Заграница, будь она неладна. Для нас — человек

---

[10] Примечания: 10

Шималь! — Налево! (*араб.*)

есть человек, независимо от того, в каком он чине, а тут дичь какая-то». Он попытался обдумать, как получше использовать в своих очерках этот факт, так контрастирующий с нашей всегдашней заботой о человеке, но тут новый удар боли заставил его собраться, сосредоточиться на себе.

Летели долго. Пилот встревоженно оглядывался на Плотникова, Плотников посматривал на солдата, но тот все махал рукой:

— Дугри! Дугри![11]

— Горючего не хватит, — наконец не выдержал пилот.

— А что делать? Не в пустыне же его выбрасывать.

Плотников попытался жестами объяснить солдату, что дальше лететь нельзя. И опять, к его удивлению, солдат понял. Посмотрел вниз и выставил один палец:

— Дийа![12]

И показал вдаль, где темнело что-то на берегу — дом не дом, холмик не холмик. Когда подлетели ближе, увидели двух солдат, вынырнувших из этого дома-холмика. Похоже, что был тут пост

---

[11] Примечания: 11
Дугри! — Прямо! (*араб.*)

[12] Примечания: 12
Дийа — минута (*араб.*).

того же пограничного подразделения, к которому относился раненый. Снова завис вертолет, и Плотников первым спустился на тросе, тревожно поглядывая на солдат, стоявших поодаль с оружием на изготовку. Как бы не обстреляли, не разобравшись! Затем на тросе спустили раненого. Плотников отвязал его, уложил на песок, проверил повязку.

— Исмэк э? — спросил солдат.

— Что?

— Исмэк э?

Вопрос звучал знакомо. И вдруг Плотников вспомнил: с этим вопросом на переходе без конца обращались к нему офицеры, упражнявшиеся в арабском языке. И означает он: «Как вас зовут?» Можно было сразу догадаться.

— Плотников, Плотников я! — крикнул он, уже привязываясь к тросу. — А тебя?

— Ана исми Ахмат!..[13]

Он еще что-то кричал, кажется, слово «Хургада», но Плотников уже не разбирал: втягивая его, вертолет быстро уходил вверх и в сторону. Еще до того как закрылся люк, Плотников увидел, что солдаты подбежали к лежавшему на песке

---

[13] Примечания: 13

Ана исми Ахмат!.. — Меня зовут Ахмат!.. (*араб.*)

раненому, и по их поведению понял: он для них не чужой.

Теперь они летели молча. Пилоты сообщили на корабль о положении с горючим и узнали, что им навстречу вышел БПК, чтобы в случае чего «подставить» свою вертолетную палубу.

Вертолет резко пошел вниз, уши заложило, и сразу захлестнул новый приступ боли. Побелевшими глазами Туликов глянул на врача. Тот был спокоен.

— Решили снизиться! — прокричал он. — Чтобы потом не терять время.

Туликов посмотрел в иллюминатор. Близко хлестали волны растревоженного ночной бурей моря. А корабля не было, он еще находился где-то за горизонтом, шел, прощупывая дорогу среди рифов, опасаясь мин. И тогда Туликов понял, почему они снизились: чтобы не плюхнуться с большой высоты, в случае если вдруг остановятся винты.

Он снова закрыл глаза, постарался не думать об опасности. И послышалось ему, что где-то далеко-далеко, с трудом пробиваясь сквозь гул двигателя, звучит песня. Знакомая мелодия сама рождала слова:

…то плачут березы,

то плачут березы…

Мелодия пропала и вдруг мощно ворвалась в салон, заглушила все, захлестнула сердце печалью и радостью:

…Священную память храня обо всем,
Мы помним поля, перелески родные.
Мы трудную службу сегодня несем
Вдали от России, вдали от России…

Пилот оглянулся, подмигнул Туликову и поубавил звук. Двигатель ревел, задыхался, отсчитывая, может быть, свои последние обороты…

* * *

После завтрака Строев еще поприсутствовал на учении по живучести, последил за действиями матросов, без робости бросавшихся на струю воды, закрывавших ее спинами, пока другие матросы готовили пластырь и металлическую штангу-распорку. Когда командир аварийной партии весело доложил, что пробоина заделана и отсек осушен, Строев направился к себе в каюту и сел было готовиться к очередной политбеседе. Но только он раскрыл тетрадь, как снова услышал стук якорного шпиля. Взбежал на мостик и, еще

ни о чем не спрашивая, по озабоченному лицу Володина понял: произошло нечто серьезное.

— Срочно идем на норд, — сказал командир.

— Почему на норд? — поразился Строев. — Там же никого наших.

— Вертолет надо подхватить.

— Как он там оказался?

— Длинная история. Впрочем, спросите сами, с вертолетом — прямая связь.

Строев взял трубку и услышал знакомый голос. Слишком знакомый. И вспомнил, где последний раз слышал его: вчера перед вылетом на вертолете.

Монотонный, вроде бы усталый голос лейтенанта Комморова коротко рассказал ему историю о том, как они летали над морем, над сушей, нигде не имея возможности приземлиться, и как теперь тянут на последних каплях горючего…

В трубке что-то зашуршало и послышался другой голос, тоже знакомый:

— Товарищ Строев, распорядитесь, пожалуйста, срочно приготовить операционную.

— Здесь, на «Смелом»? — удивился он, узнав голос главного врача с крейсера Плотникова.

— До плавбазы нам не дотянуть. Не из-за горючего, хотя и оно, говорят, кончается, — заторо-

пился Плотников, словно предугадав следующий вопрос. — С больным плохо. Как бы перитонита не было. Скажите врачу на «Смелом», он все знает.

Строев вытер вдруг вспотевшее лицо, растерянно поглядел в иллюминатор. Синело пустое небо над синим пустынным морем. «Смелый» шел, как обычно, на одной турбине, обходя непротраленные квадраты.

Он и сам знал, что такое перитонит. Это когда не выдерживает утончившийся воспаленный аппендикс и человек вмиг оказывается на острой грани между жизнью и смертью.

Кто-то задышал ему в затылок, и он, оглянувшись, увидел капитана второго ранга Володина.

— Как думаешь, успеем? — спросил Строев.

— Горючее у них на исходе.

— Что значит на исходе?..

Строев снова схватил трубку, спросил, стараясь оставаться спокойным:

— Уточните, как с горючим.

— На исходе.

— Что значит на исходе? — крикнул он.

— Минут на десять полета.

— На десять?!

— Может, на двенадцать.

Строев посмотрел на Володина, Володин на Строева, и они, ничего не сказав, поняли друг друга: если ВПК будет идти, как теперь, он не успеет в точку, где у вертолета остановятся двигатели. Возможно это произойдет у них на глазах. Людей они спасут. Кроме корреспондента. Перитонит — слишком серьезно, чтобы можно было допустить хоть небольшую задержку. И конечно, не удастся спасти вертолет.

Володин отошел к машинному телеграфу, сам перекинул звякнувшие ручки. Почти сразу усилилась вибрация палубы: заработала вторая турбина. Через несколько минут послышалось тонкое гудение, и волны за окнами рубки быстрее побежали назад.

«Поющий фрегат», как называли моряки свой ВПК, уже не огибал многомильные квадраты, а шел напрямую к расчетной точке встречи с вертолетом. Эти квадраты обрабатывались контактным тралом, и можно было не опасаться якорных мин. Но оставалась вероятность напороться на донные, неконтактные мины. Тральщикам здесь еще нужно было пахать и пахать. Однако сейчас выхода не было, и Строев мысленно одобрил решение командира идти напрямую. Риск подорваться на такой случайной

мине был незначительный, а при задержке ВПК можно было потерять человека. Приходилось выбирать.

— Все будет нормально, — сказал Строев в микрофон, стараясь придать голосу спокойный, даже беззаботный оттенок. — Комморов, слышишь меня? Ключ-то я нашел. В кармане оказался. Так что я тебе его сразу и отдам. Не теряй больше…

Строев не отходил от радиотелефона до того момента, пока ему не доложили, что вертолет уже виден и приближается к кораблю. Тогда он вышел на крыло мостика и с замиранием сердца смотрел, как похожая на серебристого жука маленькая машина, приблизившись, замерла на миг над кормой застопорившего ход корабля и вдруг не то чтобы опустилась, а словно бы упала на ют, сильно ударившись колесами о палубу. И сразу оборвался шум лопастей. Строев кинулся на корму, но там уже хозяйничали врачи в белоснежных халатах.

Корабль словно вымер: стояли турбины и ниоткуда не доносилось ни хлопания дверей, ни стуков, ни криков. Только за бортами глухо плескались волны. Это было непросто — заставить замереть сложный организм корабля. Но все, от матроса до командира, сдерживали себя, знали: в

операционной врачам куда труднее. Ведь там на время операции пришлось выключить даже вентиляцию. Температура палубы — все знали — без малого шестьдесят градусов, и в операционной — как в парной.

Через два часа, когда стало известно о благополучном исходе операции и корабль снова ожил и пошел на зюйд, осторожно обходя опасные квадраты, Строев спросил командира:

— Как вы решились идти напрямую? Я понимаю: другого выхода не было, но как вы решились?

— На скорость надеялся. Думал, если уж поднимем со дна мину, так она не успеет, взорвется за кормой, — ответил Володин.

— Ну что же, запишем на ваш счет один галс.

— Какой галс?

— Обыкновенный. Мы же оказались в роли тральщика. Так что считайте, прошли боевой галс. Вместо тральщика…

А. Тепляшин
ПЕРВЫЙ ШТОРМ
Стихотворение

Волны рванулись в ночную высь,
затмив на мгновенье звезды.
Кто-то выкрикнул: «Берегись!» —
но было уже поздно.

И жил, не задумываясь, как жить,
и умер бы так же просто.
Но чудом каким-то успел схватить
конец упругого троса.

Быть может, вся жизнь пред глазами прошла,
но я ничего не помню.
Была только злая соленая мгла,
и звезды срывались в волны.

Наверно, моя удержалась едва,
а может быть, тоже упала.
И были соленые злые слова,
и добрые были, но мало.

А пальцы как будто успели застыть
на жестких узорах троса...
И до смерти вдруг захотелось курить,
да вымокли папиросы.

И. Олейников
«Я слушаю море...»
Стихотворение

Я слушаю море. Я слушаю море.
Мне чудится: волны шумят за окном,
Ветров океанских глубинная горечь
Тревожным ненастьем наполнила дом.
И стал я рассеянным в дружеском споре,
Обрывками фраз долетают слова:
Мне слышится море, мне слышится море, —
Весенней листвою бушует Москва.
Мужская привязанность к морю надежна,
Разлуку я в сердце от близких таю.
Друзья не заметят, что чем-то встревожен,
Внезапно умолкнув, в сторонке стою.
Я слушаю море. Я слушаю море...

Р. Коренев
БИЧ
(Рассказ)

Наш траулер ставили в ремонт, чтобы подлатать корпус, перебрать двигатель, словом, залечить травмы, нанесенные штормом и временем. Когда легли на кнехты швартовые концы и на причал завода опустился массивный трап, по нему на палубу вбежал пес. Обыкновенный барбос, грязно-белой масти, большой и независимый. На его морде сияли внимательные хитрые глаза. Одно ухо острием вонзалось в небо, а другое, прокушенное, смотрело вниз. Он показался мне комичным, несерьезным бродячим шалопаем, каких немало рыскает по помойкам в поисках пищи.

Но первое впечатление оказалось обманчивым. Пес старательно обнюхал каждого члена команды и, доброжелательно виляя крючковатым хвостом, разрешил погладить себя. И тогда я понял, что он флотский. Во-первых, он проявил удивительную осведомленность в расположении надстроек и трапов судна, во-вторых,

продемонстрировал невозмутимость, смелость и общительность, чего не скажешь о береговой бродячей собаке. Ибо та бедолага, кроме пинков, от человека ничего не ждет. У нас же на судах, прямо скажем, животные в почете. Можно еще добавить, что не каждую собаку заставишь прыгать с борта на борт или бежать безбоязненно по узкой сходне, когда внизу качается бездна морской воды. А эта и прыгала, и бегала, значит, пес имел хорошую морскую практику. А что до неряшливого вида, то во время ремонта куда ни ткнись — то мазут, то краска.

Словом, я быстренько зарулил в камбуз, тщательно потралил по дну судового котла (благо кок исчез на время) и не с пустыми руками вернулся на палубу. Так было положено начало нашей дружбе.

Сыто облизнувшись, пес уселся возле трапа и начал рычать на прохожих, тех, что шли по берегу. Порой он повышал голос до грозного лая. В основном тогда, когда кто-то притормаживал возле трапа.

«Пустобрех», — подумалось мне, тем более что я заметил, как пес своими хитрыми глазами поглядывал на меня. Мол, видишь — служу, выслуживаюсь... Но уже на следующий день я

убедился, что пес точно знает своих.

Я стоял вахтенным у трапа. Вахта моя уже длилась три часа, я устал торчать свечкой, замерз и решил погреться.

— Ну что, коллега, — кивнул я псу, — посиди один, а я пойду погреюсь. У тебя, брат, вон какая густая собачья шуба, а у меня — на рыбьем меху. Впрочем, есть тулуп, но форс есть форс, он холода не боится. — Пес понимающе вильнул хвостом, и я, откланявшись, втиснулся в узкий проход между каютами.

Не прошло и трех минут, как на палубе раздался грозный заливистый лай. Так лает деревенский пес при виде грабителей.

— Кого еще черт несет? — подумал я и с недокуренной сигаретой вывалился наружу.

Пес, ощетинившись, упирался всеми четырьмя лапами в палубу, а на трапе стояли перед ним двое: прораб завода и какой-то незнакомец.

— А вы к кому? — спросил я у незнакомца.

— Это новый мастер, — представил спутника прораб. — Пусть пройдет ознакомится. — Сказал и шагнул вперед, не обращая внимания на собаку. Но лишь только он шевельнулся, пес просто озверел. Я едва удержал его на месте. Мастер проходил бочком, с оглядкой, заметно побаиваясь. А

пес просто надрывался от злости.

— Что это он на меня? — изображая улыбку, спросил мастер.

Я не упустил случая съязвить и ответил:

— Он привык к запаху моря, а от вас пахнет духами.

Когда они ушли с глаз, я похвалил пса:

— Ну, молодец, молодец! Не каждый осмелится начальство облаять, молодец…

Уму непостижимо, как он сразу понял, кто есть кто? Он узнавал нас в любом месте, в любой одежде — и в робе, и в парадном. Это был факт. Факт и огромный плюс нашему нештатному вахтенному.

Мне не давал покоя вопрос: как, по каким признакам пес в течение дня узнал наших? Наверное, специфический запах, свойственный одному лишь судну, пропитал всех членов команды и послужил псу особым условным паролем, пропуском для входа на палубу. Впрочем, это только моя догадка, или, как бы сказать по-ученому, гипотеза.

Но оставим этот вопрос открытым и начнем придумывать кличку. «Марс. Матрос. Кнехт. Боцман…» — перечислял я, но вдруг выяснилось, что этого пса зовут Бич. Бич, и никак более. Мало

того, он знаком всему громадному коллективу ремонтного завода. Это было для меня ошеломляющим открытием. Электрик с завода, взбираясь к нам по трапу, крикнул: «О, Бич! Привет! Ты уже здесь? Значит, судно стало надолго». Пес беспрепятственно пропустил его. Зато электрика остановил я и, естественно, спросил:

— Что значит «судно стало надолго»? И почему это должен знать пес? Мне, например, известно, что через неделю мы должны «выскочить».

Электрик посмотрел на меня как на чокнутого и спросил:

— Где и когда ты видел, чтобы ремонт проходил по графику? А Бич встречает и провожает не первого. Он все понимает…

Электрик ушел, дав мне информацию для размышления.

«Странно, — думал я. — Почему Бич?» Впрочем, эта кличка, пожалуй, в лучшем смысле подходит нашему флотскому псу. Конечно, не тот бич, кого мы стали понимать под этим словом, то есть лодыря, пьяницу и тунеядца. Нет. Бич — это морской «волк», отставший от судна и находящийся в резерве. Так, по крайней мере, «бич» переводится с английского языка. Ну что ж, Бич так Бич. Пес четко, исправно и бдительно нес свою службу.

Рабочий завода — проходи, чужой — облаем.

А электрик оказался прав. Мы действительно простояли полгода, хотя и сделали ремонт за последние десять дней. И настал час отхода. Согласно расписанию я находился на кормовой палубе, готовый отдать швартовые и поднять трап. Бич вертелся рядом. Он подходил то к одному, то к другому, прислушивался, принюхивался и заметно нервничал.

Наконец с мостика раздалась команда: «Убрать трап!»

Бич тотчас сбежал на берег. Мы звали его, манили, задерживали подъем трапа, а он сидел на берегу невозмутимый, отчужденный и, видимо, ждал уже другое судно, которое станет на наше место на продолжительный ремонт.

— Бич! Бич! — кричали мы и оптом, и в розницу, — Бич! — Но пес и ухом не повел.

Да-а… Он был судовым и в то же время убежденным береговым псом.

Ну что ж, прощай Бич! Жаль расставаться. Привык я к тебе, сработались. Но чувства чувствами, а служба службой. Прощай, друг!

Мы еще несколько дней простояли на рейде, готовились к выходу в море, получали кое-что из снабжения, а в последний день я отпросился на

берег. Возвращался я на судно лишь за полночь. На рейдовый катер опоздал, а в портфлоте, как ни странно, и переждать негде. Повертелся я на опустевшем причале, поплакался в жилетку бесчувственному диспетчеру и пошел куда глаза глядят. Идея родилась на ходу — я решил заночевать у друга на морозильном траулере. Благо они стали в ремонт на наше место. С надеждой вроде и жизнь веселее стала.

Иду вразвалочку и что-то мурлыкаю себе под нос. Как-никак хоть и два часа ночи, а мне есть куда пойти. Взбираюсь по трапу и уже приготовил слова для извинения за беспокойство, как вдруг передо мною вырос большой пес. «Гав, гав!..» — пошел авралить. Шерсть дыбом, клыки возле моей коленки, и хоть я не из робкого десятка, а отступить пришлось. С одной стороны, ноги не казенные, с другой — и штаны жалко.

— Вот черт, разбрехался, чтоб тебе провалиться, — негодовал я. — Сейчас с каждого судна высунется вахтенный, и тысяча вопросов: к кому, а кто ты и откуда?.. Тьфу, развели псарню. — Я отступил еще на шаг и вдруг узнал пса.

— Бич! Дружок! — обрадованно позвал я. — Ты что, не признал? Ну и хитрец, не пошел с нами…

Пес умолк, прислушался, потянул носом.

— Ну вот, узнал, свои! — Я протянул руку, чтобы погладить друга, но он будто взбесился. Взлаял так, что на губах аж пена выступила.

— Эх ты, предатель, — буркнул я и заметил сонные глаза и приплюснутый нос в стекле иллюминатора. Лицо явно ухмылялось и торжествовало. «Вахтенный матрос», — догадался я. Конечно, без посторонних на судне ему спокойнее. Пришлось ретироваться и топать на морвокзал, проклиная себя, собаку и нос в иллюминаторе.

То, что я рассказал, произошло два года тому назад. А тут в декабре нас вновь поставили в док и после осмотра корпуса опять ошвартовали к заводскому причалу. Я, как обычно, готовил кормовые концы, когда вдруг услышал:

— Вон он!

И точно. На причале сидел Бич, живой, здоровехонький, и приветствовал нас кончиком хвоста.

— Бич! Бич! — воскликнул я. — Дружище!

Пес явно ждал нас и нетерпеливо перебирал лапами. Лишь только укрепили трап, он был тут как тут и по обыкновению старательно обнюхивал каждого. Не избежал этой процедуры и я. Более того, он, подхалим несчастный, лизнул мою руку в знак особого ко мне расположения.

— Ну плут, ну двуличный, — журил я его, а сам

был безмерно рад вернувшемуся Другу.

Пока я изливал восторг от встречи, Васька-повар вынес шматик колбаски, тем избавив меня от лишней заботы. И все началось, как и два года назад.

В своей жизни я не встречал дисциплинированнее и неподкупнее вахтенного. Ибо Бич, в отличие от них, был всегда сыт и в деньгах не нуждался.

Мы честно отслужили с ним зиму, а когда настало время покидать завод, мы решили оставить собаку у себя на траулере. Нам уже была известна его манера ускользать, и я принял необходимые меры. В первую очередь попросил капитана предупредить меня заранее об отходе. Объяснил причину.

Весь день мы прождали буксирный катер, все было готово к отходу: и машина «на товсь», и команда в сборе. Лишь концы и трап связывали нас с берегом. Майское весеннее солнышко шариком закатывалось за гигантский вулкан, на судах спускали государственные флаги, а буксира все не было.

— Сейчас подойдет. Сейчас подойдет, — отвечала диспетчерская, и мы еще лишний раз убеждались, что самый длинный час у портового

флота.

Прошел ужин, за ним чай… Погасили, растворились в синеве красные прожилки заката, на судах зажглись наружные осветительные огни. Городская Верхнепортовая улица затихала. Горожане ложились спать. Одно за другим гасли в домах окна. В небе уже мерцали мириады далеких звезд. Пес сидел на своем штатном месте, на телогрейке у трапа, и, казалось, ни о чем не догадывался. Упитанные чайки дремотно покачивались на воде, как чучела, забытые на ночь.

Но вот взвыла сирена катера, вспугнула птиц, и все пришло в движение: под напором буксира качнулось судно, засуетились люди, закрутилась лебедка. И хотя я был все время начеку, все-таки опоздал, прозевал Бича, он оказался проворней. Еще не замолчал сигнал сирены, а он уже пробежал по трапу. Что самое интересное, не махнул куда-то, как бывало, по своим делам, а сел на берегу и смотрит, вроде бы ухмыляясь: шуруйте, мол, вкалывайте, ловите рыбу, а мне с вами не по пути, мне и на берегу неплохо, море не моя стихия… Я растерялся и расстроился. Рушились мои планы заняться дрессировкой в свободное от работы время, да и вообще всем нам хотелось иметь теплое, живое существо в далеком плава-

нии, напоминающее о земле и об отчем доме.

«Эх, болван, не привязал раньше, — корил я себя. — Пронадеялся. И как он узнал время отхода? Что его заставило уйти с судна в последние минуты стоянки?» Я задавал себе эти вопросы потом, а сейчас крикнул:

— Бич! Бич! Иди ко мне! Бич!

Пес смотрел на меня так, будто никогда раньше меня и не видел. «Вот это финт, мы стали чужими за одно мгновение до отхода!» Разве сразу я мог понять, сообразить, что за те многие годы, которые Бич прожил в порту, он изучил всю нехитрую механику судовой службы. Он угадывал настроение палубной команды, понимал их слова и жесты, улавливал волнение, необычное перед отходом в рейс, и чуял, что судно уйдет. Чуял инстинктивно.

Он всегда с беспокойством следил за работой со швартовыми концами. Стоило кому-нибудь подойти и взяться за кнехт, как Бич уже скулил и заглядывал в глаза. Но бывали же у нас и местные перешвартовки, на акватории завода, и тогда пес спокойно оставался на борту. Просто уму непостижимо: ведь в обоих случаях и швартовка, и подъем трапа были налицо. Разница была лишь в наличии команды: все на борту или нет. А может

быть, ему передавался наш настрой?

— Братва! Подождите! — завопил я. — Не отдавайте концы! Не прикасайтесь к трапу!

С куском свежего мяса, рискуя схлопотать выговор от начальства, я ринулся на берег. А повар на камбузе, наверное, точил огромный нож для этого куска. Но другого выхода у меня не было. Я не силен в собачьей психологии, но сообразил, что надо «сбавить ход» и подходить к Бичу спокойно.

— На! — протянул я ему кусок. — Кушай!

Пес аппетитно облизнулся, и даже слюна повисла на губе, но ко мне не подошел. Он недоверчиво посмотрел на мои руки, глянул в глаза и, отбежав, сел поодаль. Видно, мое возбуждение передалось псу, и он почуял опасность. Зазвать его на судно уже не оставалось надежды.

— Бич! На, на! — Как можно непринужденней, ласковей произнес я, сделал вид миролюбивейшего человека и даже показал ему подобие улыбки. Пес же разоблачающими глазами снимал с меня маску. Он сидел в метре от меня, настороженный, недоверчивый и угрюмый. И тогда я бросил кусок на землю возле своих ног.

Это был жест отчаяния, последняя попытка приблизить пса, капкан, рассчитанный на мгно-

венную реакцию. А с траулера мне кричали:

— Давай на борт! Оставь его!

Я уже сдался и еще через секунду был бы на борту, но тут появилась какая-то шавка. Вынырнув невесть откуда, она подкатилась к мясу, и Бич не выдержал. Поистине, как собака на сене: сам не гам и другому не дам. Условный или безусловный, пойди разберись какой, рефлекс сработал четко, и пес ринулся на защиту своей добычи. Шавка шарахнулась в сторону, а я сцапал Бича за шерсть.

Он рычал и кусался, как волк, не познавший рук человеческих. А ведь Бича эти руки только ласкали. Неблагодарный! Я тащил его наверх и чувствовал, что вот-вот уроню. Но пес вдруг стих, понял, что сопротивление бесполезно. Он смирился, и я отпустил его на палубе. Трап уже был поднят и швартовы отданы. Буксир вытягивал нас из ремонтного каравана.

— Ну вот, — торжествовал я, — мы с тобой, Бич, уходим в плавание. — Я смотрел на него счастливыми глазами, а с причала не менее счастливая шавка утаскивала большущий кус мяса.

Берег отдалялся, но обычная при отходе грусть еще не коснулась меня. Я смотрел на Бича и удивлялся его прыти. Вот он стремительно обежал

надстройку, взлетел на верхнюю палубу и снова ринулся вниз на корму. Он явно искал трап, чтобы убежать на берег. Но, увы, трапа не было. Тогда он поставил лапы на борт, заскулил, взлаивая. Потом еще раз обежал судно и все порывался прыгнуть, но вода и высота страшили его.

— Бич! Бич! — окликали мы, но он не реагировал, ни к кому не подходил и продолжал метаться.

Буксир отдал трос и отошел в сторону, траулер дал ход, и тут Бич, как ударенный током, дернулся, присел и, оттолкнувшись от палубы, перемахнул через борт.

В перекрестном свете береговых огней, в золотых бликах на водной глади мы видели высоко поднятую голову отважного пса, плывущего к бетонному причалу, к своей береговой службе. Ни поймать его, ни помочь ему мы не могли: сложный маневр судна при выходе исключал остановку. «Доплывет», — подумал я и успокоился, потому что видел — пес плыл легко, быстро, как настоящий спортсмен, загребая сильными лапами холодную воду. Белые, как лебеди, чайки раскланивались, уступали ему дорогу, видимо приняв его за одну из игривых нерп.

Пес подгреб к неприступной стенке портового

причала, по которому еще пробегали запоздалые гуляки, спеша под железную кровлю своих кают. Но никто из них — зачем им это? — не глянул вниз, туда, где, царапая причал когтистыми лапами, держался еще на воде бессменный страж ремонтирующихся судов. Он тяжело дышал, у него уже не было сил залаять, позвать на помощь. Его окровавленные лапы скользили по обросшему ракушкой и зеленью щербатому бетону, но он все еще не терял надежды и ждал помощи.

Лишь дед из портовой охраны услышал хрип собаки, подошел и склонился над урезом причала.

— Эх-хе… Никак, пес? Теперь хана тебе, брат… Пыхти не пыхти, выкарабкаешься. Э-эх… разведут собак, поток побросают. — Он с презрением осмотрел стоящие рядом суда. Услышав отфыркивание, дед склонился ниже: — Хлебнул, бедняга… Смотри, какой живучий…

К охраннику подошел матрос, вахтенный с ремонтирующегося судна.

— Ты что, батя, перебрал, что ли? Над водой так клонишься. Упасть хочешь?

— Да вона, пес чей-то тонет…

— Где? — встрепенулся матрос и опустился на колени, заглядывая вниз…

Несколько мгновений спустя он выбрался на

причал, держа в руках обессилевшего пса.

ФЛОТ ВЕДЕТ БОЙ

Флот ведет бой





Н. Михайловский
ЕГО ЗВАЛИ РАМОНОМ...
(Очерк)

Тихая, как будто притаившаяся ночь охватила Кронштадт. Не слышно коротких гудков буксиров, стука отбойных молотков на морзаводе, лязга подъемных кранов. Тишина... За этой тишиной угадывается суровая настороженность и готовность к бою...

Валентин Петрович Дрозд возвращался со службы вдоль набережной в сторону «Рогатки», туда, где были едва заметны силуэты линкора «Марат», крейсера «Киров» и других кораблей. Его шаги среди мертвящей тишины дробью стучали по булыжной мостовой.

Вокруг ни души, редкие патрульные выныривали из темноты, увидев, кто идет, козыряли и опять куда-то скрывались...

Дрозд шел неторопливо. Он любил вот так медленно ходить и думать. На корабле в эти дни трудно сосредоточиться: кругом люди и поминутно тьма дел. «Как все-таки незаметно подкатилась война. Правда, ее ждали, готови-

лись, сердцем чувствовали, что она постучится и в наш дом, но…»

Валентину Петровичу вспоминалась далекая Испания. И он, Дон Рамон, — советник у командира республиканской флотилии Висенте Рамиреса. Они вместе ходили в дозоры, проводили конвои и вступали в неравный бой с фашистскими кораблями. Часто после таких походов командир флотилии, не зная, как лучше выразить благодарность своему советскому другу, обнимал его: «Дон Рамон муй листо!» — «Дон Рамон очень умный!»

Там, в Испании, в часы затишья мысли Валентина Петровича уносились к родине, жене, дочурке. Как они там, в Ленинграде? Ведь все произошло совсем неожиданно. Собирались всей семьей в Крым, путевки уже были в кармане. А тут срочный вызов в Москву. Едва сумел позвонить жене, сказал: «Уезжаю… неизвестно на какой срок. Пора привыкнуть — наше дело военное…» — и исчез бесследно. Исчез не на месяц, не на два…

Он помнил, как радовался, когда год спустя ему разрешили с дипломатической почтой послать семье первое письмо! В нем Валентин Петрович не имел права сказать жене, где он и как… Лишь сделал намек: «Помнишь ли ты романс,

где есть слова: «От Севильи до Гренады»? Послушай обязательно! Он мне очень нравится». Валентин Петрович не ошибся, решив, что дома все поймут.

В Испании был суровый, опасный труд и первая боевая школа советского Дона Рамона, которому четыре года спустя пришлось вновь встретиться с тем же самым врагом.

Неугомонный, он и теперь рвался туда, где опаснее, выходил со своими кораблями навстречу врагу. Одни миноносцы, выполнив задание, уходили в базу пополнять запасы горючего и боеприпасов, им на смену шли в бой другие. И только командующий отрядом легких сил Балтики вице-адмирал Дрозд не имел смены: он переправлялся на катере с одного корабля на другой и оставался в районе активных боевых действий.

Немцы минировали Ирбенский пролив. Из Берлина на весь мир понеслись хвастливые заверения: «Корабли Советов во главе с крейсером «Киров» заперты на крепкий замок и будут уничтожены». Командующий флотом В. Ф. Трибуц и В. П. Дрозд приняли смелое решение: за несколько суток моряки углубили считавшийся несудоходным пролив Му́ху между Моонзундскими островами и материком, корабли вырвались

из ловушки и встали на защиту Таллина.

А потом знаменитый Таллинский поход… Дрозд стоял на мостике, не смыкая глаз, вел свои корабли через тысячи смертей. Чего тут только не было! Густые минные поля, каких не знала история… Непрерывные атаки с воздуха… Огонь береговых батарей… И все удары были прежде всего нацелены на флагманский корабль Балтики — крейсер «Киров». Планы гитлеровцев провалились. Крейсер «Киров» пришел в Кронштадт цел и невредим вместе с боевым ядром флота.

А теперь война докатилась и до Кронштадта…

Дрозд остановился и посмотрел вперед: темнота темнотой, а там, на далеком горизонте, и ночью проглядывает четкая линия между водой и небом. Вспомнилась карта, только что виденная в кабинете командующего флотом. Немцы вышли к Неве у Ивановских Порогов. Подумать только — это же рукой подать до завода «Большевик»! Чтобы закрыть брешь, срочно создается бронированный армейский кулак и новое флотское соединение, именуемое «Отряд кораблей реки Нева». Дрозд обрадовался, узнав, что командовать этим отрядом будет его друг по Испании Сергей Дмитриевич Солоухин.

Поднявшись по трапу на борт крейсера «Киров», рядом с дежурным командиром он увидел Солоухина. Худой, с заострившимися скулами и запавшими глазами, он походил на больного. Остались неизменными лишь голос и знакомая улыбка.

— Легок на помине! — обрадовался Дрозд, протягивая руку.

— Повидаться забежал, а тебя нет. Сегодня отбываю в Ленинград. Вероятно, всерьез и надолго, — сказал Солоухин.

— Знаю. Все знаю…

Они вошли в каюту. Сняли шинели. Дрозд наглухо задраил иллюминатор, включил настольную лампу. Сели на диван. Закурили. Дрозд, прислушиваясь к монотонному звуку метронома в рупоре, висевшем над головой, спросил:

— Что тебе дают?

— Целый флот, — опять улыбнулся Солоухин и начал перечислять: — Эсминцы, канонерские лодки, сторожевые корабли, тральщики. И даже катера. Завтра расставлю их по Неве от Смольного до самой Усть-Ижоры.

— Почти до линии фронта?

— Выходит, так.

— Учти, дружище, — говорил Дрозд. — У наших

моряков удали сколько угодно, а сухопутной тактике они не обучены. Я бы посоветовал тебе обратить на это внимание. На войне всякое может случиться. Если немцы прорвут фронт — придется и нашему брату взяться за винтовки, гранаты. Тогда и учеба впрок пойдет.

— Да, ты прав. Я это имел в виду… — Солоухин тяжело вздохнул. — Трудно, Валентин Петрович, никак не могу примириться с мыслью, что немцы подкатились к самому Ленинграду. В голове такое не укладывается.

— Понимаю. Сам точно во сне. Проснуться бы, тряхнуть головой и сказать самому себе: чертово наваждение. Ничего не попишешь, надо крепиться, Серго. Выдержим, шуганем их отсюда, придем в Германию и заставим пережить то же самое. А пока выдержка, выдержка и еще раз выдержка…

Вскоре они расстались.

…В то сентябрьское утро у всех на сердце было неспокойно. Два дня продолжались налеты немецкой авиации на Кронштадт. Эскадрильи пикирующих бомбардировщиков летели на город со всех сторон. И главным образом — на корабли. Казалось, вот-вот от бомбовых ударов море закипит.

— Они за свои потопленные корабли хотят с на-

ми рассчитаться, — сказал командир зенитчиков Александровский.

Это услышал вице-адмирал Дрозд.

— Не только за корабли. Для них вообще Кронштадт — бельмо на глазу. Вы, наверное, слышали, Гитлер расхвастался на весь мир, будто Ленинград, как спелый плод, падет к его ногам. Осень пришла, а плод не падает… Он понимает, что если бы не корабли, форты, береговые батареи, если бы не мы с вами — фашисты могли с ходу захватить Ленинград. Вот почему они и бесятся.

— Пусть бесятся, товарищ адмирал, да руки у них коротки, — откликнулся старшина зенитчиков Даниил Павлов.

Дрозд бросил на него добрый взгляд:

— И я так думаю.

Очень скоро послышался протяжный вой сирен, и где-то вдали на фортах глухо ударили зенитки. Воздушная тревога.

С угрожающим гулом со всех сторон неслись стаи самолетов. Несколько наших ястребков устремились к ним и попытались связать боем. Где уж тут… Они рассеялись, потерялись среди десятков немецких бомбардировщиков и истребителей, тучей летевших на Кронштадт. Ясное сентябрьское небо потемнело: его закрыли пти-

цы с черной свастикой…

— Самолеты со всех сторон! Держись, ребята! — последнее, что успел произнести командир зенитной батареи Александровский со своего наблюдательного поста. Тут же рявкнули пушки, застрочили пулеметы. И все слилось в один невообразимый грохот, сквозь который различались только гулкие взрывы бомб…

Перед самолетами вспыхивали черные клубки. Один, другой. А третий — третий угодил в мотор и бензобаки. Бомбардировщик вспыхнул и, как метеор, пронесся над кораблями. Он мчался на полной скорости дальше, к маленькому островку. И не дотянул — врезался в воду.

— Ура старшине Павлову!

Все смотрели на спардек. Там у орудия стоял рослый, кряжистый старшина, еще не веривший в свою победу. Впрочем, было не до радости. Снова приближались самолеты, и опять грохотали зенитки.

Один вражеский самолет оторвался от группы, отвлекавшей пока на себя зенитный огонь, и камнем бросился вниз.

Многим казалось — теперь всё! Теперь никуда не денешься. Вот тут придется принять смерть. Головы невольно втягивались в плечи… А пу-

леметчик Вирченко будто только и ждал этого момента. Припал грудью к пулеметному ложу, нажал спусковой крючок, и металлическое сердце забилось… В небо протянулись огненные трассы — белые, красные, зеленые… Они подбирались все ближе и ближе… И наконец хищная птица вспыхнула и прочертила в небе шлейф густого дыма. Но бомбы были все же сброшены, и корабль вздрогнул… С правого борта сверкнуло пламя.

Вице-адмирал Дрозд, стоявший на мостике, схватился за голову, лицо перекосилось от боли. Кто-то бросился к нему: «Товарищ адмирал, вам плохо?!» Он прикрыл рану носовым платком, облокотился о переборку и, довольно быстро овладев собой, произнес: «Смотрите, там пожар! Принимайте меры!» И потом в нетерпении смотрел вниз, пока не появилась аварийная партия и не началась борьба с огнем.

Лицо вице-адмирала стало совсем бледным, губы посинели, его взяли под руки и отвели в каюту.

Самолеты улетели. Смолкли зенитки. На палубе больше не бушевало пламя, только струился дым и пар. Все стихло. И тогда на мостике разразился спор.

— Я очень ясно ощутил два удара, — доказывал командир корабля капитан второго ранга Сухоруков. — Две бомбы попали в корабль. Одна в правый борт, а куда вторая — не знаю.

— Да нет, вы ошибаетесь, товарищ капитан второго ранга, — убеждал помощник. — Одна бомба, а не две…

— Нет уж, извините.

Уверенный тон командира заставил скептиков усомниться: а может, и впрямь в корабль попали две бомбы? Тем более Сухоруков упорно настаивал на своем и даже приказал всем спуститься вниз на розыски второй бомбы.

И вот вскоре на мостик явился несколько сконфуженный помощник с двумя матросами — Гончаровым и Пузыниным.

— Так где же вторая бомба? — спросил Сухоруков.

Оказалось, что вторая бомба не разорвалась, дошла до броневой палубы, рикошетировала от нее, пробила несколько переборок и очутилась в сорок пятой каюте, на койке, как будто там ее только и ждали. Краснофлотцы Гончаров и Пузынин, находившиеся поблизости, вбежали в каюту, отдраили иллюминатор, подняли на руки бомбу и без раздумий сбросили в воду. Явившись

к своему командиру, доложили:

— Неразорвавшаяся бомба списана за борт!

— Как вы все-таки не побоялись? — допытывался Сухоруков. — Она ведь, дура, могла взорваться у вас в руках.

— Могла, товарищ командир, — согласился рослый здоровяк Гончаров. — А мы в тот момент об этом не думали.

— Ну, а все-таки погибать-то никому не хочется?!

— Если бы мы погибли — это одно дело, а так весь корабль… — произнес Гончаров.

Всегда невозмутимый и начисто лишенный всякой сентиментальности командир крейсера подошел к смельчакам и обнял их за плечи:

— Случай небывалый. Придется вас, друзья, представить к наградам.

Сухоруков пришел с этой вестью к командующему эскадрой. Валентин Петрович лежал в каюте с перевязанной головой. Услышав о неразорвавшейся бомбе, «списанной за борт», Дрозд даже приподнялся от удивления, будто не поверил: возможно ли такое?

— Поразительно! — воскликнул Дрозд. — Какое самообладание у этих ребят! — Он приказал составить наградные листы на обоих и доба-

вил: — Позвоните в редакцию газеты. Пусть на флоте узнают новых героев…

— Теперь по поводу крейсера, — своим обычным деловым тоном продолжал Валентин Петрович. — Нам больше нельзя оставаться здесь. Завтра нас могут разбомбить. Надо менять место. И как можно быстрее.

Сухоруков запросил штаб флота. Ответ не заставил себя ждать: крейсеру «Киров» предписывалось ночью перейти в Ленинград. Вызвав к себе в каюту штурмана Пеценко, Валентин Петрович сказал:

— Один бросок из Таллина в Кронштадт вы сделали удачно. Теперь для вас новая и совсем не простая задача. Поведете корабль в Ленинград. Учтите, ни одного огонька не будет на фарватере. Идти придется по счислению. Если ошибетесь — сидеть нам на мели, и тогда немецкие летчики скажут вам большое спасибо.

Пеценко, поразмыслив, ответил:

— Ничего, товарищ адмирал. Прошли тогда. Пройдем и теперь…

— В нашем распоряжении один час на подготовку.

…«По местам стоять, с якоря и швартовов сниматься!» Моряки разбежались по боевым постам.

И Дрозд поднялся с койки, надел китель, поверх набросил реглан и с забинтованной головой вышел на ходовой мостик.

В сплошной, хоть глаз коли, темноте буксиры вывели крейсер из гавани. Корабль затемнен, и кругом ни единого огонька. Все маяки потушены. Небо затянуто облаками, а фарватер узкий да еще забросан минами.

В штурманской рубке тишина. Василий Печенко склонился над картой. Взгляд на приборы, быстрый расчет, и на карту ложится новый отрезок пути.

Моряки выстроены вдоль бортов. Сотни глаз смотрят в темноту. Мимо во тьме проплывает ставший теперь таким далеким южный берег Финского залива. Петергоф, Стрельна… Знакомые пригороды Ленинграда. Не верится, что там сейчас враг. Впрочем, яркие вспышки прожекторов и зарницы выстрелов властно напоминают об этом.

Корабль идет малым ходом, как будто на ощупь. Темнота его маскирует, он незаметен для наблюдательных постов противника. Они не должны знать, что его уже в Кронштадте нет.

— Право руля, — не командует, как обычно, а тихо произносит командир корабля, обращаясь

к старшине рулевых Андрееву, и тот, так же спокойно повторив команду, быстро выполняет маневр…

Сверкание зарниц остается за кормой. Заметно спадает напряжение, впереди выступили белесые молы Морского канала. А там дальше торговый порт…

Время 6 часов 24 минуты. Корабль завершает свое короткое плавание. Здесь, у заводских стен, под зеленой маскировочной сеткой он будет стоять до наступления мороза. Стоять и вести бой…

В эту пору главное было выстоять! Выстоять во что бы то ни стало! Наши войска вынуждены были оставить Таллин, эвакуировались с островов Эзель и Даго, а в тылу у врага оставался и продолжал упорно сражаться маленький непокоренный гарнизон полуострова Ханко.

На удивление друзьям и врагам, защитники Ханко не только оборонялись, но и наступали… Не отдав ни одной пяди земли, ханковцы отбили у врага множество мелких островков, чувствовали себя, как за бронированным щитом, и не собирались уходить. Однако обстановка требовала сосредоточения всех сил для защиты Ленинграда. Только это заставило гангутцев оставить свои рубежи и поспешить на помощь родному городу.

Уже наступала зима. Забелел Финский залив, начал покрываться льдом. Моряки получили задание снять гарнизон Ханко и доставить его в Ленинград. Руководил эвакуацией вице-адмирал Дрозд.

Это была поистине «ледовая одиссея». В конце октября Валентин Петрович Дрозд повел первый отряд кораблей на Ханко. Он стоял на ходовом мостике головного миноносца «Стойкий», который пробивался сквозь льды, прокладывая путь всему отряду. Реглан, кожаная ушанка — вся одежда стыла и деревенела на морозе. Борта и надстройки кораблей обрастали льдом. Местами сплошное белое поле, местами крутая шуга вставали на пути кораблей. И казалось, дальше хода нет. «Стойкий» сокрушал лед, разгонял шугу и пробивался вперед. Время от времени слышались полные тревоги голоса сигнальщиков:

— Прямо по курсу мина!

Корабли стопорили ход. Наводили пушки: темные шары мин расстреливали и шли дальше.

…Студеной ночью сквозь густую пелену снега корабли пробились на Ханко, приняли первые батальоны. И сразу в обратный путь… Без единого огонька, по узким шхерам, изобилующим мелями, банками, под самым носом у финских

береговых батарей вывозили они войска на помощь сражающемуся Ленинграду.

Это был первый поход, а за ним второй, третий… И чего только не случалось! Взрывы мин, снаряды, выпущенные финскими береговыми батареями и взрывавшиеся у бортов кораблей, пожар на транспорте с войсками… Даже многоопытный моряк Валентин Петрович Дрозд порой бывал озадачен. Выручала выдержка, хладнокровие, привычка не теряться, взвесив все, принимать нужное и единственно правильное решение.

В последний раз возвращались в Кронштадт 2 декабря 1941 года с остатками войск доблестного Ханко. И не только войска, технику, но и запасы продовольствия корабли доставили в осажденный Ленинград.

…Будни осажденного города… Они тягучи, однообразны и полны напряженного ожидания… Вечером матросы, сменившиеся с вахты, собрались в кубрике. «Старички» забирались на верхние койки, кто помоложе расшнуровывали постели и ложились на рундуки. Все это происходило в полной тишине: о чем говорить? И вдруг голос диктора по радио:

— Внимание, товарищи! Сегодня в двадцать

три часа тридцать минут слушайте важное сообщение.

Важное сообщение! Неизвестно о чем, но важное! Ждали с нетерпением, глаз не отрывали от стрелки часов. Замерли, притихли. И вот радио принесло счастливую весть: наши войска разгромили немцев под Москвой и ведут успешное наступление. Освобождены Клин, Калинин, Волоколамск, Наро-Фоминск…

Едва смолк голос диктора, кубрик наполнился взрывом восторга, аплодисментами, восторженными «ура!»… Все обнимались, кричали до хрипоты. Наша берет!

Усталость как рукой сняло. Хмурые, молчаливые люди словно оттаяли. Никому не хотелось спать. Почти всю ночь не смолкали разговоры. От одной мысли, что немцы могут быть вот так же сокрушены и под Ленинградом, становилось радостно и легко.

Прошел год. Год голодных и тяжелых буден: ремонт, вахты, тренировки, тревоги… В свободное время все мысли, все разговоры были об одном:

— Скоро и у нас двинут. Кольцо блокады изнутри ломать собираются…

— Глубоко немец зарылся, трудно будет выковыривать.

— Ничего, артиллерии у нас хватит. Авиация поддержит. Скорее бы только началось!

Скорее бы началось! Это желание владело всеми, кто был в осажденном Ленинграде. Об этом писала Ольга Берггольц:

В те дни безмолвны были дали.
Все замерли: приказа ждали,
Чтоб двинуть бурю на врага.
Все на одном сходились слове:
Вперед! Все было наготове.

Да, все было наготове… Разгром фашистов под Сталинградом и развернувшееся затем зимнее наступление наших войск вынудили германское командование снять часть своих сил из-под Ленинграда и бросить их на юг. И стало ясно — пришла пора прорывать кольцо блокады.

В группу корабельной артиллерии для поддержки сухопутных войск вошли и два миноносца из состава эскадры. Командующий эскадрой вице-адмирал Дрозд, получив в штабе флота задание, спешил на корабли, стоящие в верховье Невы. У трапа его встретил командир корабля, высокий бравый на вид капитан третьего ранга со смуглым лицом и лихими гусарскими усами. Отдав рапорт по всем правилам и хитровато улыбнув-

шись, он сказал:

— Мы уже кое-что слышали, товарищ командующий.

— Кое-что не считается... — отозвался Дрозд и быстро зашагал вдоль палубы.

А когда они вошли в командирскую каюту, Дрозд снял кожанку и, дружески положив руку на плечо командира, с радостью воскликнул:

— Наконец-то дождались!

И с этими словами он, кажется, сбросил с себя груз забот, помолодел, лицо его стало вдохновенным, ликующим.

— Вы понимаете, если удастся все, как задумано, это будет для немцев началом конца. А пока...

Он разложил на столе карту с широкой голубой полосой реки Невы, на южном берегу которой окопались вражеские войска. Анненское, Арбузово, Первый и Второй рабочие поселки и, наконец, Шлиссельбург — сейчас все это сильно укрепленные рубежи немецкой обороны. Их должны взять войска Ленинградского фронта и соединиться с Волховским фронтом.

— Нам с вами будет работа... — сказал Дрозд, на минуту оторвавшись от карты. — В чем трудность? Во время артиллерийской подготовки мы

должны будем стрелять по немецкому переднему краю, но так аккуратно, чтобы не повредить невский лед. Иначе наши войска не смогут перейти Неву и наступление сорвется. Тем более, взгляните, вот здесь наших отделяет от противника лишь несколько сот метров. Так что огонь надо вести ювелирно, с предельной точностью. Противник, конечно, станет огрызаться. Я не хочу вас пугать, но будьте ко всему готовы…

Они долго сидели, обсуждая все, связанное с предстоящими стрельбами. Перед тем как уйти и уже прощаясь на трапе, Дрозд предупредил:

— Имейте в виду, я буду у вас на корабле. А пока готовьтесь.

— Есть, товарищ адмирал, будем готовиться! — отчеканил командир.

Через несколько дней начались приготовления к стрельбе из орудий главного калибра. Как скрытно ни велась подготовка, все понимали: близится наше наступление. С пушек снимали маскировку, жерла орудий развернулись в сторону левого берега Невы.

— Скоро начнется, — говорили везде — в башнях, погребах, кубриках, каютах.

12 января 1943 года раздался сигнал тревоги, палуба загрохотала под тяжелыми башмаками

матросов, разбегавшихся по боевым постам.

— Только бы немецкая авиация не помешала, — говорили сигнальщики, всматриваясь в небо.

— Будь уверен, все предусмотрено. Видишь, над городом кружат наши истребители?

— Ох, и рванули бы мы, как там, в Сталинграде!

— Не беспокойся, так оно и будет.

Вице-адмирал Дрозд чуть свет был уже на корабле и в минуты, оставшиеся до открытия огня, находился в боевой рубке, ни во что не вмешивался, не приказывал, а только пристально наблюдал за действиями артиллеристов. И чувствовалось, был доволен…

Цели известны. Расчеты проверены. Радисты корабля установили связь с корректировочными постами.

Секундная стрелка корабельных часов пошла по последнему кругу. И вот дрогнул корпус корабля от башенного залпа. Миноносец накренился и снова встал на ровный киль.

Началось!.. Залпы следовали один за другим. Звуки от них сливались в один мощный гул, и над Невой плыли коричневатые облака дыма.

— Последний залп! — передали с командного

пункта.

«Сейчас пехота пойдет», — сказал про себя Дрозд.

В рубке установилась настороженная тишина. Теперь оставалось ждать вестей с фронта, где уже, вероятно, начался бой. Вице-адмирал с суровой задумчивостью смотрел сквозь узкие амбразуры на расстилавшуюся белую равнину Невы. У самых бортов корабля снег лежал черный — опалил его огненный смерч, вырвавшийся из орудий.

— Товарищ адмирал! Есть сообщение! — доложил командир корабля. — Левый берег Невы в наших руках! Пехота захватила первую линию траншей.

— Добро! — откинулся Дрозд, глаза его радостно засветились. — Это не значит, что мы все сделали. Запросите, потребуется ли еще огонь.

Командир бросился в радиорубку и скоро вернулся, сообщив:

— Пока там все в порядке. Наступление развивается…

— В таком случае объявите готовность номер два. Чего же людей держать в напряжении.

Отбой тревоги!

Комендоры шли по палубе с видом именинников. Краснофлотцы других боевых частей

обступили их.

— Ну, как прошла стрельба?

— Ни одного пропуска, ни одного заедания. Корректировщики с фронта отличную оценку дали…

Но боевая работа только начиналась, все последующие дни наступления в разное время с фронта просили: «Дайте огня!» И корабль стрелял до тех пор, пока войска Ленинградского и Волховского фронтов не прорвали железное кольцо блокады и не встретились в первом Рабочем поселке. Отныне он стал местом историческим.

Ленинград украсился алыми флагами. Изможденные, высохшие от голода герои-ленинградцы ликовали и плакали, еще не веря своему счастью.

В Кронштадте тоже стояли корабли эскадры. Они выполняли свою задачу — стреляли по немецким батареям, находившимся в районе Петергофа, сковывали их своим огнем во время нашего наступления.

«Эмка» командующего эскадрой неслась по льду Финского залива. В густой морозной дымке едва выступали характерные очертания острова Котлин — Кронштадтской крепости, увенчанной темным куполом собора.

Дорога эта часто обстреливалась. Приходилось объезжать воронки, полыньи, ледяные торосы. Путешествие было небезопасным, хотя на войне, в общем-то, и не знаешь, где тебя подстерегает смертельная опасность…

Пройдя всю ледовую трассу, машина выехала на берег и подкатила к «Рогатке» — месту постоянной стоянки кораблей.

Дрозд открыл дверцу и наказал водителю:

— Дел много… Возвращаться придется ночью. Так что заправься и часам к двадцати будь в полной готовности…

Действительно, в обратный путь собрались уже к ночи. Командир кронштадтской базы контр-адмирал Левченко дружески уговаривал Валентина Петровича задержаться:

— Выспись, отдохни… Утро вечера мудренее.

Дрозд только усмехнулся:

— Отдыхать будем после войны, а пока надо в Ленинград, на корабли эскадры… — и попрощался.

Он уезжал не один — с двумя офицерами из штаба флота.

— Вы садитесь впереди и будете у нас за штурмана, — Дрозд указал капитан-лейтенанту Яковлеву на место рядом с водителем. — А мы с

вами, — он повернулся к капитану третьего ранга Родимову, — пассажиры… Тронулись…

Темь непроглядная. Да к тому же мороз и снегопад. Синие подфарники не спасают положения. В непрерывном мельтешении снежинок дорога едва угадывается. Только интуитивно шофер выбирает верное направление.

Машина идет медленно, то переваливаясь через ледяные бугры, то пробиваясь по снежной целине…

Водитель и «штурман» напряженно всматриваются в темноту, а сидящие на заднем сиденье увлеклись беседой, даже не замечают трудностей пути.

— Вот вы сегодня на собрании говорили нам о моральных силах. Все это верно, но все же люди пережили голод, бомбежки, и еще не ясно, что их ждет впереди, — рассуждал Родимов.

— Почему не ясно? Все ясно! Вы должны понять: победы под Москвой, Сталинградом и у нас здесь во многом меняют соотношение сил. Война переходит в стадию, когда решающую роль играет наличие резервов. И у нас есть все объективные возможности ее выиграть… — Дрозд закурил и продолжил: — Поверьте, мы с вами еще дойдем до Берлина!

Водитель, должно быть совсем потерявший ориентировку, остановил машину и дрогнувшим голосом произнес:

— Не видно, куда едем, товарищ адмирал.

Дрозд глянул за стекло: действительно, тьма адская. Впрочем, в этом не было ничего неожиданного. Почти всегда поездки в Кронштадт и возвращения обратно были связаны с какими-нибудь приключениями: то попадали под артобстрел и должны были маневрировать, то еще что-нибудь. А уж завязнуть в снегу и плечом толкать машину считалось в порядке вещей.

Водитель повернул рычажок, вспыхнули две яркие фары, но даже они не могли пробить толщу снегопада. Дорогу совсем замело. Впереди лежало сплошное белое поле. Казалось, ничто не грозило опасностью. Медленно двинулись дальше.

Легкий толчок… Что-то непонятно прошуршало под колесами. Машина врезалась в ледяную кашу, и через дверцы внутрь хлынула вода…

— Выходите! — резко и повелительно крикнул Дрозд, осознав грозящую беду.

Яковлев одним рывком нажал ручку и выскочил на лед. Остальные не успели… Машина, ломая лед, быстро погружалась в полынью. Донеслись полные отчаяния слова Дрозда:

— Какая глупая смерть! — Это последнее, что услышал Яковлев.

А вьюга крутила, бесновалась. «Найти людей, поднять тревогу!» — вот единственное, о чем думал капитан-лейтенант Яковлев в эти минуты одиночества. Куда идти? Где люди?

Сделав над собой усилие, он двинулся с места и пошел, шатаясь, думая только о том, как бы поскорее добраться до людей и позвать их на помощь.

Он проблуждал всю ночь и лишь на рассвете, обессиленный, закоченевший, добрел до заставы и все рассказал.

К месту происшествия немедленно прибыли водолазы. Спустились в воду (глубины в этом месте небольшие) и без труда обнаружили машину.

Хоронили вице-адмирала Дрозда в Александро-Невской лавре, где покоятся останки великого русского полководца генералиссимуса А. В. Суворова. Тысячи людей стояли в скорбном молчании у гроба Дона Рамона — отважного бойца Испании, участника обороны Ленинграда, достойно продолжавшего битву с фашизмом до своего последнего часа.

И. Подколзин
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ...
(Рассказ)

— Нет, Спирин, человек ты вовсе не от мира сего, не наш. — Механик смахнул коричневой высохшей ладонью пот с темного, задубевшего от солнца и морского ветра, покрытого глубокими морщинами лица. — Тебя послушать, так и воевать не след. Ходи уговаривай, что поп Гапон. Уж не баптист ли ты, случаем? Али хлыст иль пятидесятник? Вот приглядываюсь к тебе и понять не могу. Парень вроде образованный, стюдент, а какую ахинею несешь. И немцы-то у тебя хорошие есть, и сам Энгельс-то будто немец. — Механик заморгал, что-то осмыслил. — Быть такого не может! И точка! Ясно тебе?! Моя бы воля — всех фашистов под корень, разом и — фить...

— Так то же фашистов, ну как же вам объяснить. Случалось же в гражданскую, вы-то помните, допустим, два брата — один красный, а другой белый, но оба русские. — Для убедительности матрос сцепил ладони и протянул их вперед почти к лицу механика. — Разобраться надо?

— Это белый-то русский? Совсем заговорился. Против своего народа прет — и тоже русский? Басурман он, без роду и племени, такой же фашист и есть. Вовсе ты малахольный. Тебе по морде, а ты стенгазетой. Навоюешь с вами, с учеными. Из-за таких, как ты, и наступаем… спиной вперед. Одним словом, слюнтяй ты, Спирин. И откуда только вы беретесь, такие вот стюденты. Вот к нам на «Очаков» приходил Мекеша. — Глаза механика подобрели. — Тот настоящий стюдент… В очках… Чахоткой болел, да. Все самодержавие, говорил, надо свести на нет. А по-твоему как по Библии получается: не тронь все живое, не убий, оно жить хочет, наслаждаться. Так, что ли, Спирин? И не перечь ты мне лучше, не доводи до греха. Ты их и в глаза не видел, германцев своих разлюбезных, ни живых, ни мертвых, а у меня они во где, — он несколько раз стукнул себя ребром ладони по жилистой шее, — во где сидят. Понял? И нюни свои не разводи, баптист. Мне их земли не надо — своей много. Я их не трогал, в их Берлины там разные не лез. А пришел он, как тать в ночи, вот и получить должен за все. Так-то, Спирин.

Механику давно стукнуло шестьдесят. Ходили слухи, будучи матросом в царском флоте, он слу-

жил на знаменитом крейсере «Очаков» и даже принимал участие в восстании. Слухов механик не опровергал, но и никогда не рассказывал о своем революционном прошлом. А если об этом вечерами заходил разговор, он только загадочно посмеивался. Слыл он человеком с причудами, любил пофилософствовать и поспорить.

В тесном машинном отделении было душно и темновато. Пахло тавотом, соляркой и промасленной паклей.

Резко звякнул звонок: стрелка машинного телеграфа дернулась и, поколебавшись, остановилась на секторе «малый».

«Наконец-то двинулись, — подумал Спирин. — Скорее бы уж из этого ада кромешного». — Он глубоко вздохнул, тщательно вытер руки смоченными в керосине концами и бросил их себе под ноги на гофрированные железные пайолы.

— Ну, вот и шабаш. Последние мы были. А концы все едино не, разбрасывай, подбери. — Механик укоризненно посмотрел на Спирина. — Так-то, матрос. Последние, говорю, мы. Сам слышал, как капитан сказал, дескать, все ушли, одни мы толчемся. Ну, а теперь и нас нет. Еще один город оставили. Свой родной. Высунься наверх, глянь, как там, потом я схожу. Давай, шлепай. — Он

повернул маховик, и двигатель застучал, плавно набирая обороты. — Ты, это самое, не серчай на меня, уж больно на душе муторно. Поверь мне, старику, Спирин, такие мы русские пентюхи, пока нас не разозлить — толку не жди. А кончится все тем же, что с французом в двенадцатом годе. Точно.

Моторист протиснулся к палубному люку. Едва он приподнял крышку, как в отсек, перекрывая рокот мотора, ворвался разномастный грохот. На переборках, будто шарахаясь друг от друга, заплясали красные отсветы. Матрос просунулся в люк и вылез на палубу.

В той стороне, где был Севастополь, сияло багровое зарево. Черные гигантские клубы дыма прорезали острые длинные языки огня. Город горел. Спирину почудилось, что он слышит даже потрескивание жарко горящих деревянных стропил домов. Небо и море кромсали лучи прожекторов, вырывая из темноты плывущих людей, разбитые шлюпки и плоты, несущиеся над самой водой самолеты. Разноцветными пунктирами, пересекаясь, сталкиваясь, рассыпаясь веером, проносились трассы очередей пулеметов и скорострельных пушек. Казалось, что они летят очень медленно, как крупные светящиеся искры

огромного костра.

Спирин вобрал голову в плечи и посмотрел на свой бот. На нем — тьма людей. Трудно представить, как и за что они ухитряются держаться. Ни рубки, ни мостика не видать — только согнувшиеся человеческие фигурки. Водолазный бот до того осел, что протяни Спирин руку за борт, он мог свободно зачерпнуть горстью смолистую, черную воду.

«Плохо дело, — подумал матрос, — одну бомбу, даже не в нас, а рядом, — и опрокинет, поминай как звали».

Высоко вверху засвистело. Сверкнуло. Спирина рвануло с палубы, ударило спиной о кнехт, понесло и бросило вниз. Матрос закричал, и тут же в рот хлынула горькая вода. Захлебываясь, он замахал руками и глубоко ушел под воду.

«Отплавался», — пронеслось в мозгу. Спирин рванулся вверх. Суматошно дергаясь всем телом, как поплавок выскочил из воды. Кашляя и отплевываясь, до боли в затылке завертел головой, закрутился на месте, пытаясь сообразить, что же произошло. Он увидел ставший теперь почему-то значительно дальше клокочущий огнем берег, вернее — залитую розовым светом воду в одной стороне и сплошную черноту в другой. Ни бота,

ни обломков не было. Но самое страшное, чего никак матрос не мог осмыслить, это тишина. Неправдоподобная, недопустимая тишина тогда, когда все должно греметь, обрушиваться буквально потоками, каскадами разных звуков.

«Что это? — испуганно подумал он. — Почему я ничего не слышу?»

Он закричал. От ужаса мелкие колючие иголочки впились в щеки, захолодело под сердцем, потянуло вниз. Он вдруг осознал, что не слышит даже собственного голоса. Впереди горел город. Метались огромные тени. К небу поднимались фонтаны разрывов. Все это он воспринимал зрительно. Звуки ощущал мозгом и телом.

Спирину стало страшно. Страх сковал движения, парализовал волю. Тишина, окружавшая его, все так же, кривляясь в отсветах, молчала, как в немом кино, как в кошмарном сне, когда кричишь и ничего не слышишь.

Матрос, то и дело оглядываясь, поплыл к берегу. Зачем? Он не сознавал, Просто плыл туда, где светло, как мотылек на свет, безотчетно, инстинктивно. Их мирный, гражданский водолазный бот ушел последним, а задержался он на рейде из-за небольшой поломки в моторе и из-за того, что до него не дошел вовремя приказ об оставлении

города, в котором сейчас бьются насмерть разрозненные горсточки бойцов. Они не прикрывают отход — прикрывать некого и нечего, — они не желают сдаваться, предпочитают в последнем отчаянном бою как можно дороже отдать свои жизни.

На берегу его ждала гибель, и все-таки он плыл к берегу. Тяжело поднимая руки и удивляясь тому, как мягко, беззвучно расступается вода, он плыл вперед.

До берега было километра полтора — ночью трудно определить расстояние. Он не знал, да и не задумывался, осилит ли, выдержит или выбьется из сил и утонет в этой черной резко пахнущей бензином жиже.

Его гнал страх, неудержимый, мистический страх перед безбрежностью моря и темнотой. Он не сознавал, что там, куда он плывет, его ждет неминуемая смерть, жестокая, беспощадная и бесславная. Временами Спирин переворачивался на спину и некоторое время неподвижно лежал, шевеля ногами, восстанавливая дыхание и давая отдых рукам. Над ним было небо, россыпь звезд. Лежа на спине, он не видел пылающего города, и ему казалось, что он далеко от войны. Когда же он переворачивался, война опять была рядом.

Он выбился из сил. Один раз у него даже мелькнула мысль: «Может быть, хватит, стоит только замереть, перестать двигаться, и медленно опустишься туда, где нет всего этого ужаса, и не надо будет ни о чем думать. Перестань сейчас же, — выругал он себя. — Умереть никогда не поздно, а вдруг...» Что это за «вдруг», он не думал.

Спирин давно сбросил ботинки и остался только в тельняшке и парусиновых брюках. Берег был ближе и ближе и в то же время становился бледнее и бледнее. Очевидно, там начинал затихать бой и гасли пожары или просто блекла ночь и наступал рассвет.

Неожиданно нога задела за что-то. Спирин оступился и коснулся грунта. Несколько минут он стоял по горло в воде, вытянув руки вдоль ее поверхности, отдыхая и приходя в себя.

Тень от обрыва закрывала зарево.

Отдохнув, он медленно двинулся вперед, еле-еле переставляя отяжелевшие ноги и расталкивая грудью густую и вязкую воду. Едва плечи показались из воды, каждый кусочек тела словно стал наливаться чугуном. Когда он вышел по пояс, идти сделалось совсем невмоготу. Спирин опустился на колени и на четвереньках, останавливаясь и переводя дух, снова и снова карабкался

вперед. Наконец под руками заскользила гладкая прибрежная галька. Спирин выполз на берег и, раскинув руки, ничком упал, уткнувшись лицом в покрытые мелкими бархатистыми водорослями пахучие камни. Отдышавшись, он приподнялся и опять на четвереньках двинулся дальше. В отупевшем сознании билась мысль: надо скорее спрятаться, закопаться, затаиться и, самое главное, полежать, отдохнуть. Ему было безразлично: убьют ли его сейчас или нет — все равно, лишь бы забраться куда-нибудь в щель, в нору, забыться и заснуть…

* * *

«Ну что же ты, Спирин? — Механик склонился над матросом. — Значит, говоришь, нет никаких правов отнимать жизнь у людей? А если они гады последние? Звери если и ироды, тогда как? В тюрьму посадишь? Может, и хлебом кормить будешь с салом? Малахольный ты, Спирин, и все рассусоливания твои дурацкие и интеллигентские. Да и разгильдяй ты, сачок ты, Спирин, и больше никто. В твои-то годы я уже ого-го, хотя и не ученый вовсе. А ты не моряк, а салага бесштанная, одним словом, стюдент и есть. Дизель-то вразнос пошел. Ишь как греется. Морду-то не

вороти. Жжет, а ты терпи. Терпи, говорю…»

Спирин открыл глаза. Яркое белое солнце, горячо припекая, било прямо в лицо. В стороне по небу очень высоко протянулись нежные полоски светло-лиловых и сиреневых облачков. В щеку врезался ноздреватый, как ржаной сухарь, камень. Матрос лежал среди обломков скал, распластавшись на песке.

Он зажмурился и привстал. Мышцы затекли и одеревенели. Хотелось пить, губы совершенно пересохли и потрескались, распухший язык царапал нёбо. Матрос огляделся.

В десяти метрах лениво перекатывалась спокойная и заштилевшая синь. Сзади — высокий, метров в пятьдесят, обрыв в каменистых осыпях и глиняных промоинах, очень крутой, нависающий над береговой кромкой, заваленной одиночными валунами и поросшей кустиками полыни.

Прежде всего Спирина поразила тишина. Он видел редкие набегающие волны, но не слышал их плеска. Видел летающих над ними с раскрытыми клювами чаек, но крик их не доходил до него. Тогда он шлепнул ладонью по песку. Ударил так сильно, что застонал от боли, но не услышал шлепка. И тут, окончательно придя в себя, вспом-

нил, что оглох. И опять противный, гадкий страх пополз в душу. Ведь в случае чего он не услышит ни шагов, ни окриков, ни выстрелов. Подойдут и схватят, как курчонка. Спирин встал и, превозмогая головокружение, полез к круче.

Он находился в небольшой бухте. Ее он видел с бота, когда три дня назад они доставили сюда патроны. Правда, с рейда она казалась ему плоской желтой полоской. Берег был пустынен. Пахло гарью. Валялось несколько опрокинутых повозок-двуколок, оружие, обрывки одежды, спирали ржавой колючей проволоки, каски, россыпи стреляных гильз. Лежало около десятка убитых. Здесь были и свои и немцы.

Он подполз и у одного из них, отогнав рой крупных золотисто-зеленых мух, отстегнул от пояса флягу. Превозмогая тошноту, напился теплого и кислого вина. Затем забрался в небольшой, закрытый со всех сторон камнями грот, лег на живот, спрятал в тень гудящую голову, опустил лицо на руки и задумался. «Судя по всему, я нахожусь недалеко от бухты Стрелецкой, — думал он. — В ней и стоял бот, когда немцы заняли Херсонес. Защитники Севастополя ушли морем, погибли или прорвались в горы к партизанам. Значит, фашисты со всех сторон. Что же делать?

Дождаться ночи и попытаться, держась моря, берегом пройти в город, спрятаться в развалинах? А зачем? Дальше что? В городе я никого не знаю, да и любой патруль тут же схватит и отправит в лагерь. — О том, что его просто пристрелят без разговоров, он даже не допускал мысли. — Вдоль берега моря тоже далеко не уйдешь — немцы во всем Крыму, до самой Керчи. А если в горы? Идти ночью. Ползком от балки к балке, по руслам высохших ручьев, по заброшенным окопам и траншеям до Симферопольского шоссе, а там через заросли напрямик. А пить-есть что?» Он почувствовал нестерпимый голод, поднялся и поковылял к воде: «Поищу в ранцах у убитых». Но тут же его начало мутить, он вспомнил, что у своих давно ничего не было, дней пять назад с продовольствием стало совсем туго, а немецким он брезговал. Проглотив вязкую, наполнившую рот кислую слюну, он двинулся дальше.

«Может, перебьюсь как-нибудь. На худой конец, и в плену ведь люди живут. А что, главное жизнь сохранить, а там посмотрим. Кому хочется умирать в девятнадцать лет? Тем более, что и жить-то еще не жил да и сделать ничего путного не успел. А тут не будет тебя, даже представить себе страшно. Все кругом будет, а тебя нет, денешься

куда-то. — От этих мыслей Спирина бросило в пот. — Не надо об этом. Лучше не надо».

Матрос приблизился к берегу метров на пять, когда неожиданно из-за торчащих пирамидками из воды острых кустов гранита появился зеленый моторный баркас. На его бортах белилами было выведено неровными буквами «Кефаль».

Спирин плюхнулся на песок, ящерицей метнулся в камни и замер, спрятавшись между зеленовато-бурых облепленных мелкими ракушками скал.

Баркас неторопливо, точно подкрадываясь, двигался вдоль берега. Из выхлопной трубы вылетали колечки голубоватого дыма. Спирин надеялся, что баркас пройдет мимо, но тот вдруг резко повернул и направился прямо к берегу. Матрос теперь ясно различил — в нем сидели четверо. Два немца в форме, девушка и человек в морской робе.

Спирин затаил дыхание и теснее прижался к шершавому, остро пахнущему морем камню. Баркас между тем ткнулся носом в песок. На берег легко выпрыгнул молодой длинный и худощавый немец в серо-голубом с расстегнутым воротом кителе, перетянутым ремнем, на котором висел широкий кинжал. На солдате были короткие

сапоги и маленькая, пирожком, пилотка.

Спирин видел открытое, красивое, с правильными чертами лицо немца. «В нем и страшного-то ничего нет, — подумал он. — Человек как человек. Скорее всего, учитель или служащий, по всему видно, вполне культурный. Ни капельки не похож на тех волосатых горилл, которых рисовали у нас на плакатах».

Солдат неторопливо огляделся, выкинул на берег небольшой шлюпочный якорь, закрепил канат, кому-то помахал рукой, не спеша отошел метров на пять, расстегнул брюки и, ухмыляясь, стал мочиться.

«Вот свинья, — вспыхнул матрос, — хоть бы девушку постеснялся, нахал».

Из баркаса, тяжело переваливаясь, вылез второй немец, маленький, толстенький, похожий на гнома. Улыбаясь во все круглое, как ситный каравай, лицо, он, что-то лопоча и разводя коротенькими пухлыми ручками, присоединился к своему товарищу.

«И этот туда же, а ведь, наверное, благополучный отец семейства, по воскресеньям там у себя со всеми домочадцами степенно шествовал в кирху…»

Справив нужду, оба вернулись к баркасу и, пе-

реговариваясь между собой, не то ругаясь, не то что-то обсуждая, вытолкнули на гальку девушку. Она испуганно попятилась от них, споткнулась и, поджав ноги, присела на камень. Спирину показалось, что она то ли плачет, то ли пытается что-то объяснить немцам. Человек в морской робе, прихрамывая, выбрался на берег сам. Он встал так, будто хотел заслонить собой девчонку, закрыть ее от солдат своим израненным телом. Моряк что-то гневное кричал в лицо врагам.

Немцы перестали спорить и, словно чему-то удивляясь, уставились на моряка и девчонку. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать, высокая и стройная, одетая в светлый, в горошек, не доходящий до колен сарафанчик. Лицо овальное, еще детское, обрамляли золотистые с темно-рыжим отливом длинные, прихваченные у затылка ленточкой волосы.

Высокий немец строго насупил брови. Взял с носовой банки автомат. Спирин не сразу сообразил, что произошло дальше. Сверкнула вспышка… На белой робе пожилого матроса проступили три красных, обведенных копотью пятна, и он, будто сломавшись пополам, упал лицом вниз.

«Он же его убил, убил! — задохнулся Спирин. — Убийца! За что? Да как он смел! Зверь! Лишить

жизни человека, да еще раненого калеку. Злодей!» Внутри все задрожало, ярость, жгучая, готовая выплеснуться, переполнила Спирина, не давала дышать…

Коротышка-фашист вяло махнул рукой и направился к воде. Он расстегнул ремень, скинул китель и вязаную майку, обнажив белое, в крупных желтых веснушках, рыхлое тело, присел и стал снимать сапоги. Длинный, теперь он не казался Спирину красивым, оценивающе посмотрел на оцепеневшую от ужаса девушку и не спеша тоже стал раздеваться. Тем временем толстый, совсем голый, размахивая майкой, вприпрыжку, неуклюже засеменил короткими ножками к морю. Зайдя по пояс, он обернулся и стал что-то напевать, шлепая по воде ладонями и брызгаясь. Длинный сбросил китель, шагнул к вскочившей с камня девушке, резким движением схватил ее за сарафан на груди и одним рывком сорвал его вниз, разодрав в клочья.

Матрос закусил губы, до боли в суставах вцепился в подвернувшийся под руку круглый булыжник.

Гитлеровец оскалил зубы, вывернул девушке руки и, зажав их в своей лапе, повалил ее на песок.

Жуткий, нечеловеческий вопль больно, как кнутом, стеганул матроса по ушам. Спирин даже не успел удивиться тому, что снова слышит. Слышит крик! Не отдавая себе отчета, он, как пружина, выскочил из-за камней и, размахнувшись, ударил по аккуратно подстриженному затылку сопящего немца. Брызнула кровь. Матрос еще дважды опустил камень и по-кошачьи, на одних носках полусогнутых ног повернулся к коротышке, сидящему в воде. На матроса глядели расширенные, круглые и выпуклые, как шары, почти вылезшие из орбит, белые от страха глаза. Рот его, с блестевшими в нем золотыми зубами, то открывался, то закрывался — словно немец все время зевал. На миг у Спирина мелькнула мысль, что тот кричит, а он опять потерял слух.

Рассекая воду ногами, высоко подняв над головой тяжелый камень, он двинулся на фашиста.

Вероятно, толстяк не умел плавать. Он, будто пересиливая себя, размахивал руками с растопыренными пальцами, пытаясь прикрыться ими, и пятился назад. Взгляд его метался от искаженного яростью лица матроса на окровавленный камень. Вода достигла горла. Он захлопал жирными губами, погрузился с головой, но тотчас выскочил почти по грудь.

Спирин, размахнувшись, ударил камнем прямо по мокрому квадратному лбу между огромных, как у совы, глаз…

Немец исчез в воде и больше не всплывал. Вода окрасилась в густой красный цвет…

Спирин подождал немного, швырнул камень туда, где скрылся толстый, и, покачиваясь из стороны в сторону, побрел к берегу. Он окончательно понял: к нему вернулся слух. Он слышал, как шлепнулся камень, как шелестит, набегая на берег, волна, а в чистой и высокой голубизне неба шмелем гудит самолет.

Девушка стояла на коленях, сложив руки ладонями вместе, прижав локти к груди, закусив зубами кончики пальцев. Вся она дрожала, лицо нервно подергивалось. Плечи были испачканы кровью, распустившиеся волосы, отсвечивая красной медью, закрывали ее почти до пояса.

Спирин вышел из воды, бессильно опустился на песок и, запинаясь, тихо произнес:

— Идите… Искупайтесь. Кровь смойте.

Его вырвало. В груди была пустота, на лице и спине выступила испарина, в ушах зудел звенящий на одной ноте, вибрирующий, то удаляющийся, то приближающийся звук.

Девушка неторопливо, несколько раз боязливо

оглянувшись на него, вошла в воду, присела и стала умываться. Закончив, она окунулась, обмоталась остатками сарафана и подошла к матросу.

— Наденьте… пожалуйста… — Спирин снял с себя тельняшку, выжал и протянул девушке.

Она, высоко подняв руки, надела тельняшку и, нагнувшись немного вперед, попыталась оттянуть ее как можно ниже, прикрыть бедра.

— Подождите. — Он, пошатываясь, преодолевая головокружение, поднялся, подошел к лежащей на земле форме длинного фашиста и взял ремень с кинжалом.

— Подойдите сюда. И перестаньте трястись, ради бога! Самому муторно. Стойте спокойно.

Вынув кинжал, он оттянул тельняшку сбоку и одним круговым движением разрезал ее поперек.

— Эту половину опустите. Вот вам и юбка и блузка. Завяжите чем-нибудь. Или ремнем затяните. Сами сообразите или помочь?

— Не надо, я сама. — Девушка в страхе, как от змеи, отшатнулась от ремня. — Не хочу, не надо.

— Теперь этого нужно спрятать. Берите за ноги.

Девушка, придерживая тельняшку, обернулась к лежавшему немцу. Неожиданно она побледнела.

нела, ноги ее подкосились, вся сотрясаясь от истерических рыданий, она закрыла лицо руками и упала на песок.

— Перестаньте. Тихо! — Спирин оттащил труп, бросил его в камни, подошел к воде, сполоснул руки и вернулся к девушке.

— Хватит, хватит. Довольно. Прошло уже все. Давайте-ка подумаем, что делать дальше, — он положил руку на ее вздрагивающее плечо. — Все уже позади, успокойтесь. Нужно дождаться темноты, и, если до этого нас не обнаружат и не ухлопают, уйдем в море.

— Но куда, кругом только немцы… — девушка оторвала руки от лица и умоляюще посмотрела на матроса. — Они везде. Хватают и убивают абсолютно всех без разбора.

— Без разбора? — Спирин вспомнил слова механика. — Значит, для них мы все враги. И калеки, и женщины. Для фашистов — да, враги. Ничего. До ночи отсидимся в камнях, а там увидим. Помогите мне. Наклоним баркас, для маскировки, если кто заметит, подумает, просто выбросило на берег, мало ли что здесь валяется.

Они завели баркас между камней. Навалившись на один борт, под другой подложили камни. Потом матрос взял автоматы и пошел к гроту, в

котором прятался утром.

— Идите сюда, — позвал он, — стрелять умеете?

— Только из малокалиберной винтовки.

— И то ладно. Я тоже больше теоретик. Лезьте. И главное, тихо. Нас не видно ни с берега, ни с моря. Вот и затаимся до темноты. Если повезет и не обнаружат — может, проскочим.

Девушка села, прислонилась спиной к коричневому теплому, в ракушечных лишаях, шершавому валуну, подтянула ноги к груди, повернулась к Спирину боком, обхватила колени руками и положила на них голову.

— Как вы сюда попали? Вернее, где вас схватили? — Спирин внимательно посмотрел на нее.

— В городе. Мы прятались в подвале под развалинами с дядей Мишей, с тем, которого убили, он был вестовым у отца. Не успели вовремя поспеть на корабль и остались. Ранили дядю Мишу в ногу осколком, сильно очень, так кровь и хлестала, еле остановили. Потом появились фашисты. Вытащили нас из подвала и повезли куда-то. Так было страшно. — Девушка всхлипнула. — Так страшно… Бедный дядя Миша, он такой добрый, хороший!

— За что они его? Я был оглушен и не слышал,

что он им говорил.

— Меня защищал, просил, чтобы не трогали, что сирота я.

— Как вас зовут?

— Миля.

— Что-что? Миля? Интересно, какая — морская, сухопутная? — Спирин усмехнулся и подумал: «Отвлечь ее необходимо, чтобы окончательно в себя пришла».

— Эмилия правильно. А дома называли Миля. Мы из Латвии.

— То-то я смотрю, акцент у вас, а какой, не пойму. Ну, а я Спирин Константин, Костя, житель древнего города Керчи. Закончил один курс биологического, прикатил отдыхать к своим и застрял. Райком направил на буксир помогать братьям-кочегарам. А откуда вы приехали в Севастополь?

— Раньше жили в Одессе, но папа из Латвии. Был латышским стрелком, потом командиром в морской пехоте, и вот перевели служить сюда. — Она насторожилась и подняла голову, прислушиваясь.

— Кажется, наверху кто-то идет. Да, да, я слышу, разговаривают несколько человек по-немецки. Боже, опять все сначала! — Она закрыла лицо

руками. — Не вынесу я больше… — Голова ее упала на колени, и плечи затряслись в беззвучном рыдании.

— Тише вы. — Спирин замер. — Пока я жив, ничего с вами не случится. Только успокойтесь, пожалуйста. Они нас не видят — им солнце прямо в глаза.

Теперь и он отчетливо слышал, как по гребню, громко переговариваясь, шли люди. Сомнения не было — это враги, больше некому. Спирин оттянул затвор автомата. Лишь бы не заметили баркас. Их-то самих не видно, обрыв слишком крут, да и идут, вероятно, не по самой кромке.

Наверху остановились прямо над тем местом, где сидели матрос и девушка. Кто-то засмеялся. В воду полетел камень и булькнул метрах в пяти от берега. Другой голыш, наверное отфутболенный ногой, скатился к самому гроту. Спирин, несмотря на боль в ушах, с поразительной четкостью слышал все эти звуки. Он не замечал, что, прижавшись к девушке, притиснув ее спиной к камню, еле шевеля губами, повторяет: «Тихо, тихо».

Наверху опять громко, не таясь захохотали, затопали. Затем шаги медленно стали удаляться.

— Я не могу больше. Не могу! — девушка рвану-

лась, пытаясь встать.

Спирин, теряя равновесие, выронил автомат. Он понял, у нее истерика, она сейчас закричит, отчаянно, исступленно. Она не понимает, что делает. Их услышат, и тогда наверняка конец. Он повернулся к ней и зажал одной рукой рот, другой пригнул к земле голову. Девушка извивалась, стремилась вырваться. Лицо ее перекосилось, зрачки расширились, глаза стали почти черными, волосы перепутались. Спирин тяжело дышал, пот заливал глаза, но он все сильнее прижимал ее к земле, плотнее закрывая ей рот. Наконец тело ее обмякло, ослабло. Сделав еще несколько движений, она затихла.

Матрос осторожно положил себе на колени ее голову и стал тихо гладить ладонью волосы, приговаривая:

— Вот и прошли они. Видите, все в порядке. Все нормально. Все хорошо. Будьте умницей. Не надо, милая, не надо, милая…

* * *

Море было спокойно. Ленивые малахитовые волны, вобрав в себя дневной зной, теперь словно пытались вернуть его обратно. Па́рило. Солнце скрылось за горизонтом. С берега поползла те-

мень. Сначала лиловая, затем синяя и, наконец, бархатная, южная. Высоко над кручей бледно засветились звезды и, загораясь ярче и ярче, покатились, отражаясь в воде, к спрятавшемуся солнцу…

— Вставайте. — Спирин слегка потряс девушку за плечо. — Нужно торопиться. Темнеет здесь быстро. Пойдемте баркас подготовим, пора уходить. Как себя чувствуете?

— Ничего, спасибо, только тело горит, как обожженное.

Спирин помог ей встать, поднял автомат, стряхнул с него прилипший песок и, поддерживая девушку, направился к воде. Молча, стараясь не шуметь, они освободили баркас от камней, поставили его на ровный киль, перерезали якорный канат и столкнули в воду.

— Подождите немного. Лезьте в баркас и не шевелитесь. — Моторист выпрыгнул на гальку. — Сейчас я, одну минутку. Не бойтесь, здесь никого нет, я скоро.

Он подошел к телу пожилого матроса. «Может быть, никто никогда не узнает, где и как нашел ты, смелый человек, свою смерть. Но похоронимто мы тебя по-людски».

Спирин кинжалом в гальке у большого круг-

лого камня выкопал могилу и положил в нее застывшее тело матроса. «Вот так будет ладно. Никто тебя больше не потревожит, моряк». Несколько мгновений он, склонив голову, постоял в молчании над небольшим холмиком. Затем ладонями разровнял песок. Не оборачиваясь, побежал к баркасу.

Девушка, прижавшись к теплому пахнущему смолой борту баркаса, ждала его.

— Дядю Мишу вашего похоронил. Теперь можно уходить, — он стал возиться с мотором.

Двигатель был в порядке, затарахтел так неожиданно и оглушительно громко, что Спирин даже присел, резко сбросил газ и взялся за румпель.

— Взгляните, что там, у фрицев, — он кивнул туда, где лежал рюкзак, заспинный термос, маленький дубовый анкерок и металлическая ярко-желтая канистра.

— Продукты какие-то, бензин. В термосе вино. В бочонке, по-моему, вода. И эти штуки, я не знаю, что это, — она показала на две большие противотанковые гранаты.

— Осторожно! Это гранаты! Смотрите, чтобы они не свалились, придавите мешком. А сами ложитесь на дно.

Баркас задним ходом попятился из бухточки,

развернулся и ходко пошел в море…

* * *

Трудно сказать, было ли это везением или удачей, но они благополучно выбрались из залива.

Четвертый час мерно, убаюкивающе стучал мотор. Спирин сидел на корме, на свернутом в бухту пеньковом тросе. От двигателя струился такой знакомый запах машинного масла и теплого металла, что на душе становилось спокойнее и увереннее.

Девушка спала. Моторист чувствовал к ней заботливую нежность, как к младшей сестренке, оставшейся без родителей на его попечении.

Спирин держал курс на далекую, повисшую почти у горизонта розоватую звездочку. Все было спокойно.

В вышине одиноко прогудел и прошел стороной самолет. По натужному прерывистому звуку матрос определил: немецкий. «Сколько мы уже прошли? — подумал он. — Наверное, миль сорок — пятьдесят. Мало. Очень мало». Последнее горючее из канистры он перелил в бак полчаса тому назад.

Начинался рассвет. Слева вдали розовело. Спирин немного подвернул и направил баркас туда,

где над серебристой гранью вот-вот должно было появиться солнце.

Внезапно двигатель фыркнул и заурчал на другом тоне. Спирин прибавил обороты, но мотор стал давать перебои и, наконец, замолчал совсем. Бензин кончился. Моторист разогнул затекшую спину, встал и до боли в суставах потянулся всем телом.

— Вы не спите? — спросил он, хотя прекрасно видел, что девушка повернулась на спину и широко раскрытыми глазами смотрит на него.

— Нет. Уже выспалась. А почему мотор заглушили? Сломался или решили отдохнуть немного? Вы же всю ночь просидели за рулем.

— Я бы просидел еще две, но горючее все сожгли.

— А где мы сейчас? Отошли далеко? — она привстала.

— Отошли далеко, а вот где находимся, понятия не имею, но, скорее всего, ближе к своим, чем к немцам. — Спирин оглядел горизонт.

— Будем дрейфовать. По течению. Если опять повезет — к своим прибьемся.

Он понятия не имел о направлении течений в Черном море, но еще раз уверенно повторил:

— Прибьемся к своим. Точно. Да и весло есть.

Правда, всего одно, но и то хлеб, подгребем, времени у нас навалом. А сейчас можно и отдохнуть. Вы здорово проголодались?

— Вообще-то да. И пить хочу. — Девушка тихо засмеялась и поднялась.

— Я искупаюсь, а вы хозяйничайте. Возьмите в рюкзаке что нужно и накрывайте. Добро?

— Ладно. Я быстро приготовлю, но если можно, напьюсь сначала.

— Держите. — Он взял бочонок и, перешагивая через банку, передал ей. — Пробку вытащите и пейте. А вина не хотите?

— Что вы, спасибо, лучше воды.

Она пила, запрокинув голову. Тонкие, хрустальные струйки бежали вдоль уголков рта.

Спирин снял брюки, подтянул трусы и прыгнул в воду. Он отплыл метров на сто. Долго барахтался, нырял и плескался, чувствуя, как тело становится сильным и упругим. Когда он вылез, на средней банке лежали консервы, шоколад и галеты.

— Прошу к столу, — приветливо улыбнулась Миля. — Только банки откройте, здесь тушенка и смальц.

Наевшись, они сели друг против друга, прислонившись к внутренней обшивке бортов.

— Как красиво, правда? — Девушка показала рукой на море. — Прямо лазурное. И почему его назвали Черным, удивляюсь.

— Когда-то, очень давно, древние греки назвали его Понт Эвксинский: гостеприимное море. — Спирин уселся поудобнее. — Тропическая растительность, аромат цветов, кипарисов и лавров. Наши предки окрестили просто Русским. А вот почему Черное — существует несколько мнений. Турки, например, зовут его Караденгиз — Черное, враждебное. Кое-кто считает, своим названием оно обязано частым штормам или тому, что металлические предметы, опущенные на глубину, чернеют от сероводорода.

— Откуда вы все это знаете? — девушка с интересом посмотрела на него. — В институте проходили?

— Нет, там другие предметы. А знаю потому, что читал много, особенно о путешествиях и приключениях. В землепроходцы готовился, биолог должен быть человеком непоседливым, — он задумался. — Жаль, ветерка нет, понесло бы потихонечку. — Спирин разомлел. Веки тяжелели. Хотелось спать.

— Вы очень утомились. Знаете, — девушка встала, — идите сюда, в нос, отдохните. Ведь все равно

делать нечего. А я посижу. Пока тоже искупаюсь и постираю. Только не смотрите, пожалуйста.

— Действительно, я прилягу. Шатает что-то. А вы, чуть что, разбудите. Договорились?

— Хорошо, хорошо. Ложитесь.

Матрос, засыпая, чувствовал, как она подкладывает ему под голову рюкзак.

«Интельгент ты, Спирин, прослойка, одним словом, — голос механика гудит монотонно и глухо. — Вырос лоб, дай бог, только бы кувалдой размахивать. А ты свое задолдонил — каждая тварь жить хочет. Да на кой она тебе, тварь-то? Пусть хорошее живет. Эх, был бы я таким. Ведь все при тебе: и кожа и рожа. А ты обратно — букашек разводить, жизни никого не лишать? А как же ты фрицев-то угробил, Спирин, а? У них тоже где ни-то в Германиях и матери и дети имеются. Ревут, поди. А ты их пожалей, слезу пусти, приголубь. Нехай снова убивают, насильничают, над людьми измываются. Парень-то ты добрый. А ведь доброта такая хуже воровства. Слюнтяй ты, Спирин. Тьфу, и только, плюнуть и растереть. А немцев-то небось уложил. Начинаешь понимать что к чему. То-то, значит, каким ни на есть, а человеком становишься…»

Спирин застонал и заметался во сне.

— Костя! Костя! Проснитесь, пожалуйста.

Матрос открыл глаза и сел. Испарина покрывала его с головы до ног. Солнце пекло.

— Вы во сне кричали, вот я и решила разбудить, уже полдень. — Девушка стояла над ним. Она искупалась. Успела высохнуть и ее неприхотливая одежда.

— Спасибо, что растолкали. Приснится же чушь разная.

Он замотал головой, словно окончательно стряхивая дурной сон, и посмотрел на Эмилию.

— А вы совсем обгорели, вся красная, как рак вареный.

— И правда, все тело горит невыносимо. — Она передернула плечами, — я не люблю загорать. У нас, прибалтов, кожа весьма реагирует на солнце. А вы, кстати, тоже похожи на латыша или на эстонца. Высокий, блондин. Глаза у вас серые, а нос римский.

— Римский? Правда? Понятия не имел, но раз вы считаете, значит, так тому и быть.

— Конечно, — подхватила она, но тут же, покраснев, добавила: — Мне так кажется. И вообще вы очень хороший, Костя, очень!

— Да, вы здорово обгорели, и если начнет слезать лоскутами ваша белая кожа да еще под-

нимется температура, то что мне прикажете делать с вами здесь, посреди Черного моря? Я не врач, а моряк. Правда, как говорил механик, еще салага, ну да ничего, поживем — научимся. Я к биологии до тех пор не вернусь, пока последнего из этих мразей с нашей земли не вышвырну. Точно.

— А я хотела пойти учиться в балетное училище, у меня мама была артисткой, балериной.

— Почему была? Бросила это занятие?

— Она умерла накануне войны от туберкулеза.

Несколько минут они молчали.

— Давайте вот что сотворим. — Спирин встал и взял консервную банку. — Раздевайтесь-ка.

— То есть как это? — Миля невольно отстранилась от него. Ее голубые большие глаза сузились и потемнели.

— Ну как, совсем. Как говорят на флоте, до «формы ноль».

— Вы с ума сошли! Вы думаете, что предлагаете?

— С ума я не сошел: предлагаю намазать вас смальцем, и все. Бояться вам нечего!

Эмилия пристально посмотрела на матроса, повернулась к нему спиной и начала раздеваться.

Спирин зачерпнул из банки смалец и стал осто-

рожно втирать его ей в кожу.

— Не дергайтесь! — говорил он, когда девушка морщилась от боли. — Спереди сами смажете. Держите банку, а я еще прикорну. Что-то голова гудит. — Он залез в тень под носовой люк. — Когда подсохнете, наденьте мои брюки, я и одними трусами обойдусь.

Проснулся он от того, что Эмилия теребила его за ноги.

— Костя, катер идет! Костя!

Он быстро вскочил.

— Какой катер? Где?

— Вон он. Видите? К нам мчится. Это, наверное, немцы опять, господи, — она всхлипнула. — Я не сразу заметила, откуда они появились, как из моря вынырнули.

В полумиле от баркаса Спирин увидел приближающееся судно. По бурунам вокруг форштевня он сразу определил — торпедный катер. Мелькнувшая надежда, что это свои, тут же погасла: на гафеле развивался флаг с черной свастикой в центре.

Матрос в растерянности, точно надеясь на какую-то помощь, огляделся. Вокруг сплошное безбрежное море. Спокойное, в искорках, вспыхивающих на синей водной глади. На миг его

охватила опустошающая безысходная тоска. Часто забилось сердце, мелко задрожали руки.

— Что же делать, Костя? Они нас застрелят или возьмут в плен. — Голос девушки вывел его из оцепенения.

— В плен? Ну нет, шалишь! Это только такой идиот, как я, мог думать о том, чтобы сдаваться, когда лежал в камнях. Теперь амба, отрезвел.

— Костя! Они убьют нас, Костя! — девушка почти кричала.

— Да тише вы. Перестаньте, мы еще живы.

Он лихорадочно глазами обшарил баркас. Взгляд остановился на лежащих на кормовой банке противотанковых гранатах. Вот оно! Костя прыгнул на корму, оттолкнул девушку в сторону и крикнул:

— Быстро в нос! Лягте под банку и замрите, голову рюкзаком прикройте.

Спирин схватил гранату и осмотрел. «Тяжелая какая, ну да ничего. Все в порядке». Рядом в зеленом клеенчатом протертом на сгибах чехле лежали длинные, как карандаши, отсвечивающие бронзой запалы. Он отодвинул чеку и вставил запал. Потом лег грудью на транцевую доску и, зажав гранату в руке, не сводя глаз с врага, стал ждать.

Катер приближался.

На палубе появилось несколько человек. Они что-то кричали, размахивали руками, то ли приказывали, то ли требовали. Он ничего не понимал, но тоже помахал рукой над головой.

Катер шел прямо на них. Он был уже метрах в пятидесяти. За ветроотсекателем стоял командир в высокой с «крабом» фуражке, сзади — матросы в черных с ленточками бескозырках.

Катер развернулся, намереваясь подойти параллельно к борту баркаса. И тут Спирин заметил открытый настежь люк моторного отсека. «Сюда и брошу», — решил он.

Немцы снова что-то прокричали.

— Я, я, бите шен, — ответил матрос первое, что пришло в голову.

До катера оставалось метров пятнадцать. Пора.

Спирин, изогнувшись, взмахнул рукой и бросил гранату. «Только бы попасть! Только бы попасть!»

Граната описала дугу и, как мяч в баскетбольную корзину, упала в люк.

Спирин прыгнул вниз и прижался к днищу.

Ухнул взрыв…

Баркас словно вырвало из воды, швырнуло в сторону, закачало и понесло.

Моторист выглянул из-за транца: катер, нелепо вздыбив палубу в самой середине, кренился на правый борт. Корма его погрузилась в воду.

— Получай, негодяи! Вот вам и плен и убийства, звери! — С каким-то отчаянным весельем Спирин метнул вторую гранату в наполовину затопленного фашиста.

Взрыв был еще сильнее, болью отозвался в ушах и затылке. Над баркасом с жужжанием и визгом пронеслись осколки, часть их впилась в борт, банки, тело матроса. В воздух взметнулись щепки и куски оторванной обшивки.

Превозмогая боль, Спирин встал.

На поверхности качались обломки, трупы, огромными кругами расходились волны, расплывалось большое радужное пятно. Тошнотворно пахло взрывчаткой и синтетическим бензином.

Он оглядел баркас: надводный борт и транец изгрызены осколками. Краска содрана, ощерились свежие царапины на дереве, они шли до самого форштевня.

По спине и плечам моряка струилась кровь.

— Миля! Миля! — позвал Спирин. — А вы говорили, плен. Черт им с рогами! — Его начинало одолевать безудержное веселье. Он запрокинул голову и захохотал, захохотал громко, до спазмов

в животе. Стоял и смеялся. Слезы выступили на глазах, лицо побагровело. Он задыхался, как от щекотки, но продолжал смеяться. Затем, сжав кулаки, медленно, теряя сознание, опустился на дно баркаса.

* * *

Командир подводной лодки Щ-205, находящейся в дальнем дозоре, сидел в центральном посту.

— Товарищ капитан третьего ранга, — раздался голос старпома» — акустик докладывает: шум винтов торпедного катера по пеленгу 190, дистанция — десять кабельтовых.

— Всплывайте под перископ. — Командир встал, протер глаза и прильнул к окулярам.

— Сильный взрыв в том же направлении, — донесся доклад акустика. — Еще один, там же.

— Вижу. Боцман! Всплытие!

Несколько минут спустя подводники обнаружили избитый осколками и опаленный баркас. В нем находились тяжело раненный перевязанный обрывками тельняшки юноша и совершенно седая девушка.

А. Воронцов
А МАШИНЫ ШЛИ...
(Рассказ)

Где-то вдали от них, в нескольких километрах севернее, нескончаемой вереницей шли машины. Конечно, Юра и Вася не видели их. И даже гула моторов не слышали. Но мысленно могли себе представить, как они идут. Двумя встречными потоками, тяжело надрываясь двигателями на трудных участках трассы, иногда обгоняя друг друга, упорно пробиваясь к цели.

А у них здесь, в снежной выгородке, было тихо и пустынно. Лишь потрескивал лед на озере, хрустел снежок под валенками, когда юнги переминались с ноги на ногу, да ветер посвистывал, подгоняя морозную пыльцу. И на километры в любую сторону — ни жилья, ни живой души.

— Ну и холод, — пританцовывая, выдохнул Вася целое облако пара, — аж до печенки продират, окаянна!

— Ничего, теперь немного осталось, — отозвался Юра, — почти совсем рассвело.

— Скоро, чай, опять темнеть будет, — съехид-

ничал Вася. — Здесь это запросто. Январь: ни света, ни тепла.

— Не канючь, — оборвал друга Юра. — Наблюдай получше, а то разговорился…

— Зря беспокоишься, — обиделся Вася. — Комсомольцы-добровольцы службу знают. Зря хлеб есть не будем, особенно ежели его и дают-то с гулькин нос.

И он замолчал, как обрезал. Будто его морозом сковало.

Упоминание о хлебе нытьем отозвалось у Юры в животе, там властвовала хроническая пустота. Но он постарался подавить чувство голода и стал еще внимательнее всматриваться в даль.

Они с Васей которую уже ночь проводили в этом тесном ледовом загоне — иначе не назовешь небольшую площадку, огороженную снежным валом, сверху политым водой. Впрочем, было у нее и официальное название: пулеметная точка. И прямым подтверждением этому служил станковый пулемет «Максим», установленный на бруствере. Он был всегда заряжен и стволом направлен на юг, в сторону захваченного немцами берега.

* * *

На «точку» ребята прибыли часа три назад.

— Ну вот, юнгаши, дотопали, — сказал сопровождавший их главный старшина Петров. — Занимайте позицию и смотрите в оба. Задача ясна?

— Ясна, — в один голос ответили Юра с Васей, сочувственно глядя на двух своих товарищей, которых они сменили. У тех зуб на зуб не попадал.

Петров был у ребят командиром взвода. Он наставлял их в строю и вне строя, при каждом удобном случае. И они знали боевую задачу наизусть.

— Чтоб ни одной живой души не проскользнуло, — добавил Юра много раз слышанную фразу.

Главный старшина еще раз обвел Юру и Васю и вообще всю огневую позицию испытующим взглядом, удовлетворенно усмехнулся.

— Бодрость — это хорошо, — подтвердил он какую-то свою мысль. — Но и уметь кое-что надо. Пулемет проверили?

— Так точно, проверили, — на правах старшего подтвердил Юра.

— Ну-ну, добре, — сказал главный старшина, от которого ничего не ускользало. — В одну точку долго не смотрите, а то глаза застилать будет,

всякая чертовщина может показаться. Да не забывайте постреливать, мороз вон какой, за тридцать будет, и с ветерком.

Нет, не зря промеж себя юнги звали своего комвзвода «дядя Коля инструктаж». «Постреливать» — значило через определенные промежутки времени давать короткую очередь из пулемета, чтобы в кожухе вода не замерзла. И каждый из ребят помнил об этом.

Когда Петров ушел, Юра и Вася привычно, по-хозяйски, обосновались на позиции.

— Ты наблюдай пока за той стороной, а я буду здесь, — сказал Юра, становясь у пулемета.

— Сама ветрена сторона, собака, — буркнул Вася, занимая свое место. Ему досталось стоять лицом на север, откуда дул ветер. — Прохладит нас сёдни. Видал, ребята-то как умерзли.

Он поднял воротник тулупа, плотнее запахнул полы и повернулся к Юре спиной…

* * *

Ветер, сильный, порывистый, гнал по насту и ледяным плешинам ручейки мелких снежинок. Натыкаясь на бруствер, они, шелестя, обтекали его стороной или с посвистом перескакивали через верх, на мгновение вспыхивая холодны-

ми серебристыми искорками. «Ишь ты, вроде бенгальских огней, — подумал Юра. — Только слабые больно и мелкие».

От такого сравнения на душе у него потеплело. Вспомнилась уютная комнатка на Васильевском острове, новогодняя елка. Давно это было, больше года назад, еще до войны. И ему вдруг показалось, что слышит он легкую музыку, видит улыбающиеся лица ребят-одноклассников и среди них, особенно ярко, ее лицо — Люси Малиной. Какой она была тогда беззаботной, веселой.

Люся нравилась Юре. Ему все время хотелось быть рядом с ней, видеть ее наивно-удивленные глаза, слышать радостный смех. После встречи Нового года они вышли на улицу, гуляли по Большому проспекту, играли в снежки. Потом прогулялись по набережной Невы. «В этом году нам будет по семнадцать, — говорила Люся, — вся жизнь впереди».

Разве можно было тогда подумать, что через несколько месяцев ее не станет? И вообще жизнь так резко изменится, и он, Юра, будет морозными ночами стоять на льду Ладожского озера у пулемета «Максим» и напряженно ждать, не появятся ли тут фашисты.

Мысль о фашистах заставила Юру вернуться

к действительности. Он вдруг отчетливо и в каком-то новом свете представил себе, где он и что с ним происходит. И зачем поставлена эта пулеметная точка. И ради чего они с Васей, оба голодные и утомленные длительным ожиданием, должны мерзнуть вдали от жилья, от родных и близких. Представил Юра и по доброму усмехающееся лицо комвзвода — «дяди Коли», когда он напоминал: «Не забывайте постреливать». Да-да, конечно, вода в кожухе не должна замерзнуть. Юра пошевелил пальцами обеих рук, разминая окоченевшие суставы, снял для верности рукавицы, дохнул в ладони и, взявшись за рукоятки «Максима», нажал на спуск.

Короткая очередь протрещала сухо и хлестко. Звук ее скользнул над ледяным безмолвием и потонул в ночи.

Отодвинувшись от пулемета, Юра опять подул в ладони, надел рукавицы, похлопал ими друг о друга, попрыгал на месте. Затем обернулся к Васе. Тот при звуках выстрелов встрепенулся было, но снова затих.

— Вась, а Вась, ты не замерз? — спросил Юра.

— Ничо, терпимо, — отозвался Вася, подавляя зевоту. — Тулуп помогат. Рожу только покалыват, злюка проклятая.

Родом Вася был из деревни. Говорил немногословно, протяжно, будто припеваючи, и нещадно окал. По сравнению с интеллигентным ленинградцем Юрой выглядел этаким увальнем. Но неказистый на вид, низкорослый и малоподвижный, он между тем обладал необычайной для семнадцатилетнего парнишки внутренней энергией, которая подспудно дремала в нем, будто туго скрученная пружина, готовая вот-вот распрямиться. Возможно, поэтому на его широком, округлом лице постоянно блуждала хитроватая ухмылка. Она как бы предупреждала всех сомневающихся в его возможностях: «Уж я-то себе цену знаю, за меня не беспокойтесь».

Юра даже в темноте представил себе эту ухмылку. Представил и то, как жесткий, колючий ветер пытается согнать ее с Васиного лица.

— Может, поменяемся? — предложил Юра. — Больше часа, пожалуй, прошло.

— Ну, давай, — равнодушно согласился Вася. — Не помешат.

Они поменялись местами: Юра перешел на ветреную, северную сторону, а Вася пристроился у пулемета. Долго стояли молча, привыкая к новым условиям. Смотреть в северную сторону было труднее. Ветер бил в лицо, заползал за воротник.

У Юры начали слезиться глаза, приходилось то и дело жмуриться. И все же он упорно вглядывался в темноту.

Юра знал, где-то там, севернее, по льду Ладожского озера проходит дорога, по которой идут машины. Двумя нескончаемыми вереницами бегут они — в Ленинград и обратно. Туда везут продовольствие, боевое снаряжение, горючее, медикаменты — все, что требуется осажденному городу. Обратно — истощенных блокадой людей, раненых бойцов, оружие, которым истекающий кровью, но борющийся город мог поделиться с соседними фронтами.

Юра и Вася тоже проезжали по этой дороге. Правда, сначала, осенью, они пересекли Ладожское озеро по воде — это при эвакуации. Потом, уже два месяца спустя, в обратном направлении — по льду. Тогда их взвод юнг, охранявший баржи на Волхове, подняли по тревоге, посадили в автомашину и перевезли на другую сторону озера. Осиновец — вспомнил Юра название поселка, в котором их выгрузили. «Начинаем выполнение нового боевого задания», — пояснил главный старшина Петров. «Какого?» — поинтересовались ребята. Им сразу хотелось знать детали. «В свое время узнаете», — отрезал старшина. «Хорошо

бы на Пулковские высоты», — мечтательно отозвался кто-то. С ним молча согласились — на Пулковских, по слухам, шли самые горячие схватки с осадившими город гитлеровцами.

Но вышло по-другому: охрана дороги. Им казалось, это ничуть не лучше, чем сидение у барж на Волхове. «Другие воюют, а нам опять загорать», — высказался Вася. Хотя зимой на Ладоге не позагораешь, все юнги взвода поняли его правильно. И только дядя Коля посмотрел на Васю вроде жалеючи. Про себя он подумал: «Тебе с книжками бы воевать, малыш… Ну» да ладно, участок вам дают маленький, второстепенный, вблизи берега — авось, до серьезного не дойдет». А вслух сказал: «Не торопись с выводами, парень. Постоишь на льду недельку — узнаешь почем фунт лиха. А дело вам доверяют очень важное, боевое».

Юра вспоминал тот недавний разговор и думал, что комвзвода оказался прав. Он снова представил себе, как по ледовой дороге с одного берега озера на другой движутся машины. Ему даже показалось, что он слышит гул моторов и ощущает запах бензиновой гари. Ветер сильный — могло и донести.

* * *

Под утро они еще раз поменялись местами и затихли. Но ненадолго. Нарушил молчание Вася:

— Не кимаришь, Юрок? — его голос прозвучал, как из подземелья.

— Ты, Вась, очумел, что ли? — ответил Юра обиженно. — Сам, поди, только об этом и мечтаешь.

— Ох и кимарнул бы! — протяжно и соблазнительно подтвердил Вася, и Юра зримо представил себе, как он блаженно улыбается. — Само время счас. Бывало, у бабушки на печь завалишься. Теплынь, уютно. Глаза сами закрываются. А к утру сны идут, красивые, как в сказке. Все, о чем бабуня вечор калякала, обязательно приснится. Один раз я Иван-царевичем был…

— Вась, хватит трепаться, — перебил друга Юра. — Тоже мне, Иван-царевич… Наблюдать надо, а ты душу бередишь.

— Ладно, наблюдай, — снисходительно согласился Вася. Он замолчал и уставился в ледовую пустошь. Но вскоре его снова прорвало. — Юр, а ты живого фашиста видел? — полюбопытствовал он. — Хоть раз.

— Не, пока не видел. Только в кино, — равнодушно ответил Юра.

— А хочется?

— На кой он мне сдался? Лучше бы их не было.

— А убить фашиста хочется? Самому.

— Всех бы перебил.

— Но ведь они тоже люди, — не унимался Вася.

Юра на минуту задумался, потом резко бросил:

— Ты дядю Колю спроси, он тебе прояснит, какие это люди. Зверье.

История главного старшины Петрова была ребятам хорошо известна. Николай Степанович сам рассказывал, как в начале войны чудом спасся с потопленного немцами корабля, попал в морскую пехоту, защищал Таллин, с боями выходил из окружения, был ранен. А недавно получил тяжелую весть из Ленинграда: при артобстреле погибла его жена, работавшая на Кировском заводе. Осколок снаряда сразил ее прямо у станка.

— Это понятно, — согласился Вася. — Дядю Колю жалко.

Юра не стал продолжать разговор. Было у каждого из них и свое горе, но они, по молчаливому согласию, никогда вслух не вспоминали о нем. А сейчас в памяти Юры вдруг всплыло недавнее осеннее утро. Семьи военнослужащих срочно эвакуировались из Ленинграда. Перед отъездом Юре захотелось повидаться с Люсей. Ускользнув

от матери, он побежал по Большому проспекту, потом завернул за угол. И тут замер от неожиданности, в груди у него захолонуло. Дома, в котором жила семья Малиных, не было. От него остались одни развалины. Рядом стояли пожарные машины и толпился народ. Посреди улицы — два ряда носилок, на них лежали люди. Лица некоторых были покрыты одеялами или платками. Юра сразу увидел носилки, на которых лежала Люся. Ее лицо тоже было покрыто, но он знал, что это она, по туфлям, выглядывавшим из-под одеяла. Люся в них на выпускном вечере танцевала. Только у нее были такие туфли — ярко-красные, с белыми кожаными бантиками. Все девчонки завидовали…

* * *

Уже рассвело, когда внимание Юры привлекли какие-то темные пятна на ледяном поле. Он мог поклясться, что минуту назад их еще не было. И, кроме того, они двигались, то появляясь, то исчезая за торосами. Шевелились. В первый момент Юре показалось, что у него зарябило в глазах. Это и раньше случалось — от усталости и от холода. Да и кормежка не ахти какая — блокадный паек, почти без калорий.

Не опуская бинокля, Юра нащупал рукой ракетницу, которую для надежности держал под тулупом, и стал пристально разглядывать загадочные пятна. Они приближались, увеличиваясь в размерах. Юра почувствовал, как по спине пробежал предательский холодок. Уже не от мороза — от неотвратимости надвигающейся опасности. Но он решил все же проверить себя.

— Вась, поди-ка сюда, — почему-то он начал говорить шепотом.

Но Вася услышал его и нехотя отозвался:

— Чо те? Опять скучно?

Однако подошел не спеша, не проявляя никакого любопытства и не замечая Юриной настороженности.

— Похоже, фашисты, — затаив дыхание сказал Юра. — Сюда идут.

Вася встрепенулся, с ходу навалился на бруствер.

— Где? Покажь. Может, почудилось.

— Во-он туда смотри, — показал Юра.

Вася посмотрел. Сначала просто так, невооруженным глазом, потом через бинокль.

— Точно, идут. Километра полтора до них, — подтвердил он, а затем неуверенно добавил: — А может, наши?

Наши — очень хотелось бы! Но Юра сразу отсек сомнения.

— Наших в той стороне нет. И дядя Коля на инструктаже говорил: «С юга только фашисты».

Ребята снова прильнули к биноклям.

— Цепочкой идут, — заметил Вася.

— Раз… два… три… — считал Юра и подытожил: — Человек тридцать, не меньше.

— Сигналь, Юрок, сигналь, — заторопил его с плохо скрытой тревогой Вася.

Юра достал ракетницу и выстрелил. Ракета с шелестом взмыла вверх. Оставляя в небе красный след, описала дугу и погасла. Направление ее полета показывало, откуда идут фашисты. За первой полетела вторая, за второй — третья. Три красных ракеты — условный сигнал: приближается враг. Это для тех, кто на берегу и на соседних постах.

— А теперь — к бою! — скомандовал Юра, отложив ракетницу.

Он уже чувствовал себя увереннее. Страх ожидания прошел. Правда, волнение еще сдавливало грудь, затрудняя дыхание, и щемящее чувство неизвестности — чем это кончится? — не оставляло. Но надо было действовать. Юра потуже натянул рукавицы и взялся за рукоятки «Мак-

сима». Прикинул глазом расстояние, заученным движением поставил прицел. Прищурившись, навел ствол на мелькавшие впереди фигурки.

— Стрелять рано, спугнешь только, — с видом знатока проговорил Вася. — Надо поближе подпустить.

— Сам знаю, — нехотя согласился Юра и, чтобы подтвердить свое положение старшего, распорядился: — Становись рядом, ленту подавать будешь.

Вася послушно занял место у пулемета, слева от Юры. Оба застыли в напряженном ожидании, затаив дыхание.

* * *

Открытый бой — лицом к лицу с врагом. Участвовать в таком бою Юре с Васей еще не доводилось. Под бомбежками бывали — этого не отнять, не забыть. Глубоким шрамом осталась в душе та, при эвакуации, когда на буксире переправлялись через Ладожское озеро. Там Юра с Васей и познакомились. Юра покидал родной город. Вася возвращался из гостей — приезжал в Ленинград на каникулы. Их матери со своими нехитрыми пожитками на палубе по соседству устроились. Буксир был старенький, тихоходный.

Он еле тащился, с трудом преодолевая крутые волны. И капитан на нем был старенький и беспокойный, все недовольно на небо поглядывал. И не зря: как раз на середине пути с ясного неба и сошла на них большая черная беда. Фашистские самолеты бомбили и обстреливали беззащитное судно методически, как на учениях.

Спаслись ребята чудом — в числе немногих оставшихся в живых их подобрал военный катер. Моряки доставили Юрку и Васю в Новую Ладогу, привели в свой штаб.

«Что ж нам с вами делать-то? — спросил у ребят командир с тремя нашивками на рукаве. — Куда вы теперь? Война ведь кругом».

«А можно нам на корабле остаться?» — неуверенно спросил Юра и вопросительно глянул на Васю. Тот согласно кивнул: мол, и он не возражает.

«Юнгами, что ли?» — полюбопытствовал командир. «Точно, возьмите в юнги, дядя», — стараясь, чтобы не очень нудно выходило, подтвердил Юра. «И что вы там делать будете?» — на лице командира промелькнула улыбка. «Как что? Воевать. Комсомольцы мы», — уверенно сказал Юра, стараясь придать своему голосу побольше лихости. «Хм, комсомольцы-добровольцы… —

Командир сочувственно посмотрел на них и вздохнул: — Нет, ребята, на корабль не получится. Тут, понимаете… Для службы на корабле специальная подготовка нужна… — Он помедлил и добавил: — Впрочем, в юнги, пожалуй, можно. Тут у нас взвод воспитанников школы юнг переформировывается. Попробуем вас туда определить…»

Так она обернулась для них — эта бомбежка. Были и другие. Врага в лицо не видели, а испытание огнем приняли.

И все же то, что ожидало Юру и Васю сейчас, было для них необычно и страшно. Они сходились с врагом с глазу на глаз. В бою открытом и неравном.

— Пора, Юрок, пора, — нетерпеливо проговорил Вася, когда фигуры фашистов вырисовались в полный рост. — Как бы не ускользнули.

— Подождем еще немного, — ответил Юра. — Вернее будет.

Наконец и он не выдержал. Сделав глубокий вдох, Юра наклонился к пулемету, вобрал голову в плечи и поймал на мушку фашиста, который шел впереди отряда. Юра видел его размеренный крупный шаг, автомат, взятый на изготовку. Перед ним был враг, готовый вступить в бой, и Юра

решил начать первым.

Гашетка пулемета подалась легко. Трескучие выстрелы заглушили легкий посвист ветра, гулко разнеслись над замерзшей поверхностью озера. Фашист, в которого Юра целился, упал, а остальные повалились на лед, стараясь укрыться за торосами. «Одного, кажется, ухлопал», — ликующе подумал Юра. Сам факт, что враги перестали двигаться и что это он заставил их лечь на лед, придал ему уверенность, и он, почти не отрывая одеревеневших пальцев от гашетки, посылал в сторону противника одну за другой длинные пулеметные очереди. Стоявший рядом Вася, сжавшись в комок, едва успевал подавать патронную ленту.

— Во, залегли, гады! — восторженно крикнул Вася, приподнявшись под броневым щитком «Максима». — Счас драпать будут!

— Не высовывайся! — умерил его пыл Юра, сделавший, наконец, передышку себе и пулемету. — Патроны готовь!

Предчувствие подсказывало Юре, что фашисты не отступятся. Не ради того они отмахали добрых два десятка километров по ладожскому льду — ночью, в тридцатиградусный мороз, навстречу ветру с колючими снежинками, — чтобы

от первой пулеметной очереди назад побежать? Нет, не это входит в их расчеты. Просто им нужно устранить препятствие, которое так некстати оказалось у них на пути.

Юра с Васей быстро убедились — соотношение огневой мощи не в их пользу. У немцев было по меньшей мере три ручных пулемета и штук двадцать автоматов, которые они не замедлили пустить в ход. К счастью, бруствер, прикрывавший ребят, оказался достаточно толстым. Пули не пробивали его, но быстро превращали в крошево, словно гигантский бур бешено сверлил переднюю стенку. Над ребятами фонтаном летели ледяные осколки и снежная пыль. Несколько пуль цокнуло в броняшку «Максима», отчего он чуть не выскользнул из Юриных рук и не скатился с бруствера. Хорошо, что удержал. Глянул — Вася рядом присел на корточки, сжался ежиком в комок и утих, будто его и нет здесь совсем, весь ледяной крошкой осыпан, как елочка снежной зимой. Только воротник овчинный угадать можно.

— Вась, ты чего? — тормоша друга, наклонился к нему Юра. Ему и самому хотелось пригнуться пониже.

Воротник зашевелился, ледяное крошево рас-

сыпалось, и из него вылезли наружу сначала Васина шапка, а потом лицо в капельках подтаявшего снега.

— Во дает! — ухмыльнулся Вася. — Совсем засыпало.

Юру словно оса ужалила.

— Очумел?! — заорал он. — А ну, вставай! Фрицы лезут, а ты прохлаждаться вздумал!

— Как лезут? — уставился на него Вася. — Куда лезут?

— На кудыкину гору! — отрезал Юра и снова занялся пулеметом.

Вася очумело повел головой, быстро выпрямился, пренебрегая свистом пуль, глянул через бруствер.

Гитлеровцы редкой цепью шли в атаку, на ходу стреляя из автоматов. Огонь был не прицельный, не плотный. Ледовая стенка, защищавшая ребят, постепенно разрушалась.

«Это есть наш последний и решительный бой...» — пронеслось в голове у Васи и, перекрывая шум стрельбы, он крикнул:

— Юра, прикрой меня! Я счас, мигом!

Он схватил автомат, рукавицей смахнул с него снежную пыль, поправил на поясе гранаты и, пригнувшись, выбежал за бруствер с тыльной

стороны.

— Стой! Куда ты?! — не отрывая рук от пулемета, крикнул Юра.

Вася обернулся. В глазах — злость, на губах — виноватая улыбка.

— Не беспокойсь, Юра, — примирительно сказал он. — Порядок, я по ним сбоку вдарю.

Юра скользнул взглядом по Васиному лицу, на котором застыла упрямая решимость. Он никогда не видел это лицо таким взрослым и неистовым. И все понял. Ничего не ответил, только рукой махнул — валяй, действуй!

В считанные секунды Вася скрылся за ближайшим торосом. Потом снова появился, с другой стороны, пробежал несколько десятков метров и залег у ледяной глыбы. До фашистов оставалось около трехсот метров, когда Васин автомат заговорил.

«Все верно, Вася, — мысленно похвалил друга Юра. — Бей их!»

Противно дзинькали пули. От бруствера попрежнему летели фонтаны ледяных осколков. Казалось, стена рассыпается на глазах. У Юры мелькнула мысль, что построить ее было гораздо труднее. Прорву снегу надо было насыпать и воды перетаскать. Немало сил и времени ушло.

И вдруг разрушается все это, превращается в снежную пыль.

Над пулеметом клубился пар — вода в кожухе закипела. Но Юра видел только скачущие впереди, упорно приближающиеся фигуры чужих солдат. И стрелял по ним, стрелял, стрелял. И с каждым выстрелом чувствовал, как укрепляется в нем уверенность. Сила, прижимавшая Юру к брустверу, словно освобождала его. Тело становилось легче, движения — вольнее, увереннее. И вроде теплее стало.

Фашисты снова залегли. Юра отпустил ручки пулемета, откинулся назад. Глубоко вздохнул. Снял рукавицы, потер замерзшие руки. Подышал в них и снова потер. И тут услышал шелестящие звуки над головой. С берега донеслись глухие выстрелы. Вдоль вражеской цепи взметнулась стена разрывов, и эхом пролетел гул.

— Ура-а-а! Наши! — закричал Юра, поняв, что бьют свои минометы. — Вася, наши!

Он помахал Васе, но тот не ответил. У Юры екнуло под ложечкой. Что с ним, с Васей? Ему захотелось бросить все и побежать туда, к ледяной глыбе, у которой лежал Вася. Но, кинув взгляд на поле боя, Юра понял: нельзя. Гитлеровцы поднялись в атаку…

Юру охватила ярость. Нажав на спуск, он долго не отрывал от него онемевшие пальцы. В прицеле мелькали прыгающие фигуры немецких солдат, в ушах звенело от выстрелов и взрывов, а он все давил и давил на гашетку. И только шептал: «Получайте, гады! Еще! Еще! За Люсю! За маму! За наш Ленинград!..»

* * *

Главный старшина Петров с поднятым по тревоге взводом прибыл на пулеметную точку, когда бой уже кончился. Подойдя к знакомому месту, Николай Степанович не узнал его. Словно кто-то гигантскими граблями провел по торосам — так были исполосованы их склоны. Ледовое ограждение огневой позиции было разворочено до неузнаваемости. Но больше всего беспокоило комвзвода то, что никто не вышел ему навстречу, не услышал он привычного доклада и радостных приветствий. Лишь из-под груды битого льда торчали ствол и колесо пулемета. Из отверстия на кожухе еще вытекала струйка пара:

— Егоров, Буйко, осмотреть все вокруг, остальным произвести очистку позиции и восстановить стенку, — распорядился главный старшина, а сам направился к пулемету.

Навстречу ему из ограждения медленно вышел Юра. Он еле держался на ногах. По щеке текла кровь.

В голове у Юры гудело. Он верил и не верил, что видит перед собой дядю Колю.

— Что с тобой, Иванов? — нетерпеливо спросил командир взвода.

— Товарищ главный старшина, — Юрка с трудом поднял ладонь к виску. — Атака противника отбита. Потери... — тут он запнулся и, опустив руку, замолчал.

— Поцарапало? — показал старшина на Юрину щеку. За официальным тоном он хотел скрыть охватившую его тревогу и жалость.

— Немного. Ледышкой чиркнуло, — смущенно сказал Юра, будто он был виноват в том, что его «чиркнуло».

— До свадьбы заживет, — похлопал его по плечу Петров и тревожно спросил: — Ремезов где?

— Там, — показал Юра на ледовую глыбу. — Звал, не отвечает.

— А ну-ка, пошли, — заторопился Николай Степанович.

Вася лежал около тороса, уткнувшись лицом в снег. Правой рукой он крепко сжимал автомат. Вокруг валялись стреляные гильзы. Метрах в

пятидесяти впереди на льду чернело несколько трупов фашистских солдат.

Николай Степанович бросился к Васе, осторожно повернул его лицом вверх, приподнял. На льду осталось красное пятно. Главный старшина теплой ладонью смахнул с Васиных щек налипшие снежные комочки, расстегнул на нем тулуп и пропитанную кровью ватную телогрейку.

Вася пошевелился, приоткрыл глаза.

— Дядя Коля, — облегченно прошептал он, и веки его снова сомкнулись.

— Бинт скорей, — протянул руку Николай Степанович.

Юра достал из противогазной сумки индивидуальный пакет и подал старшине.

Рана у Васи была тяжелая. Пуля прошла через грудь чуть пониже плечевого сустава. Пока командир взвода делал перевязку, Юра поддерживал друга и все успокаивал:

— Ничего, Вась, ты потерпи. Мы еще повоюем.

Вася в ответ лишь стонал, а Николай Степанович, пряча от ребят затуманенные, влажные глаза, приговаривал:

— Молодцы вы, юнгаши. Настоящее боевое крещение приняли. А ныли — «загорать придется». Вот и позагорали. Восемнадцать минут

держались, вдвоем против взвода фашистов, и обратили врага в бегство! Маленькие, да удаленькие!

Старшина нарочно не упоминал о минометчиках. Пусть Юра и Вася думают, что главное сделали они. Да и в самом деле так оно и было: ведь в бою очень важно первым обнаружить противника и подать сигнал тревоги.

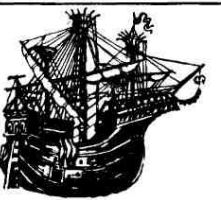
* * *

Где-то вдали, в нескольких километрах севернее, по льду шли машины. Гудели моторами, шуршали шинами. Дорога жизни жила, работала. С ней в один узел были связаны судьбы тысяч людей. И никто из них ничего не знал ни о Юре, ни о Васе, ни о том, что произошло с ними морозным январским утром сорок второго года.

А машины шли и шли…

ЛЮДИ ФЛОТА

Люди флота





В. Дробышев
НА ЛЕНСКИХ ПЕРЕКАТАХ
(Очерк)

Там Лена чистой быстриной,
как Нил, народы напоят.
И бреги наконец теряет,
сравнившись морю шириной.

М. В. Ломоносов

Серый пушистый комочек, уместившийся на моей ладони, осторожно вздрагивает. В густом подшерстке торчат верткие уши, забавно блестят острые глаза, похоже сделанные из чароита. Когда зверек принюхивается, в его крошечном носу постукивает, будто сидят там человечки и усердно колотят молоточками.

Суслика мы нашли в старом зимовье. Трудно сказать, как он пробрался в крепкое, сложенное из тяжелых, плотно пригнанных окладных бревен строение. Дверь и оконце наглухо задвинуты. На почернелом потолке, прибитом плоскими костылями к колодинам, ни щелей, ни дыр. Вероятно, зверек проник по железной трубе в печь-жестянку, из которой торчит ржавая клюка.

В заброшенную охотничью избу суслик залез в поисках пищи. Он был живым осколком великого исхода зверей, случившегося летом 1981 года в верховьях Лены. Тайга не дала ни шишек, ни грибов, ни ягод. Гонимые голодом лесные обитатели ломились через дебри, бросались вплавь, карабкались по хребтам, перебираясь в сытую Южную Якутию, туруханские боры, в Забайкалье. К тому времени, когда я прилетел в Усть-Кут, миграция уже стихала, но все еще бегали по дощатым улицам города лисы, хозяйничали в огородах бурундуки, скакали по столбам и висели на проводах белки.

Оставлять зверька в пустынной избе не хотелось, выпускать в голодный лес тоже было жалко. Я знал, что путешествие по Лене будет нелегким: четыре с лишним тысячи километров, пересадки с борта на борт — тут не до живности. С другой стороны, не бросать же зверя. Тем более всего и хлопот-то: горстка семечек, сухарик да морковка.

В Сибири сусликов называют евражками — не сыскать лучшего имени! Так появился у меня спутник. Евражка быстро привык ко мне, брал морковку с рук, смотрел вместе со мной телепередачи, а когда настало время, отправился со мною вниз по Лене. Вместе с Евражкой мы поселились

на «Байкальце» — небольшом судне, похожем на плавучую химлабораторию.

Михаил Иванович Рыбкин — молодой худощавый инспектор с бородкой — наполняет забортной водой колбу.

— Как слезинка! — И добавляет: — Лена — самая чистая река в Союзе.

Михаил Иванович сам с «запада», из-под Новгорода. Климат там влажный, ветреный, замучили простуды, не переставая, кашлял. На Лене воздух настоян на хвое, обилие солнца, безветрие — все это избавило его от хвори.

— Который год здесь, — удивленно восклицает он, — хоть бы раз чихнул!

Михаил Иванович рассказывает о себе, о производственных заботах, о том, что порой приходится ругаться даже с лесозаготовителями, которые норовят влезть с топором в водоохранную зону. Я вслушиваюсь в его неспокойный голос и думаю о том, что Рыбкин подался в инспекторы водоохраны вовсе не потому, что к тому обязывает должность, а по другой причине. Сибирская река избавила его от болезней, вернула хороший жизненный настрой, и он отвечает тем же, добром на добро, оберегает ее здоровье.

В тот момент, когда «Байкалец», деловито тре-

ща движком, выносится за крутой изгиб реки, впереди открывается странный серый предмет. С каждой минутой он делается более непонятным, огромным, глыбистым. Кажется, что это, выпертый со дна реки стремниной, подымается над водой мастодонт. Волосатый хобот, бивни. Иллюзия усиливается от хриплого рева, протяжно разносящегося над рекой. Тяжелый трубный звук лениво проходит над плесом, взбирается на крутой яр, вламывается в лесную чащобу и, не сумев пробиться через дебри, нехотя гаснет. Настает долгая пауза. Молчит река, таится лес. Затем с той же неспешностью, нисколько не опав силой, густея в воздухе, звук возвращается из тайги, наваливается на берега, придавливает реку. Тягучее эхо заполняет распадки и пади, наплывает медлительной мощью — будто и впрямь трубят гигантские животные, некогда обитавшие в Сибири.

Но вот все становится на свое место. Хобот принимает форму высоко вздетой над водой черпаковой рамы, а бивни превращаются в шаланды, приткнувшиеся по обе стороны земснаряда, который приветствует нас басовитым тифоном, сотрясающим окрестности. Четыре десятка объемистых металлических чаш, посаженных

на раму, в несколько минут совершая полный оборот, выгребают горы земли. За навигацию земснаряд намывает полмиллиона кубометров грунта! Две с половиной тысячи железнодорожных составов!

Речной великан пыхтит, тужится, напрягает железные мускулы, дыбится.

— Что делаем? — переспрашивает меня парень в кирзовых сапогах, свалявшемся свитере; из-под берета лихо торчит клок рыжих влажных волос. Пересиливая скрежет стали и камня, озорно кричит: — Как куб — так рубь!

Капитана на земснаряде нет. Вернее, он здесь есть, но в судовой роли его должность обозначена иначе: командир. Его я застал в багерской рубке, представился, сказал о том, что хотел бы пожить несколько дней на землечерпалке.

Командир выслушал, затем вежливо поправил меня, сказав, что на Лене давно вышли из моды землечерпалки, «старые грязнушки» отправлены на слом. С достоинством, чеканя каждое слово, произнес:

— Вы находитесь на борту современного дноуглубительного земснаряда в самоходном варианте.

Что ж, век живи… Урок пошел на пользу. Только

сейчас я приметил порядок и чистоту на «грязнушке». Багерская рубка, начиненная пультами, кнопками, аппаратурой, свидетельствовала не только о высокой механизации, но внешним лоском, прямо-таки стерильной аккуратностью говорила о высокой культуре людей, работающих здесь. Присматриваюсь к командиру. В движениях и словах сдержан, свежевыбрит, китель из синего сукна с золотыми вензелями ладно сидит на подтянутой, стройной фигуре.

Определенная холодность, возникшая в наших отношениях после «землечерпалки», вполне могла перерасти в чувство неприязни. Такое бывает. Слово не воробей… Выручил Евражка. Зверек забился в угол клетки, свернулся калачиком, зябко вздрагивал шерсткой.

— Вибрации боится, — сказал командир.

Он улыбнулся, глаза подобрели, жесткие черты лица сделались мягче. Взяв клетку, командир провел меня на вторую палубу. В наиболее удаленном от тряской рамы конце коридора отпер каюту — светлая, уютная, шторы, занавески, на столике цветущий стебель багульника, квадратное окно обращено к речной стремнине. Командир погладил успокоившегося зверька и с теплыми нотками в голосе сказал:

— Схожу на камбуз, принесу что-нибудь вкусное.

Так я познакомился с командиром дноуглубительного земснаряда в самоходном исполнении Л-331 Эдуардом Прокопьевичем Москвитиным.

Не часто удавалось видеть на его сухощавом лице улыбку. Такое случалось с командиром в те минуты, когда, оторвавшись от дел, он навещал Евражку. Поиграет с ним, угостит лакомством, а там и разговор ладится у нас. Москвитин коренной сибиряк. Привязанность к родному краю в нем беспредельна. Правда, по молодости лет подался было на юг. После окончания Одесского института инженеров Морского флота бросил якорь в Одесском порту. Потом одолела тоска, снялся с теплого места и вернулся в Сибирь.

За навигацию земснаряд перелопачивает десятки перекатов. В мутной пульпе иногда обнаруживаются археологические находки: осколок бивня, щепа от шитика, сосновая кокора — остаток старинных гребей, сработанных кочевыми мастерами, поржавевший карбасный якорь. Попадались даже кандалы.

Заинтересуйся какой-нибудь любитель старины «рухлядью», что попадает в ковши земснаряда, он мог бы составить уникальную коллекцию

истории Приленья.

Рассказывают, лет пять назад «грязнушка» вывернула со дна реки покрытый илом кусок доломита. Камень очистили от водорослей, соскребли зеленую накипь. На щербатой поверхности открылся тончайший узор, вырезанный рукою искусного мастера; под женским силуэтом хорошо сохранилась вязь старинных букв: «Стеф… ерниг…» Доломит тот, вероятно, был куском надгробного камня, высеченного над могилой Стефании, супруги Никифора Черниговского.

О нем так упоминается в летописи:

> «Жил он в Усть-Кутском остроге и был досмотрщиком за соляными промыслами. В это время (1665 год. — *В. Д.*) в Усть-Кутский острог прибыл илимский воевода Лаврентий Обухов; успел отдохнуть, огляделся; осмотревшись, удалось ему заприметить, что у соляного надзирателя жена хороша, да такая, что он, долго голодавший на сибирском лесном безлюдье, много не думал. Класть на весы свои воеводские права с правами ссыльного сибирский воевода почел за грех и за

большое для себя преступление. Обухов отнял жену у Черниговского и, кончив дела, поплыл с красивою полькою вверх по Куте. Черниговский собрал сотоварищей, напал на воеводу, убил его и прислугу, отправился с женой обычной на те времена торной дорогой. Наскоро построил деревянную крепость, стал собирать с тунгусов ясак крупными и пушистыми соболями, но, памятуя об убийстве, стал отсылать ясак в Нерчинск. Потом уже он прямо от себя с нарочными отправил в Москву и отборный ясак и повинную. 15 марта 1672 года по первому приговору Черниговского приговорили к смертной казни. Но по бывалым примерам приговор отменили, и вместо казни сказано Черниговскому милостиво государево слово: за вину прощение и греха разрешение, да сверх того положена была награда в две тысячи рублей».

Дальнейшая жизнь Черниговского остается невыясненной. Известно только, что похоронил он свою жену тут же, на берегу Лены, и поставил над могилой «искусную плиту».

Евражка приболел. Нос сухой, шерсть свалялась, чароиты потускнели.

— Тряска доконает зверя, — коротко сказал командир.

Эдуард Прокопьевич был недалек от истины. Моя каюта хоть и расположена в другом конце коридора, но вибрация ощущается и здесь. В ней дребезжит все, что может дребезжать. Позвякивает броняшка на иллюминаторе, прыгает стакан, скачет карандаш на столе, тренькает плафон на подволоке, ходит ящик рундука, перемещается клетка по палубе. Евражка воротит нос даже от сухариков, выпеченных из корней сусака[14], потом перестал пить. Боясь за жизнь своего четвероногого друга, я подумывал о том, чтобы пересесть на какое-нибудь судно, уже и почву прощупывал.

— Зря, Александрыч, — убеждал меня Москвитин, — через несколько часов смолотим пару опечек и встанем на профилактику. — Он подвесил с помощью капронового шнура клетку к подволоку, домик Евражки перестало трясти.

А через два дня вечером, смолотив те самые опечки, металлический гигант замер. Замолчали

---

[14] Примечания: 14

Сусак — многолетнее травянистое растение, пригодное для пищи.

агрегаты, перестали грохотать ковши. На снаряде наступила непривычная оглушающая тишина. В первый день царственной паузы многие багермейстеры не могли прийти в себя, бродили по затихшему железу, страдали от бессонницы.

Зато воспрял Евражка. Глаза заблестели, нос повлажнел, привел в порядок шубку, сгрызает все подряд и даже пресными ольховыми сережками не пренебрегает.

Милый забавный зверек. Он проторил мне дорожку к сердцу командира, сблизил меня с экипажем. Один припрячет для него сухарик, второй угостит черемшой или веточкой толокнянки, третий подарит ломкий стебель камыша, сорвет лист тальника, насыплет крупы, а кто преподнесет и королевский деликатес: жареный плавник валька. Рыба это непростая, осторожная, не так-то просто ее выудить. Родословную валёк ведет от ленка и хариуса, мордочка у него дельфинья, мясо нежное, ароматное, поджаренные плавники отличаются особым вкусом.

На валька более других удачлив Александр Захарьевич Ярыгин, первый помощник командира — второй механик. В рыбацком деле у него нет соперников. Что на удочку, что на спиннинг — он ловчее всех. Ярыгины — известная на Лене фа-

милия потомственных речников. Его дед, отец и теперь он сам — рабочая династия, которая, еще со времен примитивных паровых «грязнушек», занимается одним делом — реку «правит».

Александр Захарьевич навещает Евражку обычно со своей супругой. Валя работает на земснаряде матросом. Она из Бодайбо, и кажется, что ее светлые густые волосы, пушистые брови и веснушки на щеках отливают бодайбинским золотом.

Частый гость у нас и Саша Раньшиков, рулевой-моторист с теплохода «Намыв», который отбуксировывает шаланды с пульпой к выправительным сооружениям. Саша доставит грунт к дамбе, сорвет на берегу пучок зелени и затем, когда емкости опять закрепят под тельфером[15], перебирается на земснаряд, угощает Евражку свежей травкой и торопится на камбуз к жене Ире.

Саша высок, по-юношески строен. Бледное лицо его кажется еще белее на фоне темных волос. Ира, напротив, низенькая, полная, с румянцем во всю щеку. Копна ее густых волос рассыпается надвое и сваливается кудряшками на тонкие брови.

Случается, на камбузе продукты на исходе, а

[15] Примечания: 15

Тельфер — подвесное грузоподъемное устройство с электрическим приводом.

плавучий магазин задержится в низовьях. Саша снаряжается в дорогу, набирает целлофановые пакеты, мешки, сумки, грузит тару в лодку-казанку и отправляется в ближайшие поселки. Удача не всегда сопутствует ему. Тогда камбузные заботы перекладываются на плечи командира. Эдуард Прокопьевич умеет ладить с береговым народом, держится с ним накоротке. Прошлым летом крепко выручил петропавловских механизаторов: в горячую пору поломались у них сенокосилки. Варить детали нечем, нет электродов, да и некому, Москвитин дал электроды, послал на подмогу своего сварщика. Не раз выручал он и лесозаготовителей.

В первую встречу с командиром меня настораживала его интеллигентная речь, четко выстроенные фразы. На «землеройке» подобное казалось вычурным, неестественным. Позднее мое мнение о багермейстере изменилось. Москвитин не только рабочий командир. Многие годы он преподает в киренском речном училище, ведет там экономику речного транспорта. Культурная закваска крепка в нем. Больше того, руководитель экипажа увлечен гуманитарными науками. Это его хобби. На полках у него в каюте собрана редчайшая библиотека, в которой вместе

с технической литературой хранятся подлинные раритеты[16]. По соседству с «Капитальными дноуглубительными работами на перекатах» обнаруживаю ломоносовскую «Риторику», сочиненную «в пользу любящих словесные науки»; рядом с учебником «Применение математических методов» нахожу редчайший рукописный свиток «Соловецкое сидение», для прочтения которого, как минимум, необходимо знание палеографии — науки о древней письменности. Тут же — «Заметки о мастерстве оратора».

— Зачем вам это?

— Искусством речи надо овладевать постоянно, — серьезно говорит Эдуард Прокопьевич. — Это помогает общению с людьми. Народ пошел грамотный, образованный, его не возьмешь за грудки, как это было прежде. С ним необходимо находить общий язык, уметь убеждать, доказывать.

В давние времена Квинтилиан утверждал: «Чем труднее слушателям понимать нас, тем более мы восхищаемся своим умом». Речник Москвитин является антиподом древнего теоретика красноречия. Слово его доходчиво, просто,

---

[16] Примечания: 16

Раритет — ценная редкая вещь, диковинка.

ясно. Эдуард Прокопьевич, кстати, часто публикуется в местной прессе, представляет Ленское объединенное речное пароходство в редакционном совете журнала «Речной флот».

В переводе с голландского языка «багермейстеры» — грязи мастера... А встретил я людей большой культуры, духовной красоты, по-настоящему интеллигентных.

На Лене работают многие питомцы Москвитина. Один из них «увел» меня с земснаряда. Произошло это однажды утром, когда, заглянув в каюту командира, я обнаружил там незнакомого человека. Он был в плотной, подбитой мехом куртке, сапогах. Шерстяная спортивная шапка, посаженная на темные густые волосы, молодила обветренное лицо. Путеец Николай Николаевич Меренков зашел к Москвитину, чтобы проконсультироваться по поводу дополнительной оплаты за работу в ночное время.

В одном лице Меренков совмещает массу обязанностей. Он и капитан, и механик, и радист, и рулевой, и боцман, и плотник, и электрик, и слесарь, и сварщик, и табельщик, и бухгалтер. Главную же свою должность именует так: речной поводырь! Так оно и есть, на самом деле — поводырь! Без него, Меренкова, самый захудалый

кораблишко, даже берестяной стружок, не пройдет по Лене. Путейская бригада размечает судовой ход знаками. Буи и бакены, створные щиты на берегу, фонари — это все его хозяйство. На протяжении полусотни километров смонтировано, запитано током и расставлено без малого двести знаков, правящих фарватер. Во всякое время дня и ночи обстановочная бригада обходит свой участок на теплоходике-путейце, экипаж которого состоит из четырех человек.

В тесноватой рубке стекло приподнято. Влажный ветер наполняет ее зябким холодком. Оттого Николай Николаевич и утеплился, надев поверх толстого свитера меховую куртку. Одной рукой Меренков придерживает штурвальное колесо, в другой — бинокль. Сейчас на реке спокойно. Николай Николаевич ставит бинокль на панель, берет жестяную кружку с подогретым кофе, делает глоток и, отвалившись на спинку вращающегося кресла, хрипловато напевает:

— «Мала-ды-е капи-та-аны...» — потом негромко насвистывает. Глотнет кофе и опять насвистывает.

Продолжается это до тех пор, пока не замечает на реке неполадки. Тогда капитан оставляет теплую кружку и ворчит:

— У, росомахи, утопили цилиндр.

Росомахами он называет все, что не по душе: баржу, зацепившую буй, отмелый берег, сильную струю, намывающую осередок, погасший фонарь на конусе… Николай Николаевич нажимает кнопку, вызывает из кубрика матроса:

— Сашок, сангарские дальтоники спутали белое с красным, притопили цилиндр.

Александр Ревенко, в тельняшке, в куртке с капюшоном, пихает руки в рукавицы, проходит на крошечный полубак, растормаживает лебедку, поворачивает стрелу над бортом, цепляет поврежденный «сангарскими дальтониками» цилиндр и, навалившись на ворот, выдергивает красную круглую железяку на палубу.

Рыжее сентябрьское солнце висит над сверкающими плесами. Воздух неподвижен, пронизан нежным теплым серебром. Николай Николаевич взопрел — то ли от солнца, то ли от горячего кофе. Он скидывает куртку, закатывает свитер до локтей, передает Саше штурвал, спускается на палубу, ворошит боцманское хозяйство из фонарей, аккумуляторов, изолент, ящиков, кронштейнов, рассказывая об устройстве той или иной железки, поясняя ее назначение.

Со стороны тот же буй видится примитивным.

Покачивается конус или цилиндр на воде, нет в них ничего особенного. В действительности буй представляет собой сложную инженерную конструкцию. В корпусе весом в четыреста килограммов монтируются провода, аккумуляторы, фонарь. Крепится буй ко дну с помощью троса и якоря. Для того чтобы буй держался ровно на воде, не рыскал и не сваливался, его выправляют противовесами. Особое мастерство требуется при наладке фонаря. Лампочка вкручивается так, чтобы край патрона совмещался с цевьем подставки держателя, а нить накаливания пересекала ось судового хода. Нормальная установка буя требует немалых усилий, верных расчетов, много времени. Оттого и крестит почем зря Меренков тех, кто сбивает обстановочные знаки.

В этот раз нам повезло. До Кондрашинского переката, где заканчивается технический участок, фарватерные вехи оказались непотревоженными.

— Молодцы, росомахи! — заключил Николай Николаевич. Он покосился на часы, испуганно вскрикнул: — Хоккей начинается! — спешно поднялся в рубку, встал за штурвал, крутнул колесо, дал полные обороты и, довольно поглядывая на быстро вскипающий за кормой след, запел:

— «Мала-ды-ые капи-та-аны…»

У Сполошинского переката вплотную к низкому берегу приткнулась баржа с дощатой надстройкой, поверх которой дымит железная труба и торчит телеантенна. На брандвахте нас уже ждали. Кухня дымит, банька растоплена. До начала матча между нашей сборной и канадцами еще полчаса. Мужчины забираются в жаркую парную: раскаленные камни, горячий полок, сухой пар, березовые веники. Меренков срезал щетину, надел свежую сорочку, помолодел лет на десять.

Телевизор включен, видимость отличная. Броски по воротам, скрип коньков, взмокшая форма спортсменов, неистовый гвалт на трибунах… Удивительное это дело — сознавать, что забрался бог весть в какую даль, кругом глухомань, тайга, а ты сидишь в теплом помещении, следишь за состязанием, происходящим по другую сторону планеты. Здесь, на сибирском пятачке, затерянном среди непроходимых лесных чащоб, с особой остротой воспринимаешь величие человеческого разума.

После матча Николай Николаевич надевает свитер, резиновые сапоги, приглашает меня на берег. Мы идем в сторону недалекого леса, из

которого навстречу наплывают негустые тени. Около озера Меренков сдерживает шаг, негромко произносит:

— Ондатра играет.

Мы наблюдаем за быстрыми, ловкими зверьками, пересекающими озеро во всех направлениях. Вода плещет, фонтанирует, закручивается воронками…

— Наш, путейский, питомник, — негромко произносит Николай Николаевич, словно боится вспугнуть веселую вакханалию на озере.

Недавно водоем был пустынным. Речники запустили в него пару ондатр, семейство прижилось, дало потомство.

— Что будем с ними делать? — озабоченно переспрашивает Николай Николаевич. Он о чем-то подумал, широко неторопливо заулыбался: — А ничего. Со зверем природа оживает, делается красивой. Пускай играют, радуются.

На противоположной стороне озера темнеет нескладный силуэт. В бинокль различаю жилистые ноги молодого лося, смятую губу, бугры нарождающихся рогов.

— Это тоже наш путейский. — Николай Николаевич вкладывает пальцы в рот, зазывно свистит. Лосенок вскидывает голову, сторожко прядает

ушами. Николай Николаевич еще раз свистнул, довольно сказал: — Ишь как напружинился. Отличный вырастет сохатый. Его звать Федькой.

Федьку, как и ондатр, тоже пригрели речники. Минувшей весной какой-то «росомаха» убил лосиху. Несдобровать бы теленку в тайге, только на ту пору река уже очистилась ото льда, путейцы обосновались на своей брандвахте, приручили лосенка, которого нашли в ольховой поросли.

Путейцы заботятся о Федьке. Они раздобыли косу, научились отбивать ее, накашивают зеленя́, наметывают пахучие стожки из вики, багульника, луговых трав; отдельно заготавливают зерносмесь из гороха и овса — Федьке на зиму.

С речными путейцами сошелся я быстро и столь же скоро распрощался. Все решило в какое-то мгновение одно слово: «Витим»! — в этом слове для меня слышалось нечто романтическое, умещался целый мир, неведомый, полный дикой силы и таинственных преданий. Оно, это слово, в ряду других, чисто сибирских, таких, как Байкал, Жатай, Алдан, Вилюй, Таюра, Оймякон, Баргузин, Колыма, звучит удивительно, с сочным колоритом, с удалью, сверкает, словно самородок золота.

Еще в Москве накануне поездки, знакомясь с

Сибирью по карте, я был очарован словом «Витим», напевностью его звучания, его странной загадочностью. Долго и безуспешно я пытался отыскать этимологию этого слова, сведений о нем нет ни в справочниках, ни в энциклопедиях. Уже тогда я решил непременно побывать на Витиме, правом притоке Лены. И вдруг…

Пожилой речник-почтальон торопился, складывая газеты и письма на борт брандвахты.

— Некогда, — ворчал он, забираясь в пластмассовую кабину катерка, схожего с миниатюрным вертолетом, — успеть бы догнать толкача, он идет на Витим, посылку надо передать.

«Витим»! — это слово обожгло, заставило все забыть. Я толком не попрощался с путейцами, схватил чемодан, с трудом втиснулся на узкое сиденье — через минуту размытые очертания гостеприимной брандвахты и людей, которые не только «правят» реку, но и созидают красоту, растаяли в сиреневых сумерках…

Многое хранит в себе этот неприветливый, сумрачный край. Витим помнит стрельцов, положивших начало «стране изгнания». На его бесцветных берегах и по сей день сохранились остатки огнива и шлиха — немые свидетели пребывания старателей-копачей, некогда устре-

мивших сюда за фартом, за «мягкой рухлядью» и «желтой пшеничкой» и давших другое прозвище тамошней стороне — «вольная каторга». Народ проживал здесь лихой, промышлявший чаще ночными грабежами. У них так и велось: «День врастяжку, а ночь нараспашку!», «День кольцом — ночь молодцом!».

На Витиме делал разметку инженер-геодезист Вячеслав Шишков, написавший впоследствии роман «Угрюм-река».

Плавно покачиваясь на приподнятых полозьях-реданах, вздыбливая воду, почтарик мчится по вечерней реке. Минут через сорок настигаем буксир, снабженный двумя вертикальными рельсами — упорами, с помощью которых он толкает перед собой баржу (за что и прозван толкачом). Перебираюсь на него.

А еще через час ко мне в каюту входит… Саша Раньшиков. Лицо побелело от скорости и ветра, улыбается, в руках клетка. От неожиданности я растерялся, не знал, что говорить, какие действия предпринять, что подумать. Корить себя за то, что забыл Евражку, благодарить багермейстеров, позаботившихся о том, чтоб вернуть его мне, или пожать руку мотористу, который преодолел на «вихре» немалое расстояние в погоне за

буксиром? Горячая волна подступила к сердцу… Через минуту, деловито стуча движком, казанка умчалась вверх по реке.

Судя по всему, Евражка не очень-то тяготился моим отсутствием. Зверек старательно чистит шубку, забавно стучит молоточками, как ни в чем не бывало расправляется с неподатливой коркой хлеба — и хоть бы для приличия повел в мою сторону блестящим чароитом.

Утром выхожу на верхнюю палубу. Туман еще не рассеялся, но река уже очистилась. Трудяга-толкач похож на горожанина, который, собравшись на дачу, непомерно нагружается авоськами и сумками: буксир тоже обвешан «кошелками» — толкает огромную баржу, тащит за собою на длинном тросе два лихтера, да еще в придачу тянет счаленный с ним бортом рефрижератор. Толкач пыхтит, тужится, упирается в реку двумя винтами, наподдает кормой, которая вроде бы даже приподнимается над круто замешанной, вспученной водой.

Штурман-механик удобно привалился к спинке кресла, забросил ногу на ногу, посасывает сигарету, легким касанием пальцев правит тяжеловесным караваном. Впечатление такое, будто он находится не на мостике, а по меньшей мере в

комфортном салоне «Жигулей».

По рубке босиком и без майки шастает худощавый паренек с коротко стриженными волосами. Матрос негромко насвистывает что-то веселое. Движения его суетливы: взглянет за борт, постоит у локатора, постучит ногтем по аксиометру, присядет на диван и опять нетерпеливо шлепает босыми пятками по палубе. Наверное, подумал я, штурман не гонит вихлястого паренька из вежливости и уж ни за какие коврижки не подпустит его к рулевому управлению: много в нем мальчишества, не собран, молод. Поэтому я был немало удивлен, когда помощник капитана посмотрел на часы, поднялся с кресла, размял плечи, продолжительно зевнул:

— Садись, Славк, за рулежку.

В рубке мы остаемся вдвоем. Славу не узнать. Едва устроился в штурманском кресле, ухватился за рычаг, как тотчас всякое легкомыслие с него слетело. Перестал насвистывать, лицо посерьезнело, взгляд цепкий, сосредоточенный, то и дело сверяет фарватер с лоцманской картой, рулит составом уверенно, видно, дело это для него привычное.

Слава четко придерживается обстановочных знаков, оставляя справа белые конусы, при-

меривается к береговым створам, похожим на перевернутые треугольные щиты. Слева покачивается на волне красный цилиндр, и мне кажется, что буй передает приветы от речных тружеников, багермейстеров и путейцев, многотрудными заботами которых «правится» фарватер. Густая нетронутая тайга дремлет под осенним солнцем. Ее размеренный покой передается нам. Неожиданно из рубки доносится вопль:

— Гляньте, Мародер задрал крысу!

Я глянул, и все во мне захолодело. Большой рыжий кот, пугливо озираясь, крадется по краю баржи, плотно счаленной с буксиром. В зубах кот держит… суслика! Моего Евражку!!

Через мгновение я был на барже. Мародер, так звать корабельного кота, глухо ворчит, пружинисто ведет хвостом, глаза налиты холодным зеленым светом. По ним, этим глазам, и по тому, как раскатисто выпирает из кошачьей утробы кровожадное мурлыканье, можно было догадаться, что Мародер с добычей не расстанется. Глаза его обдали меня холодной ненавистью. Кот дернул усом и потащил Евражку за бухту троса.

Жизнь Евражке спас Илья Федорович, шкипер баржи. Он цыкнул на кота, пригрозил ему, и Мародер послушно разжал пасть. Илья Федорович

поднял безжизненный комочек, подул на него:

— Живой. Отойдет, однако. Это он со страху обмер.

Евражку я снес в каюту, положил в клетку и, убедившись, что он и впрямь отошел, оглаживает шерстку, поспешил снова на баржу.

Илья Федорович сух, костист. Лицо будто вырезано из куска мореной пихты, грубые зачерствевшие борозды рассекают его, делают суровым и жестким. Подбородок в шрамах. Седой редкий волос обнажает крепкий желтый череп. Над глубоко посаженными подвижными глазами кустятся брови, напоминающие заросли сожженного багульника. На Илье Федоровиче серый аккуратный костюм с металлическими пуговицами-якорями, голубая сорочка, замшевые ботинки. То и дело он достает из брюк потертый брегет, щегольски откидывает золоченую крышку, сверяет время и опять не без форса, почти по-барски засовывает брегет в карман брюк.

Шкипер расчесал заросли бровей, пригладил пятерней жидкие волосы, застегнул воротник сорочки и пригласил меня в надстройку. Там он разложил на столе подшивки газет и журналов.

— Романами не увлекаюсь, художественный вымысел меня не интересует: туфта!.. Читаю

только то, что полезно, — говорит Илья Федорович, перебирая прессу. — Ищу информацию о нашей жизни, о международных делах.

Потом он провел меня в небольшую кухоньку, включил электрочайник, навел крутую заварку, нарезал вяленой нельмы. Бутерброды с нельмой отличные. Чай тоже хорош, но сам хозяин жует нельму по-сухому.

— Сердце пошаливает, не принимает чай, — говорит Илья Федорович. Голос у него сиплый, с трудом продирается через нездоровые связки.

Мы сидим в теплом уютном помещении, расположенном на корме баржи. Илья Федорович бросает под тахту Мародеру кусочки рыбы, рассказывает о жизни, о своей работе, сетует, что должность его недооценивают, называют по-старинке шкипером, хотя от баркасов и шитиков гнилой доски не осталось, речной флот изменился, сделался совсем другим.

— Это неправильно! — вскидывает брови Илья Федорович. Он торжественно одергивает на себе пиджак с надраенными якорями: — Я есть капитан крупнотоннажного наливного несамоходного судна! — Илья Федорович даже побледнел от гордости. Он кивает в крохотное оконце, в квадрате которого просматривается часть букси-

ра, высоко вскидывает подбородок: — Возчики. Только и делов, что тягать грузы… — Помолчал, дожевал нельму, хвост под тахту кинул, серьезно произнес: — Мне доверено ценное народнохозяйственное добро, на миллионы рублей. Я отвечаю за него, обязан доставить топливо до Витима, сдать на танкер все до грамма. — Снова помолчал и с завидной важностью добавил: — Топливо — главное средство для жизни на севере. Оно дает людям свет, тепло…

Илья Федорович родом из тихого украинского городка Нежина, того самого, что славится знаменитыми огурцами. Юношей подался на Лену, приобрел профессию судоплотника. В навигацию шкиперил, зимой плотничал. За четыре с лишним десятка лет пообжился на севере, завел семью, сроднился с суровым краем. Единственно, к чему так и не сумел привыкнуть — так это к хиузу. Есть такой ветерок на севере. Злющая штука. Нет от него никакого спасения. Не помогают ни тулупы, ни чесанки. Как потянет ветерок в шестидесятиградусный мороз, жизнь делается немила. Снимаешь рукавицу — будто руку суешь в огонь. Хиуз, как мошка, лезет под одежду, жалит, режет тело ножами, вонзается раскаленными иглами.

— Кто нашего хиуза не испытал, тот и горя не

узнал.

Однако тут же себя опровергает. Как-то зимой Илья Федорович навестил родственников в Нежине. Долго там не сумел продержаться. Влажный воздух и частые ветры доконали его похлеще сибирского хиуза.

— Влага не по мне, — продолжает Илья Федорович свою жизненную повесть и вспоминает, как подарил сестре в Нежине ондатровую шапку: — Через тройку лет сгнила меховая шапка, а у нас в Сибири ей сносу нет, потому как воздух сухой, здоровый.

Илья Федорович какое-то время смотрел в распахнутую дверь, щурился на проплывающие за бортом таежные картины, протяжно вздыхал, а через минуту, то ли устав от капитанских дел, то ли беседа его притомила, прилег на тахту, надвинул на голову одеяло, и мощный шкиперский храп сотряс кухоньку. Задребезжала крышка на чайнике, испуганно припал к полу рыжий Мародер. Богатырский храп капитана-шкипера, заглушающий гул винта и кипение воды за кормой, свидетельствовал о недюжинном здоровье, крепких легких, напоминал о неписанной заповеди, по которой выходит, что сибирский речник умеет и трудиться, и хорошо, солидно отдохнуть.

И снова вечереет. Перед Чертовой дорожкой, участком реки, прозванным так за изгибы и отмели, по радиотелефону «Кама» раздается строгий голос, требующий на связь капитана.

— Кэп болен, — докладывает в трубку штурман. Вахту сейчас несет он.

— Хм… болен… ну, ну, — трубка недоверчиво замолчала, и опять жесткий деловитый голос: — Что в наливной барже везете?

— Мазут.

— А почему, — взрывается трубка, — нет опознавательного знака? Где красный фонарь?

— Виноваты, — уныло соглашается штурман. — Постараемся исправиться. — Настроение у него заметно падает. Он притапливает клапаны переговорного устройства, ворчит в сторону: — Прицепился, банный лист! Фонарь ему давай. И без того разряжены, как новогодняя елка.

Наш состав, счаленный из многих посудин, и впрямь похож на щедро убранную новогоднюю елку. Зажженные лампочки на мачтах ярко сверкают в быстро сгущающихся осенних сумерках. Белые, зеленые, синие — в этой веселой иллюминации не достает лишь красного огня. Трубка между тем наседает:

— Дремлете?

— Нет у нас красной обертки, — признается штурман. — В Пеледуе достанем.

— До него можете не добраться. Впереди кривляки́ Чертовой дорожки. Щёки, Пьяный бык, свальные течения.

— Как-нибудь пролетим.

— Да, да, залетите!

Минут через двадцать на буксир подымается обладатель голоса в трубке — худощавый, пружинистый мужчина, в безукоризненно пригнанном к его ладной, спортивной фигуре синем кителе. Решительное лицо, волевой подбородок, узкий разрез живых цепких глаз, густые, черные, аккуратно подстриженные волосы, такая же черная, подправленная бритвой полоска усов. Ухватистым взглядом прошелся по рубке, приметил босые Славины ноги, недовольно дернул полоской усов:

— Как на пляже!

Слава тотчас слинял из рубки, шлепая голыми ступнями по трапу.

Инспектор принадлежал к тому типу людей, которые одним своим появлением вносят атмосферу подтянутости и строгой деловитости.

В ожидании крупного разговора штурман сник. Инспектор покопался в своем планшете, извлек

из него кусок красного целлофана, пошарил глазами по рубке, молча вышел на ходовое крыло, что-то помастерил на боковом кронштейне, пока там не вспыхнул красный отблеск, вернулся на мостик, стряхнул с обшлага пылинку, помягчевшим голосом произнес:

— Минутное дело — и вся проблема.

— Это точно, — поспешил согласиться штурман. Он догадался, что гроза миновала, приободрился, расправил плечи.

Какое-то время человек в синем кителе наблюдал за действиями штурмана, затем поинтересовался болезнью капитана.

— У Чембалово садился в лодку, макнулся малость.

— Простудился?

— Температурит. До Витима оклемается.

— Вахту за него стоите?

— Ну!

Инспектор внимательно вгляделся в утомленное лицо штурмана, потом взглянул в почерневшее ночное стекло, спросил:

— По Чертовой дорожке ходили?

— Ну!

— Сверху или снизу?

— От Витима.

— Значит, снизу. Это проще, — размышлял вслух инспектор. — Вывершить реку легче, не та скорость, руль послушней. — Он взял бинокль, долго и цепко изучал обстановочные огни на реке, потом взял трубку телефона:

— Яковлич! Заходи по носу состава, побудь лоцманом.

— А чего же, сделаем, — добродушно отозвалось в трубке.

Инспектор занял место у реверса и, заметив впереди по курсу лоцманский огонь, коротко приказал штурману:

— Два градуса правее.

Кривляки Чертовой дорожки мы проходим благополучно, и вскоре караван вступает в узкую расщелину — Ленские Щеки. С обеих сторон вертикально подымаются отвесные скалы. Мало сказать, что скалы высокие. Каменные стены их, сливаясь с ночной тьмой, как бы продолжаются в ней и потому кажутся гигантскими. Когда-то здесь побывал Гончаров. «Огромные, величественные утесы, — отмечал он в дневнике, — они… дики, страшны, так что хочется скорее миновать их». Писатель проезжал в этих местах днем, да еще зимой, когда в лучах солнца искрился лед, но и тогда он испытал невольный

страх перед каменными исполинами. Это же чувство, только многократно острее, овладевает человеком, когда проходит он через Ленские Щеки ночью, по кипящим свальным потокам.

Нависшие камни подавляют, угнетают. В соседстве с базальтовыми громадами ощущаешь себя беспомощным, малым существом. Буксир и баржи, выглядевшие до того великанами, сжимаются в воображении до спичечного коробка, а люди, кажется, превращаются в пылинки. Мрачной черной трубе нет конца. Быстрей бы пройти каменную теснину, вырваться из холодного мешка, вздохнуть полной грудью.

Ощущение тоски и безнадежности еще более усиливается, когда раздается тифон: гудок прерывистый, короткий. Отраженный утесами, он заполняет собою ущелье. Его звук подобен прыгающему мячу: отскакивает от скал, несется справа и слева, мчится за корму, нарастает спереди, мечется, ширится… Многократно повторенное эхо делается упругим, мощным, огромным…

Сразу за Щеками — другая достопримечательность: навстречу, перегородив реку, с тупым упрямством рвется странное чудовище. Сутулый кряж похож на морду разъяренного быка. Глаза налиты кровью, над массивным лбом вскинуты

рога, ноздри широко раздуты, холка вздыблена. Никакая сила не способна усмирить взбешенное животное, заставить его уступить дорогу.

Рассказывают, что в этом месте какой-то купец провозил на баркасах быков. Купчишка был веселого нрава, решил он быков побаловать пивком, откупорил несколько бочек. Быкам то зелье понравилось, угостились вволю. И разнесли в щепы баркасы. Ярость, хриплый рев обезумевших, тонущих животных вроде даже отпечатались на камне, который с той поры так и прозывают: Пьяный бык!

Этой ночью мы преодолели один из самых сложных участков средней Лены. Лишь под утро, когда за стеклами рубки посветлело, инспектор, еле разлепляя усталые глаза, перебрался на свой катер. Когда я поинтересовался у штурмана, кто это был, он так и уставился на меня, будто впервые видел.

— Миша Спиридонов! Его вся Лена знает!

О Михаиле Федоровиче Спиридонове я был наслышан. Выходец из якутской семьи охотников, он, связал свою жизнь с речниками. Был матросом, механиком, судоводителем. Первый на Лене стал капитаном-пятитысячником, водил большегрузные танкеры от Витима до низовьев,

за что был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Нынче возглавляет на Лене службу безопасности судовождения. Забот у него хватает. Характер у реки своенравный, капризный, коварный. Туманы и шиверы, свальные течения и блуждающие зарубы, скрытые подвалы, черная вода, межень! Фарватер забит теплоходами, буксирами, плотами, лихтерами, баржами, глиссирующими катерами, «вихрями» — все это движется, снует, мчится, торопится. Чуть зазеваешься — ткнешься в борт соседа или самого проломят, выскочишь на осередок, тогда приступай к распаузке, а то и вовсе будешь обсыхать.

Должность у Михаила Федоровича беспокойная, отнимает много сил и времени, но справляет он ее добросовестно: где прижмет, а где и сам встанет за штурвал, вызволит из беды — это в его характере.

Ленские речники и поныне помнят июль семьдесят шестого года. Тем летом море Лаптевых было неспокойным. Но еще злее и суровей оно сделалось в одну из июльских ночей. Шторм перешел в ураган. Несколько часов кряду Спиридонов у Янского бора удерживал свой танкер носом на волну, подрабатывая двигателем. Огром-

ные черные валы били в корпус. Стекла рубки заледенели, за ними все смешалось в непроницаемой ревущей мгле. Танкер Спиридонова принадлежал к типу судов река-море. Только море, наверное, представлялось кораблестроителям не таким, каким оно было сейчас. Жесткие водяные валы силились раздавить судно. Одна волна не успевала уходить из-под кормы, когда другая, еще выше и злее, уже задирала нос. Судно провисало на закрученных гребнях, оно стонало, дрожало, скрипело… В такие минуты вся надежда на крепость корпуса, сварочных швов, заклепок и шпангоута. Только безумец мог бы сейчас отвернуть судно со штормового режима, что равносильно самоубийству…

И это сделал Спиридонов! Он так поступил по той простой причине, что рядом гибли люди. Капитан закачал пустые емкости балластом, притопил танкер едва не до планширей, круто изменил курс. Несмотря ни на что, экипаж судна шел на выручку другим. Умелыми, грамотными маневрами Спиридонов корпусом танкера прикрывал от беснующихся ветра и волн терпящие бедствия суда. Когда же понадобилось, Михаил Федорович без оглядки пошел на риск и снял с гибнущих кораблей экипажи. Таков Спиридо-

нов!

В рубке буксира-толкача мы вдвоем: я и третий помощник капитана Саша. Он стройный, длинноногий, с пластичными движениями и обаятельной улыбкой. Серый парусиновый костюм удачно пригнан к его элегантной спортивной фигуре. Саша то и дело поглядывает назад, на зацепленную тросом баржу.

— Томпо — Лимпопо… Томпо — Лимпопо…

Между мало кому известной сибирской речушкой Томпо, именем которой назван наш буксир, и Лимпопо нет ничего общего. Лимпопо — это Африка, жара. А здесь знобкий туман, мрачные скалы, угрюмая тайга. Но все равно:

— Томпо — Лимпопо!..

Настроение у штурмана приподнятое. Он знает, что по пути в Бодайбо встанет под частичную разгрузку в Витимске, где живет его невеста, — будет время повидаться с ней!

— Томпо — Лимпопо… — есть что-то мальчишеское в Саше, порою даже удивляешься и его весьма солидному титулу штурмана и тому, что доверили этому юноше тащить вместительную баржу с миллионным грузом по таежной магистрали. Но совершенно иные мысли овладевают мною, когда вспоминаешь, что Саша окончил

речное училище, прошел хорошую практическую выучку, был матросом, мотористом, вторую навигацию самостоятельно управляет судном.

— Томпо — Лимпопо… Томпо — Лимпопо…

И вдруг Саша затих: он заметил в реке лося. Саша начинает растерянно ерзать в штурманском кресле:

— Чего доброго, потопим!

Животное вращает головой, ноздри раздуваются, глаза налиты кровью. Крупные ветвистые рога высоко задраны над стремниной. Мы неуклонно сближаемся. Саша включает тифон, пугает лося, но все его усилия напрасны. Расстояние между нами сокращается. Штурман мог бы убыстрить или, напротив, сбавить ход, отвернуть в сторону… Но сложность положения заключается в том, что у нас на хвосте болтается баржа. И Саша не выдерживает, зовет на помощь капитана.

— Будем стопориться, — коротко говорит капитан.

Он отсылает штурмана и моториста на ют, подбить баржу, сам встает за штурвал. До того момента, когда мы должны были неизбежно навалиться на лося, баржу успевают подтянуть к нашей корме. Капитан, облегченно вздохнув, переводит реверс. Вблизи форштевня неторопли-

во проплывает красивое, благородное животное. Вскинутая голова торжественно покачивается. Лось будто благодарит людей.

Саша часто засиживается у меня в гостях. Он местный. Жизнь складывалась у него немудрёно: школа, армия, работа. На следующее лето он метит в капитаны. В этом нет ничего особенного. В Сибири народу недостает, люди здесь нарасхват, специалисты растут быстро. Нынешний курсант завтра будет судоводителем, диспетчер — начальником порта, штурман — капитаном. Для сибирских мерок дело это привычное, нет в этом ничего особенного.

У Саши есть на примете уже и судно с романтичным названием «Легенда». Теплоход небольшой, в сто пятьдесят «лошадей», экипаж из двух человек. «Легенда» особенно привлекает его тем, что приписана к речному поселку Витимск, где живет Сашина невеста Вера.

Последний раз молодые виделись в мае, когда Витим очистился ото льда и Саша ушел в плавание. С тех пор минуло четыре месяца. Близкое свидание по-настоящему волнует влюбленного штурмана. В свободные от вахты часы он занимается одним делом — сочиняет письма. Письма эти Саша не отправляет почтой, мечтает соб-

ственноручно передать невесте:

— Пускай прочитает все сразу.

…В Маме мы сгрузили часть овощей, контейнеры с мебелью, муку, бурильные станки, пошли дальше вверх по реке. Через несколько часов ко мне заглядывает Саша:

— Витимск!

Почту он засунул в кожаный портфель, туда же сложил ослепительно белый, из козьей шерсти мягкий платок, цветастый складной зонтик, плитку шоколада. Дважды приглашать меня не надо было. Я охотно увязался за влюбленным штурманом.

Со стороны реки горняцкий поселок слюдяников, стесненный гольцами, кажется скучным, даже неказистым — бревенчатые дома, редкие деревца, серое, бесцветное небо. Но все неожиданно и самым причудливым образом меняется, когда, ступив на галечный берег, забираешься по каменистому взгорку и вступаешь на деревянную скрипучую улочку. В палисадниках разбиты клумбы, непривычно, по-южному ярко полыхают жарки, астры, ноготки, ромашки. Двухэтажные деревянные дома выкрашены в теплые, нарядные тона: желтый, синий, красный, зеленый. Их сочетание придает поселку романтичный,

привлекательный вид.

Около конторы геологов многолюдно. Снуют машины. Огромные лобастые лайки лениво дремлют на припеке. В пыли возятся куры. В лучах солнца плавятся широкие стекла столовой, магазина. Из неглубокого распадка с шумом вырывается речушка. Чистая, прозрачная вода струится у рыжих валунов, мчится по живописным изгибам, катит под мостом и, пенисто разбиваясь на гладких камнях, срывается в Витим.

Верин дом расположен на краю поселка, по соседству с кедровником. Поджарый, пружинистый пес, гремя цепью, ластится к Саше, хвост колечком, уши торчком. Бревенчатый дом побелен, наличники обведены синим. Внутри дома та же чистота и прибранность. Деревянные полы, покрашенные желтой краской, сверкают, на них ни пылинки. На окнах висят свежие занавески, диван прикрыт пледом, в простенках висят соломки с золотистыми пейзажами Витима. В небольшой дальней комнате, в углу, закрытая чехлом, стоит арфа.

Истопленная с утра печь еще не остыла. Мягко тикают ходики на стене. Саша потянул цепочку, потом заглянул в холодильник, включил телеви-

зор, но смотреть передачу не стал, вышел во двор, принялся колоть дрова.

Через час с реки раздался басовитый гудок. Нам пора было возвращаться на буксир. Саша отложил топор, пошел к соседям. У них выяснил, что Вера подменила заболевшего бухгалтера, уехала выдавать зарплату горнякам. До слюдяных карьеров добираться долго. Саша повздыхал, зачем-то извинился передо мной, разложил подарки на диване, написал Вере записку.

Дом мы оставили открытым, как и нашли его — без замка.

— В Сибири не вешают замки, — пояснил Саша, — мы к ним непривычны.

Неудачное рандеву огорчило парня, но он крепится:

— Через пару дней обернемся из Бодайбо — ждать будет.

Однако, как говорится, человек предполагает… В Бодайбо мы пришли ближе к вечеру. Только прислонились к огромному, выше корабельных мачт пирсу, как по радиотелефону раздался напористый сиплый голос диспетчера:

— Отцепляйте баржу и скачите в Пеледуй, притащите скоропортящийся груз на двух лихтерах.

Наш капитан хотел что-то возразить, но трубка

выдохнула:

— Прогноз обещает шугу, а там и сало пойдет. Оставите золотишников без ананасов и сами влипнете в случайный отстой. Как понял, Вольдемарыч.

— Ясно понял, — вздохнул наш капитан Вольдемарыч, а по паспорту Григорий Владимирович. — Только мы едва догребли до вас, полетел масляный насос.

— Дадим новый, — напирала трубка, — сколько времени понадобится на ремонт?

— Часа четыре.

— Добро!

Масляный насос «выручил» меня. Я воспользовался паузой и на портовской машине добрался до ближайшего прииска.

Слова известной песни о том, что золото роют в горах, нынче не совсем верно отражают действительность. «Желтую пшеничку» добывают главным образом со дна рек, протекающих у подошв заснеженных гольцов. Копают породу с помощью гигантских драг, внешне напоминающих земснаряды, оборудованных черпаковой цепью, великанными ковшами и гидромониторами.

— Солнце металлов! — Дражный мастер

небрежно стряхивает в таз красноватый песок. Громко шурша, земляное золотишко сыплется по его заскорузлой ладони, по грубоватым коротким пальцам.

Знаменитые старательские песчинки на Витиме крупные. Бывали случаи, что выворачивали из земли и пудовые самородки. Со смешанным чувством я трогаю золото, только что извлеченное из песка. Во все времена оно одним приносило счастье, другим — трагедии, служило мерилом богатства и нищеты.

На бодайбинских приисках в тысяча девятьсот двенадцатом году жандармы расстреляли бастующих рабочих. Эхо тех залпов прокатилось по всей России и отозвалось в чеканных строках Демьяна Бедного:

О братья! Проклят, проклят будет,
Кто этот страшный день забудет,
Кто эту кровь врагу простит.

Из Бодайбо «скачем» вниз по ночному Витиму. Справа остается густая россыпь ярко-желтых, похожих на крупные самородки огней «золотого города». Слева мелькает электрическая гирлянда Мамаканской ГЭС. С ходу проскакиваем перекаты Булыжный, Собачьи норки, Брызгунья. Вскоре

справа, среди мерцающих скал, замаячили неотчетливо огни.

— Витимск!

Саша торопливо включает киловаттный прожектор. Мощный бело-синий луч света рассекает густую темень, выхватывает сонные строения, отражается на стеклах в окнах знакомого дома. Киловаттка мигает, но окна остаются безучастны. Саша упрямится, бледнеет, кусает губы и вгоняет в окна столько света, что дом, кажется, вот-вот охватится пожаром.

Мы быстро удаляемся. В последнюю минуту, когда судно уже отвернуло в излучину и строения вот-вот должны были скрыться за крутым изгибом, зажглись окна, за стеклом резко откинулась занавеска, мелькнула легкая девичья тень.

— Вера, — негромко, почти шепотом произносит штурман. Он перестает терзать губы, лицо согревается обаятельной юношеской улыбкой.

После витимского похода в Пеледуе миловидная девушка-диспетчер с густыми светлыми волосами, оттеняющими наведенные тени под глазами, пробежала взглядом мое удостоверение, пожала острым плечиком:

— Что вы от меня хотите?

— Хочу дальше спускаться вниз по Лене на

современном корабле.

— Кораблей у нас не бывает, — поправила она меня, — так речники не говорят.

— На современном судне, — поспешил я исправить ошибку.

— Пока ничего подходящего нет, — дернула острым плечиком диспетчер. — Придется подождать. Не пойдете же вы на лаптёжнике? — И она кивнула в сторону окна.

Из окна пристани я разглядел «лаптежника». Колесный пароходик напоминал раскоряченного краба. Продвигается неловко, будто карабкается по воде. Отчаянно пыхтит. Длинная, голенастая труба нещадно чадит. Корма с выгнутыми арками похожа на панцирь. С боков, словно огромные уши, посажены кожухи, из-под них торчат плицы-лапты, с глухим стуком ударяющие по воде.

С «лаптежниками» я уже знакомился. В Осетрово, помнится, я побывал на одном из них — «Титане». С глубоким почтением ходил я по дощатой, пропахшей мазутом и маслами палубе речного старца, заглядывал в крошечные каютки, говорил с командой и с удивлением узнал, что речной трудяга не уступает в силе тому же толкачу, запросто тянет тяжеловесные составы. В тех местах, где современный буксир застрянет,

«лаптежник» шлепает свободно. Не страшна ему межень, не боится он «черной воды», запросто топает по перекатам и отмелям.

Еще недавно колесники были обречены, готовились на слом. Потом корабелы одумались. По их выкладкам вышло, что колесники — не только прошлое речфлота, но и его настоящее, больше того — будущее! На ленских верфях нынче закладывают колесные суда. Новые «лаптежники» уже бороздят Лену и ее притоки; они незаменимы в верховьях, где подчас не проходят даже легкие глиссирующие пассажирские суда. Получше разобраться: «лаптежники» не так уж и похожи на лапти. Напротив, они по-настоящему красивы, можно сказать — даже эстетичны. Конструкция колесника, его формы, даже расплющенность целесообразны, гармоничны, естественны. Колесник слитен с рекою, составляет с ней одно целое. Да и силищей наделен немалою. Так наподдаст волной — пошатываются пятитысячники! Речной богатырь!!!

Мои размышления прервала группа речников, шумной ватагой ввалившихся в диспетчерскую. Среди них выделялся коренастый мужчина средних лет, с веселым прищуром синих глаз. Узнав, в чем дело, он тут же решил проблему:

— Могу взять с собой. Закачаюсь топливом и отправимся в низовья.

Танкер наш автоматизирован. Дать ли ему ход, застопорить, отвернуть в сторону, даже якорь отдать — знай жми кнопки. Судно буквально нашпиговано сложнейшей аппаратурой, с помощью которой дистанционно управляют двигателями, рулевыми перьями. Есть эхолот, локатор — словом, сплошная автоматика. Прежде, бывало, упрутся два дюжих кормщика в весло-правило́ и едва управляются с баркасом на перекатах, семью потами исходят. Ни приборов не было, ни комфорта. Теперь судоводитель посиживает в мягком кресле, курит сигарету, нажимает кнопки — дамская работка!

Все это так. Вместе с тем танкер водоизмещением в тысячи тонн, длиною больше сотни метров, с трехметровой осадкой ни в какое сравнение не идет с плоскодонным легковесным деревянным барком. Железному гиганту тесно в Лене. «Дамская работка» требует от судоводителя напряжения всех сил, ювелирного мастерства. Оттого и не сходит ночью с мостика капитан.

Каюта у меня светлая, отделана пластиком. Прямо-таки стерильная чистота царит повсюду, от машины до рабочей палубы, которая в лучах

нещедрого северного солнца сверкает белой краской.

Порядок и прибранность на танкере поддерживается Федоровной. Каждое утро, вооружившись ведром и шваброй, она трет, чистит до блеска салон, рубку, каюты, трапы, коридоры, поручни. Да и сама опрятна, делает приборку в свежем белом халате и как бы сливается с тем сверканием, что поддерживается ее старанием. Когда же «марафет» закончен, Федоровна снимает халат, надевает клеенчатый фартук, идет в прачечную, включает стиральную машину.

Федоровна сибирячка. Она невысокого роста, полная, улыбчивая. Жизнь у Федоровны складывалась непросто. Муж ее, любитель больших скоростей, однажды наскочил на «Вихре» на сухогруз… На ее плечах осталось двое детей. Чтобы поднять их, зимой она работает в столовой, летом устраивается матросом. Я привык к тому, что Федоровна с утра до вечера в делах, поэтому был крайне удивлен, когда однажды вечером, зайдя к ней в каюту, застал ее за столом, ломящимся от… книг. Федоровна склонилась над лоцманским учебником, большие круглые очки делали ее лицо непривычно серьезным. Она что-то вычерчивала в тетради. Мой неожиданный приход

нисколько ее не обескуражил. Просто, будто о чем-то будничном, стала рассказывать о том, что учится на втором курсе заочного отделения в речном училище. Мечтает стать капитаном. Ни больше ни меньше: капитаном! Федоровна не испугалась недоуменного выражения на моем лице. Не стала доказывать, убеждать. Просто повторила: «Буду капитаном».

Я подсчитал: если к ее возрасту прибавить время, которое понадобится для окончания училища, работы штурманом, набора плавательного ценза, то до выхода на пенсию в 55 лет она при самых идеальных условиях сможет проработать капитаном всего лишь год. Стоит ли ради этого корпеть над книгами, лишать себя отдыха? На мои возражения Федоровна с сибирской настойчивостью, нисколько не впадая в пафос и все с той же открытой улыбкой говорит:

— Пускай капитаном буду год. Но этот год будет моим.

И опять склонилась к учебнику — в очках, с карандашом в руке, с удивительной мечтой, на пути к которой ее ничто не остановит. Не собираюсь утверждать, был ли то каприз или настоящее призвание, но уверен, что в движении к большой заветной цели для человека, обладающего харак-

тером, не может служить помехой ни возраст, ни житейские заботы, ни мещанские подсчеты. Федоровна относится именно к ним, таким людям. И характер у нее настоящий, истинно сибирский!

Самый юный на танкере Саша Титов. Он только что окончил Горьковское речное училище. Собрал чемоданишко: нательное белье, зубную щетку, пасту, отправился по распределению в незнакомую далекую страну. Лет Саше немного, но должность у него значимая: он начальник радиостанции, пробивается морзянкой через тьму и туманы, видит и слышит на тысячекилометровые расстояния. Понадобилось мне связаться с Москвой, поговорить с домом, — Саша запросто «достал» столицу. А когда Евражка приболел, Саша обстучал береговых лекарей, разыскал-таки ветеринарного врача в Иркутске.

Первая навигация, первые шаги. За лето он поднаторел в радистском деле, появилась хорошая уверенность в себе. Хозяйство у Саши внушительное. Станция оборудована тончайшей, точно выверенной аппаратурой. Но юному технику неймется, зудит в нем творческая жилка. Не нравится молодому специалисту телеграфный ключ. Тяжеловат для пальцев — тире с точками неровные. Поэтому мастерит Саша ключ элек-

тронный — руке легче, сигналы точнее.

У Саши имеется уже и профессиональная мечта. Намерен он поступать в Макаровку — Высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова.

И вновь идем по Лене. В том месте, где Пеледуй вплотную подступает домами к берегу, на крутом яру стоит скульптура речника. Она выполнена в полный рост. Речник в форме, в руках у него бинокль, сосредоточенный взгляд обращен вдаль. Именно сюда, на это место, пришел в последний раз Александр Константинович Бабичев. Известный ленский речник прощался с сибирской рекой, которая его выпестовала.

С именем этого человека здесь связано многое. Бабичев первым провел по верхней Лене тяжеловесный состав в двенадцать тысяч тонн, запросто толкал великанные караваны по ограниченным габаритам судового хода. Рассказы о нем стали легендой. До сих пор речники вспоминают драматический эпизод, произошедший в Быковской протоке. Теплоход штормом выбросило на песчаную косу. Когда вода упала, судно начало обсыхать, оказалось под угрозой гибели. Все попытки стащить аварийщика с отмели ни к чему не приводили. Положение казалось без-

выходным. С гибелью судна смирились, махнули на него рукой.

Жизнь теплоходу вернул Бабичев. Александру Константиновичу помогли не только опыт и характер, но и природная смекалка. Винтами своего буксира он погнал мощную струю, пробил спасательную брешь в песчаной косе.

Александр Константинович Бабичев не дожил до того дня, когда ему присвоили звание лауреата Государственной премии, совсем немного.

С Зинаидой Васильевной Бабичевой я познакомился там же, в Пеледуе. Невысокая полная женщина с печальными глазами поливала цветы у подножия памятника речнику. Вместе с ней мы долго бродили по живописным улочкам, обсаженным сосною и акацией. Зинаида Васильевна рассказывала о человеке, который был и остается для нее самым дорогим и близким. Говорила о том, как однажды Бабичев выручал речников, попавших в случайный отстой: в тот раз оборвался трос, Бабичева хлестнуло, отливали водой. Когда сознание вернулось и он почувствовал себя лучше, то не тотчас вернулся домой — ждал, пока окрепнет, не хотел показываться в семье «ушибленным», беспомощным. Не терпел он слабости в других, и сам был сильный.

— После того случая, — тихо произносит Зинаида Васильевна, — и началась у него болезнь.

А до того было еще… В октябре, по местным меркам, время критическое — окончание навигации, — оттащив связку барж со скоропортящимся грузом в Жатай, Бабичев рванулся вверх по Лене, уже закрывающейся шугой. Может, и успел бы добежать домой, но у Елового переката наткнулся на застрявший в протоке рефрижератор. Не прошел мимо, совесть не позволила. Пока его цепляли к тросу, дергали, а потом и тащили несколько километров вниз, уходило дорогое время. Только повернули опять домой — настигает строгая радиограмма, предписывающая идти в Жатай на зимний отстой. Быть может, Бабичев так и поступил бы, не стал искушать судьбу, но чутье подсказывало, что успеет пробиться в Пеледуй.

Есть у ленских, да и не только ленских, речников неписаная заповедь: что бы ни случилось, в какие передряги ни попало судно, надо сделать все, чтобы привести его на зимовку в свой затон, бросить якорь у порога дома. За навигацию речник не раз проходит под боком родного поселка. Остановиться бы, обнять жену, поиграть с детишками, встретиться с друзьями, да некогда,

запарка! Северное лето короткое, чуть сбавишь обороты, задержишься, и рвется отлаженная, четко выверенная цепочка. Где-то застревают железнодорожные составы, копятся порожние машины, простаивают опустевшие причалы. Все ждут тебя, твой караван, твой груз. Эх, жизнь моряцкая!

Потому-то к осени одна мечта, одна мысль, одно желание — быстрей в родной затон, к семье, домой. Оттого и лезет буксир напролом, потому и сокрушает дрожащим форштевнем шугу и сало, вывершивает реку. Случись на эту пору худшее — река остановится, возьмет буксир в ледяные кандалы, — речники выйдут на лед, с ломами и баграми станут пробивать дорогу, на собственных плечах потянут судно домой.

Случайный отстой — ледовая каторга. Оторванные от внешнего мира, затерянные в стылом пространстве, не имея под рукой ремонтной техники, речники будут бороться за жизнь своего корабля. Будут окалывать борта, вгонять в вечную мерзлоту мертвяки, цеплять за них судно, сооружать ледорезы, производить выморозку, в холоде и неуюте ожидать весны.

Все речники Лены тогда с напряжением следили за поединком экипажа с рекой. Прогноз час

от часу делался грознее. У поселка Мача снова задержка: группа теплоходиков-путейцев со всем снаряжением и экипажами безнадежно застряла во льду. Пройти бы мимо, сами же на волоске! Забыв о собственной участи, обжигая руки на смерзшемся металле, бабичевцы взяли на трос бедствующих путейцев, оттащили на пятьдесят километров вниз, поставили в обжитой затон. И снова начали пробиваться вверх.

Потеряно дорогое время. Что ж, зато чувство выполненного долга придавало речникам силы, вселяло уверенность в себе.

За Ленском новая оказия: из-за поломки двигателя на толкаче в западню попали лихтеры и рефрижераторы. И опять бабичевцы шли вниз, тянули воз. Уже под самым Пеледуем они подцепили две застрявшие баржи. Едва трудяга-богатырь вошел в родной Пеледуй и бросил якорь, как ударил тридцатиградусный мороз. Река остановилась.

В истории Ленского речного пароходства то был единственный случай, когда одним приказом капитану объявлялись и выговор, и благодарность. Выговор — за ослушание. Благодарность — за самоотверженность.

За кормой танкера остаются десятки пере-

катов, города и поселки. Лена делается шире, полноводней. Берега раздвигаются, порой их не достанешь и в бинокль. Тайга сменяется низкорослым кустарником, переходящим в оголенные плоские равнины. Все чаще видишь аласы и бадараны — предвестники Заполярья. Деревья в этих широтах не успевают набраться силы, они тонкие, корявые — худолесье. Вместо пышных трав землю закрывают клочья сохлой полыни и типчака. Слева, среди шхер и песчаных кос, одиноко горбится остров Аграфена. На нем, по якутским поверьям, некогда ютилась злая женщина, насылавшая на людей хвори. В жестких контурах холма, его бесцветности есть что-то холодное и впрямь недоброжелательное. Аграфена привлекает внимание еще и тем, что через этот остров проходит Полярный круг.

Река стала шире, глубже, а вахта спокойней. На вахте старпома я пришел в рубку. Он разговорился, сыплет анекдотами, забрасывает меня вопросами, от которых иной раз проступает испарина. Ум старпома настроен философски, с оттенком нигилизма. Не щадит старпом ничего.

— Прежде экипаж набирали из тридцати пяти человек, а теперь — вдвое меньше! — Старпом торжественно молчит и, словно уличив меня в

недозволенном, с чувством провозглашает: — Получается, что технический прогресс потесняет человека!

Достается от него и любителям природы.

— У нас их тьма-тьмущая, — говорит старпом, доставая записную книжку. — В той же Якутии действуют три районных, столько же городских советов по охране природы, созданы одна тысяча сто тридцать девять первичных организаций, насчитывающих семьсот пятьдесят коллективных и сто три тысячи индивидуальных членов. При республиканском совете работают девять секций, тридцать семь общественных инспекций, триста шестьдесят семь зеленых и голубых патрулей, научно-технический и методический кабинеты, десять Народных университетов и факультетов. Есть сто шестьдесят три уголка природы, двенадцать кинолекториев... — Старпом передохнул, сказал: — Силища! Направлена на сбережение природы, ее охрану, развитие... — Снова помолчал, прокашлялся, провозгласил: — А природа... гибнет! — Он снова заглянул в свою книжку: — За последние годы лесная полоса отступила к югу на сто двадцать километров. Уменьшились стаи птиц. Участились пожары. Иссякла рыба. Раньше добывали в низовьях Лены сорок тысяч

центнеров муксуна в год, сейчас — четыреста центнеров. Четыре тысячи центнеров нельмы, теперь — полцентнера!

На моем лице, очевидно, отобразилось нечто, что привело старпома в доброе расположение. Он захлопнул злополучную книжицу, примирительно произнес:

— Понимаю, с техническим прогрессом и любителями природы вам не управиться. Но раз уж вы, писатели, взялись за нас, речников, могли бы и подсобить нам.

Подсобить надо было в следующем: проблема — в наименовании судов. Попадаются среди них такие, что, как говорится, с одного приема не одолеешь, дыхания не хватает. Взять, к примеру, сухогруз «Двадцать пять лет Осетровскому судостроителю». Тот факт, что в Осетрове создают мощные современные речные корабли, сам по себе прекрасен, говорит о многом и прежде всего свидетельствует о развитии в Сибири производительных сил, о росте строительной индустрии. Это хорошо. Неплохо и то, что Осетровской судоверфи исполнилось четверть века. Тоже событие знаменательное. Об этом следует писать и говорить. Но совершенно иной оборот принимает дело, когда многословная юбилейная

фраза, вобравшая в себя и обозначение порта, и дату, и производственный профиль предприятия, становится названием судна. Хороший замысел превращается в свою противоположность и мешает нормальной работе речников.

В самом деле: название судна повторено на его бортах, в кормовой части, с обеих сторон рубки, на спасательных кругах, плотиках. Судно буквально облеплено со всех сторон множеством отдельных слов, которые иной раз не умещаются на корпусе. Многозначное название занимает огромные площади, на него расходуется большое количество краски, от него непомерно разбухает судовая документация.

Главный же недостаток видится в том, что гигантская фраза отнимает у речников много времени. Та же короткая радиограмма из двух слов благодаря многословному названию судна вырастает в целое послание, что в значительной степени затрудняет работу штурманов, диспетчеров, береговых служб. Поступила, к примеру, радиограмма с берега: «Сдайте подсланевые воды» — всего три слова. Ответ и того короче: «Ясно, понял». Но довесок к ним весьма солидный: наименование судна вдвое длиннее делового текста.

По радиосвязи часто раздается: «Сэпээн шестьсот шестьдесят два бэ, ответь сэпээн шестьсот семьдесят девятому бэ», «Эф фэ девятьсот тридцать седьмой — сделай отмашку эс тэ восемьсот семьдесят третьему».

Пока выстраиваются многосложные обозначения, суда тем временем сблизились, возникла аварийная ситуация.

Речники как могут выкручиваются из терминологического косноязычия, делают это на свой манер, пользуются и знакомством: «Яковлич, моргни-ка кормовым». — «Добро, Андреич».

Нередко вносят они и долю шутки, хорошего юмора. Навстречу нам поднимается сухогруз венгерской постройки. Кронштейны у него нависают над бортами, похожи на уши забавного телевизионного Чебурашки. И разносится по связи: «Чебурашка, потеснись левее». — «Ясно, понял, петушок!»

«Петушками» величают суда, названные в честь композиторов. Работают на Лене «адмиралы», «бочкарики», «чешки», «рогали», «кайманы». Последние получили нелестное прозвище потому, что частенько вылезают на береговые отмели.

...В том месте, где начинается дельта Лены,

судно замедляет ход. Прямо по носу надвигается каменная громада. Камень стоит в середине русла. За непомерные размеры и высоту его называют Столбом. Непросто сказать, какая сила занесла исполинский осколок черного гранита в реку. Удивление возрастает, когда замечаешь, что крутые его бока отвесно падают в воду, поблизости нет ни скал, ни хотя бы отмелей. Одинокий каменный останец! Посреди реки! Его поверхность как бы оплавлена. Сглаженными линиями, мрачным цветом, округлым контуром, странной обнаженной одичалостью каменная глыба резко контрастирует с окружающим ландшафтом, как бы даже отторгается от живой природы. Глядя на Столб, невольно вспоминаешь загадочный знаменитый тунгусский метеорит, промчавшийся над Сибирью огненным смерчем, сжегший тайгу на сотни километров. Десятки экспедиций разыскивали остатки небесного посланца. Тщетно! Ни единого осколка. Как знать, не есть ли монолит, всаженный с размаху в воду, тем метеоритом? Тем более в легендах и преданиях, связанных со всякими сколько-нибудь заметными природными явлениями, о Столбе нет никаких упоминаний. Значит, камень молод, следовательно, он появился сравнительно недавно!

Одинокий Столб стал естественным волноломом, в который, преодолев четыре с половиной тысячи километров, с разбегу ударяется Лена, разбиваясь на мощные протоки, образующие величайшую на планете речную дельту.

На одном из многочисленных островов дельты, среди замшелых камней поставлена стела, опутанная чугунной цепью. Ее вершину венчает трехмачтовый парусник. Здесь в 1881 году замерзли участники американской экспедиции, руководимой Де-Лонгом. Трагически окончилась их попытка добраться на паровой яхте «Жаннета» к Северному полюсу.

В этих местах не так уж редко можно увидеть скромные цветы, положенные у могил. Лежат они и на могиле потомка известного Санникова, который помогал полярным экспедициям, в их числе экспедиции Фритьофа Нансена, за что был награжден шведским королем золотой медалью. Печальные надгробья-камни лежат в низовьях Лены — где под дерном, где в вечной мерзлоте. Они напоминают о многих безымянных русских людях, двинувшихся еще в семнадцатом столетии обживать Арктику и «великую реку Лену, угодную и пространную». По ее берегам разбросаны холмики могил «вожей» — так именовали

проводников, храбрых охотников-аборигенов, которые были преданными друзьями и незаменимыми помощниками Прончищева, Челюскина, Седова, братьев Лаптевых…

…От Столба до Тикси проходим Быковской протокой. Справа наплывают голые серовато-зеленые холмы. Судно плавно покачивается. Мы еще находимся в реке и в то же время уже выходим в море. За последним, Черным перекатом, единственным перекатом в стране, где из-за торфянистого черного оттенка воды судовой ход для лучшей видимости вместо красных огней ограждён белыми и зелеными, по судовой трансляции раздается голос капитана:

— Прошу всех подняться наверх!

Голос негромкий, с долей ленцы, слова произносятся замедленно, почти устало, но столько в них внутренней силы, острого чувства, что через мгновение на судне начинается шарканье ног, хлопанье дверей, тревожные восклицания. Да и то: за все время рейса Виктор Андреевич Видеман ни разу не воспользовался спикером. Что же чрезвычайное случилось теперь?

На мостике тесно. Густая темнота облепляет судно, наваливается на рубку. Взгляды всех направлены в ночное небо. Там, среди неяркой

звездной россыпи, открывается фантастическая картина! Серебристое, струящееся сияние заполняет все вокруг. Бесшумные сполохи мчатся сверху, отражаются в маслянистой воде Черного переката, и тогда кажется, что они устремляются вверх, навстречу новому потоку. Нижняя кромка света резко обрывается, мерцающая лавина растекается в стороны, затем разом гаснет и с новой, еще большей силой полыхает холодным мертвенным огнем. Кто-то рядом певуче произносит:

— От красота-а! Николы не бачив такого дива!

Лишь старпом верен себе. Разлепляя сонные глаза, ворчит, что, дескать, стоило ли тревожить народ из-за таких пустяков.

— Я на это диво вторую ночь любуюсь без передыху.

Дружный хохот сотрясает рубку. Смеются все, даже капитан. Затем наступает тишина. Снова все заворожены, загипнотизированы редчайшим зрелищем.

Мы идем навстречу северному сиянию и Северному Ледовитому океану.

Н. Флеров
ЕГО ПРИЧАЛ
(О поэте А. Лебедеве)

Одна из самых дорогих книжек моей флотской юности — тоненький сборничек стихов в темно-синем переплете с кратким выразительным названием «Кронштадт» и с короткой надписью автора: «...Дружески Алексей Лебедев». И название книжки и надпись в морском характере друга: на флоте одно слово часто вполне заменяет целые фразы. Особенно у подводников.

Так и вижу давние-давние дни, когда при очередном увольнении на берег мы встречались с ним в редакции газеты «Красный Балтийский флот», в большом доме штаба, что находился ровнехонько посредине между линкором «Октябрьская революция», где я служил, и Лешиными подводными лодками.

Попыхивая коротенькой трубочкой, Алексей в одну из таких встреч сказал, что готовит к печати книжку своих стихов. Мы были ровесниками, в одно и то же время начали печатать во флотской газете первые свои стихи о море, но, признаюсь,

о своем сборнике стихов я тогда даже не мечтал, более того, не определил — быть мне поэтом или нет. А вот Алексей уже и книжку готовил, да и совершенно точно установил для себя: быть военным моряком всегда, пожизненно, быть командиром флота, подводником. И еще — поэтом.

Прошли годы. Синенькая книжечка «Кронштадт» вышла из печати. Алексей, помню, вручил мне ее под сводами Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе незадолго до того, как закончил его и стал офицером-подводником.

В Кронштадте середины тридцатых годов был какой-то особый, ни с чем не сравнимый дух — это и близость границы, и островная оторванность от континента… И Алексей Лебедев уловил этот дух, нашел главное, независимое от административного и даже географического положения Кронштадта, нечто очень трудно передаваемое словами — им одним отмеченное движение волны, точно прошедшее через самое сердце, дыхание ветра, настрой души человека, покидающего этот город, или впервые ступающего на его проспекты, или же возвращающегося к нему после долгой разлуки.

Сказать о родном городе самые искренние слова можно скорее всего тогда, когда ты пережи-

вешь разлуку с ним. Алексей знал это. И потому под синей обложкой книги разместились стихи о прощании и встречах, о дальних походах. Сквозь кронштадтский туман видел Алексей, как «дороги блестят голубые, которыми плыть в океан». Но он знал, что вернется и снова будет служба и дружба на островной земле, где пришедших сюда служить из разных мест людей сдружил «братишка наш, общий чайник». «Братва наклоняет лица к эмалированным кружкам, едва наклонясь спесиво, ты острый льешь кипяток. Так близко лежит граница, а в марте метели кружат над вздыбленным льдом залива, и я на посту продрог».

Читаю маленькую книжечку с дорогой надписью, а вижу тридцатые годы в Кронштадте и наше непобедимое флотское содружье. А потом читаю о песне, что взвивается, «как громыхающий прибой, над отшлифованной до блеска кронштадтской звонкой мостовой». В стихотворении о флотской этой песне она, песня, не остается за порогом, она водила войска «от молов сумрачных Кронштадта до каракумского песка». Читаю и наконец-то вижу то главное, о чем все время думалось, когда вспоминал Лешу Лебедева: для него Кронштадт это всегда больше, чем сам

город, чем сам Кронштадт, это еще и флот, и вся страна, и что-то такое, что одинаково дорого и поэту, и его друзьям.

Все реже приходится мне бывать в одном из самых моих любимых городов. Но когда бываю, то только вступлю на кронштадтскую землю, иду от пристани прямо на улицу его имени. Здесь как бы экватор: теперь куда бы ни устремился, куда бы ни пошел по Кронштадту, все буду помнить, все буду думать о друге — певце флота.

Кронштадт Алексея Лебедева — он и сегодня все тот же. Здесь скорее всего вспомнишь, как он говорил, что «годна для всех условий, надежна и крепка, продумана на совесть одежда моряка». Ведь отсюда начинался когда-то флот, и люди избрали такую одежду, такую форму, что была «годна для всех условий»: «Зимой и в осень вздорную и в сумрачный апрель — хранит нас сине-черная солидная фланель. Что сырость нам постылая? Живем с погодой в лад, имея друга милого по имени бушлат...»

И опять посмотришь, стоя у памятника Петру, туда, где замерли у причала корабли, и дальше — туда, куда они уходят, и подумаешь, что для Алексея Кронштадт, сам Кронштадт — тоже ведь только причал, а главное — походы, учения. Он

так и пишет: «За камнем близких плоскогорий уже волны услышан звон». Или: «Передо мной открыли молы мой путь далекий и прямой».

Отчетливо вспоминаю первую встречу с Алексеем. Тогда в газете «Красный Балтийский флот» происходил какой-то военкоровский сбор, и там нас познакомил редактор газеты Александр Васильевич Плеско, как все его на флоте звали — «Борода», за огромную ухоженную светловолосую рыжеватую бороду. Леша в тот момент был, видно, сильно занят своим блокнотом, в который что-то вписывал, и потому он скользнул по мне обидно безразличным взглядом, поздоровался и снова уткнулся в записи. Я успел заметить его острые глаза. Казалось, ему достаточно взглянуть и сразу отвернуться, чтобы иметь представление о том, с кем его познакомили.

Совещание скоро закончилось. Лебедев расстался со своей записной книжкой и сразу же, как только редактор разрешил расходиться, подошел:

— Пошли к дому, если по пути. Прошу простить. Записывал мысль. А то забудешь и уже не вспомнишь. Так тебе куда? В артшколу? Значит, идти нам в разные стороны. Предлагаю тогда — в Петровский парк для небольшой прогулки.

Вот тогда, в самом начале беседы, а она была у нас, естественно, о море и о поэзии, Алексей и сказал:

— Море и поэзия, два слова, а для меня словно одно — и в жизни и в сердце. — И опять повторил: — И в жизни и в сердце!

Мы тогда говорили о многом, говорили с запалом, иногда перебивали друг друга. А фоном нашей беседы было море. Оно не синело, а белело, одетое льдом, за гранитными ступенями оголенного парка.

А стихи так и рвались из груди. Море и поэзия неотступно шли с нами и за нами, пока мы кружили по тропинкам парка, стараясь идти так, чтобы памятник Петру всегда оставался перед глазами. Тут наши взгляды сошлись сразу — к Петру, создателю регулярного флота России, мы с Алексеем относились с благоговением.

О поэзии говорили горячо, спорили, не умея иной раз как следует доказать другому свою правоту. Да и было о чем спорить. Много разных поэтов разных направлений, различной степени таланта было в поэзии двадцатых — тридцатых годов.

— Брюсова я люблю, — убежденно говорил Алексей. — За то, что у него умная поэзия. У нас

много печатается стихов, ге естдь рифмы, и более ничего. Даже мысль не всегда ясна. Ну а тебе кто больше по сердцу?

— Маяковский и Есенин.

— Интересное сочетание. А ведь они между собою, говорят, не ладили.

— Не то что не ладили, а понимали, что очень уж непохожи друг на друга и стихи их непохожи. Они разные, а мне одинаково дороги.

— Ты не помысли, что я их не люблю, — сказал Алексей. И тут же без перехода: — Я знаешь кого люблю — Тихонова и Багрицкого. Вот кого. У них энергия, сила. И конечно, Блока. «Двенадцать». Это как склянки на кораблях отбивают. Нет, как орудия стреляют. Читаешь «Двенадцать» — вспоминаешь Петропавловку, «Аврору». Слушай, а по-моему, они — Маяковский, Есенин, Блок — мало писали о море.

— На это есть поэты флота, вот как мы с тобой. А кстати, с чего это ты взял, что они мало писали о море? Разве «Левый марш» мало? Много стихов о море у Блока. Есть и у Есенина: «Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем». Видишь, «в твоих глазах увидел море». Сколько сейчас мы в нашей газете флотской печатаем стихов начинающих краснофлотских поэтов, и

у них там тоже глаза любимой сравниваются с морем. А оказывается, это давно сказал Есенин.

В тот вечер мы радовались сходству наших мыслей, привязанностей.

— Времени мало, — сказал Алексей. — Пока не разошлись, почитаем друг другу хотя бы по одному стихотворению. И — по боевым постам. — И доверительно добавил: — Я с морем не расстанусь пожизненно. И с флотом тоже. Мы говорим «поэзия», «морские стихи», а главное — твое место в общем строю. Будет это место — будет и поэзия. Мое место — на флоте.

Он говорил отрывистыми, рублеными фразами, очень похожими на него самого и не похожими на его стихи. Его движения были четкими, как ритмика короткого слова. И когда он говорил, например, «правильно мыслишь» или «мое место — на флоте», то при этом в такт своим словам поднимал и быстро опускал руку с трубочкой.

Алексей был физически сильным человеком, боксером, еще до службы в Военно-Морском Флоте он плавал на торговых судах. Роста он был среднего, коренастый, крепко — не собьешь — стоял на земле.

Мы читали стихи. Над холодным, но уже по-весеннему просветленным Кронштадтом распах-

нул огненные крылья закат. От этого на клотиках мачт загорелись яркие огоньки. Петровский парк, обращенный к заливу, тоже весь засветился, заискрился. Предчувствие весны закрадывалось в душу. Представлялось, как на этих покуда оголенных ветках деревьев парка распускаются листья, как заливаются боцманские дудки, созывая краснофлотцев на предпоходный аврал, и виделись узкие полоски вымпела, означающего: корабль в плавании, они, точно красные змейки, то свертываются, то распрямляются, напружинясь под ветром, указывая острыми концами своими путь кораблю — на вест! И Алексей, читая и слушая стихи, тоже все время смотрел туда, в море, куда идти ему всю свою жизнь.

Теперь можно сказать: если бы Алексей Лебедев написал только книгу «Кронштадт», он все равно остался бы в памяти людей певцом моря и флота. Тогда, в годы наших встреч, мы мало говорили о будущем наших стихов. Но теперь думается, что Алексей уже тогда мечтал о следующей книге, что расширяла бы горизонты его поэзии. И это почувствовалось еще при жизни его, когда вышла книга «Лирика моря».

Он воспел в гимне артиллерийскую таблицу. Он пишет о сигнальщиках, но это уже не общее

описание того, как взлетают флаги, а детали, вроде той, что «сигнальщик прочтет присущее каждой расцветке значенье быстрее, чем флаги взлетят до высот», — это деталь, которую можно приметить только на самой сигнальной службе, ибо тут речь о методе читать флаги до взлета к вершине.

Теперь начиналось новое направление маринистской поэзии Алексея: исследование глубин истории флота, проникновение художника в суть явлений прошлого в сравнении с настоящим. Фактически так и начинает он стихи: «Из мглы, которой мир окутан, сверкнули красные лучи, — маяк на траверзе Гангута мне открывается в ночи. То не прибой в протоках шхерных гудит, как отдаленный гром, то в море вышел флот галерный на курс, указанный Петром…»

Читая сейчас книжки друга, понимаешь, что Алексей уже тогда серьезно думал о поэзии и, может быть, видел свое в ней место, особое место. Он видел книжки свои, те, что были написаны, но еще не сданы в печать, и видел книжки те, что так и остались не написанными. Знаю, теперь, после разговора о Кронштадте, после «Лирики моря», была бы книга о рождении самого русского флота, о людях, создавших его, как есть стихи о

Петре и Нахимове. И была бы книга о рождении Советского Военно-Морского Флота, о преемственности флотских традиций. И была бы поэма о детище народа — флоте, проникнутая высокой лирикой, сотворенная человеком, который сам творил наш флот. Уже во второй, вышедшей при его жизни книге вырисовывается образ Алексея Лебедева лирика, уже видна его изысканная работа по соединению лирики и эпоса. И в этом одна из особенностей его поэзии.

В сороковом предвоенном мы встретились на Невском. Разве я знал, что вижу Алексея в последний раз? Он был в лейтенантской форме, и она по сравнению с краснофлотской придавала ему солидность. Были, конечно, в тот день воспоминания о Кронштадте, было повторение его всегдашних истин («сначала море, потом стихи»), а сейчас об этом говорилось предельно четко: получен диплом штурмана подводного плавания, определена целая жизнь.

Помню, что именно в тот день по последним прочитанным им тогда стихам я понял, насколько он вырос как художник слова, как с курсом обучения на командира проходил он и свой курс повышения поэтической квалификации, как это ни казенно звучит. Со штурманским дипломом

сама природа, сама жизнь выдали ему диплом мастера.

К тому времени Алексей успел уже побывать и в военном море: во время боев с белофиннами он находился на эсминце «Ленин», участвовал в десанте лыжников. Он все ближе подходил ко времени, когда проявятся все его способности командира, воина, подводника, поэта.

Но дни его были уже сочтены. Остался подвиг. Остались стихи. Родная Балтика приняла его в ночь на 14 ноября 1941 года, когда подводная лодка Л-2 подорвалась на минах.

Потом стали известны стихи его «Тебе». Читаешь их и всегда поражаешься — как угадал он свою судьбу! А может, и нечего поражаться — ведь шла война и каждый поход подводника мог стать последним. Алексей вложил в эти стихи все свои чувства, все свое умение, точно понимая — это одно из последних.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,

Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

Нет, не только для того, кому это написано, а и для всех нас остался он вечно молод. И останется таким для детей и внуков наших, которые пойдут в моря и на подвиги с его поэзией, запомнят и написанные им строчки и прожитую им недолгую и яркую жизнь.

И позавидуют ей.

В. Азаров
«Я море Черное любил...»
Стихотворение

Алексею Лебедеву

Я море Черное любил,
А ты дружил всю жизнь с Балтийским.
Но над волнами ход светил
Был одинаково нам близким.

Бывало, встретишься — и вдруг
Войдет внезапно странствий ветер.
И ощущаешь сердцем: друг
Живет с тобой на белом свете.

Подносит огонек рука,
Мелькнут в табачном дыме зыбком
Загар суровый моряка
И прямодушная улыбка.

Твой взгляд, привыкший к чтенью карт,
Лица упорство молодое...

Я помню ночь, кончался март,
Мы шли над скованной Невою.

Висел как бы в пространстве мост
От ростр и до Адмиралтейства.
Миры необозримых звезд
На землю посылали вести.

Мы говорили о морях,
О флотоводцах, об отваге,
О самых дорогих стихах,
Еще не легших на бумагу.

Пусть ты узнал над словом власть,
Но до забвенья, до предела
Прекрасная, иная страсть
Тобой, товарищ мой, владела.

И тихо падали во тьму
Слова беседы откровенной:
«Писать я должен потому,
Что штурман я, моряк военный.

Я в море — свой, я не один.
Друзья со мной, жилье родное...»
Из-под гряды тяжелых льдин

Возник упрямый гул прибоя.

Ты вслушался: весна идет.
Гремели скованные воды,
То приближался ледоход —
Предвестник боевых походов.

«Придешь — увидимся!» —
«Добро!»
За поворотом тень пропала.
Как много вспененных дорог
И странствий между нами встало!

Теперь ты больше не придешь,
Тебя мне над Невой не встретить,
Твой не услышать голос… Ложь!
Ведь повторяет песни ветер.

В морях погибшим нет могил,
Их имена навечно в списках.
Я море Черное любил,
А ты дружил всю жизнь с Балтийским.

А. Лебедев
ОДЕЖДА МОРЯКА
Стихотворение

Годна для всех условий,
Надежна и крепка,
Продумана на совесть
Одежда моряка.

Сокровища тепла тая,
Уходит с нами в путь
Тельняшка полосатая,
Охватывая грудь.

Волна ль, нежнее горлинки,
Иль шторм грохочет, дик,
Отменно белой форменки
Синеет воротник.

Зимой, и в осень вздорную,
И в сумрачный апрель —
Хранит нас сине-черная
Солидная фланель.

Что сырость нам постылая?
Живем с погодой в лад,
Имея друга милого
По имени бушлат.

И навек складкой жесткою
Запечатлел утюг
Покроя краснофлотского
Сукно крепчайших брюк.

Ценимая особо
На службе в море синем,
Нам выдается роба
Из белой парусины;

Она ничем не крашена,
Ей труд морской знаком,
И кто ее не нашивал,
Не будет моряком.

И многим не мешало бы,
Кого моря зовут,
В той робе драить палубу
И выкрасить шкафут.

Когда же в час побудки

Уже метет метель,
Тогда укажут дудки:
«Бери, моряк, шинель».

Медь пуговиц — как золото,
Сукно — чернее тьмы,
На все старанья холода
Поплевываем мы.

Когда рванут шрапнели
И горны зазвучат,
Наденем мы фланели,
В поход возьмем бушлат.

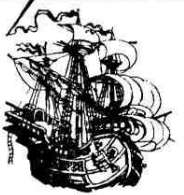
Взлетают ленты в воздух
И никнут на плечо,
На бескозырках звезды
Сияют горячо.

ПУТЕШЕСТВИЯ, ОТКРЫТИЯ, ПРОБЛЕМЫ

Путешествия

ОТКРЫТИЯ

Проблемы





Н. Черкашин
КРИК ДЕЛЬФИНА
(Повесть)

Командир еще раз ругнул этих мудрецов из Центра. Назвать новейший корабль флота «Архелоном»?! Именем гигантской черепахи и к тому же давно вымершей! Хороша черепаха, летящая под водой со скоростью курьерского поезда…

По обычаю в центральных постах атомных субмарин крепился щит с изображением животного, в честь которого назван корабль. Коммодор Рэйфлинт помнит, как прекрасно смотрелся бронзовый дракон в пилотской «Дрэгги». Его принес из тибетской коллекции первый и последний командир «Дрэгги» Кьер.

Рэйфлинт служил на «Дрэгги» старшим помощником командира.

У бронзового дракона в центральном посту были рубиновые глаза. Старшина-радист вставил в них микролампочки и соединил их через пьезоэлемент с глубиномером. «Дрэгги» погружался, и глаза у дракона разгорались; всплывал — медленно гасли. Интересно, как полыхнули его буркалы,

когда подводная лодка промахнула предельную глубину? Это случилось в позапрошлом году на глубоководных испытаниях в Атлантике. Рэйфлинт находился на обеспечивающем судне и держал в руке микрофон звукоподводной связи. На глубине в двести сорок метров динамик сообщил голосом Кьера: «Нас слегка обжало, но я всех обнимаю крепче…» Магнитофоны бесстрастно записали шутку на пленку. «Дрэгги» плавно приближался к трехсотметровой отметке, когда динамик пискнул и в странном нарастающем шорохе Рэйфлинт едва разобрал: «Небольшой дифферент на нос… Кажется, ничего страшного… Если…»

Это были последние слова Кьера, последний сигнал «Дрэгги», если не считать хлопка вроде лопнувшей лампочки, что услышали гидроакустики спустя десять секунд после потери связи с лодкой.

Потом правительственная комиссия целый месяц изучала обрывок кьеровской фразы, пытаясь выведать из нее тайну гибели ста двадцати человек и стратегического атомохода. Но тайна эта покоилась на марганцевых плитах пятикилометровой Канарской впадины. Ясно было одно, что титановый корпус «Дрэгги» не выдержал

сверхдавления. Но почему возник дифферент на нос, почему корабль провалился за расчетную глубину — этого не успел узнать и сам Кьер…

На всякий случай «Архелону», пребывавшему тогда в чертежах, срочно усилили прочность корпуса. Может быть, поэтому, за сходство с черепашьим панцирем, ему и дали имя древней рептилии. Но не выбивать же на геральдическом щите старую Тортиллу?!

Коммодор еще раз окинул взглядом корабль. «Архелон» стоял у плавучего пирса, и лобастая черная туша его сыто лоснилась под майским солнцем. Могучим спинным плавником торчала черная рубка. Спереди она смотрелась куда как зловеще. Два немигающих ока, насупленных к узкой переносице, растопыренные рубочные рули, придавали ей вид грозного языческого идола, приподнявшего куцые сильные крылья.

За спиной рубки, в длинном и плоском горбу, убегали в два ряда, словно пищики на фаготе, потайные люки. Двадцать четыре ракетные шахты скрывали они от чужих глаз и забортной воды. Двадцать четыре ракеты ростом с добрую водонапорную башню таились в стальных колодцах. У каждой из них был свой порядковый номер, но какой-то шутник из ракетчиков написал на

крышках названия столиц, чьи координаты были введены в электронную память ракет. Рэйфлинт не отказал себе в мрачном удовольствии прогуляться по уникальному кладбищу, где на круглых «надгробных плитах» значились города-покойники. Конечно же, он приказал убрать надписи, дабы не нарушать режим секретности. Но с тех пор шахты стали называть не по номерам, а по столицам, подлежавшим уничтожению в первый же час войны.

В очертаниях «Архелона», если не считать рубочных рулей и вертикального стабилизатора, не было ни одной прямой линии. Даже сварные швы разбегались по корпусу прихотливо, как будто подчинялись игре природы, а не технологической карте. Носовые цистерны были продуты до конца, поэтому широкий лоб «Архелона» с титановым оскалом гидролокатора выходил из воды высоко — по «ноздри» торпедных аппаратов. Гибрид бегемота, кита и тритона — так определял для себя Рэйфлинт форму своей субмарины. Черный идол-громовержец с растопыренными крыльями восседал на теле лодки злым всадником. Но и это могучее тело, и это хмурое божество безраздельно повиновались ему, коммодору Рэйфлинту.

Рэйфлинт не страдал честолюбием, однако в этот утренний час, час, безусловно, исторический — шутка ли, новейшая стратегическая лодка отправляется в первое боевое патрулирование?! — не мог отрешиться от тщеславного чувства: это мой корабль, краса и гордость флота, а это я, самый молодой — тридцатитрехлетний — командир подводного ракетоносца. И это меня, мой корабль, мой экипаж приедет провожать сегодня сам президент…

Как ни пытался Рэйфлинт отыскать в силуэте родного корабля черты изящные и стремительные, он волей-неволей приходил к мысли, что округло-кургузый корпус «Архелона» напоминает сократившуюся от сытости пиявку.

Странно было подумать, что в чреве этого черного левиафана прячется уютнейшая двухкомнатная каюта, отделанная полированным эвкалиптом и флорентийской кожей. Планировку, мебель, убранство конструкторы отдали на выбор командиру, и Рэйфлинт вместе с Никой убил целый отпуск на то, чтобы минимум объема наполнить максимумом комфорта. Ника превзошла самое себя. Это она придумала сделать бортовую переборку командирской спальни в виде деревянной стены их ранчо, где они провели

медовый месяц. В сосновую панель было врезано окно, в котором горел дневным светом цветной слайд: панорама холмистых перелесков с белой пирамидой лютеранской церквушки. Снимок сделала сама Ника. И теперь Рэйфлинт, как бы далеко от родных берегов и как бы глубоко в океанских тартарах ни находился, мог в любой момент воочию вспомнить их милый уголок. И не только. Стоило нажать кнопку дистанционного переключателя, как в импровизированном окне вспыхивала картина, открывавшаяся им когда-то с седьмого этажа отеля «Палаццо» на реку Арно и самый старый мост Флоренции Понте-Веккио. Столь же простым способом в глухой капсуле стального отсека могла возникнуть прекрасная «марина» поверх красночерепичных и белых крыш Дубровника — родины Ники — и пляж нудистов близ руин Карфагена, где черноволосая сербиянка выходила из воды в костюме боттичеллевской Венеры… Запас автоматически сменяющихся слайдов был достаточно велик, чтобы превратить ностальгию в сладкую грусть.

В командирском кабинете справа от стола Ника разместила компакт-бар с набором любимых мужем греческих коньяков и французских ликеров. Сюда же она хотела поставить и сейф. Но

Рэйфлинт распорядился все же вмонтировать несгораемый ящик под изголовьем кровати. В сейфе хранились ключи к шифрозамкам стартового комплекса и запалы к ядерным торпедам. Зато мягкие кресла и стол Ника подобрала по своему вкусу. Под прозрачную столешницу она придумала встроить аквариум, так что пестрые рыбки плавали под набросанными на стол казенными бумагами. «Во-первых, — утверждала Ника, — созерцание тихих аквариумных тварей успокаивает нервы. Во-вторых, твой стол будет походить на трон Нептуна».

Выходить за пределы стометрового ракетопогрузочного пирса Рэйфлинт уже не мог: «Архелону» с утра была объявлена двухчасовая готовность. К тому же с минуты на минуту над гаванью должны были взвыть сирены, оповещающие, что на «Архелоне» начались особо опасные работы — прием атомного боезапаса. Рэйфлинт позволил себе эту прогулку лишь потому, что с приемом ядерных боеголовок покидать корабль ему, командиру, строго запрещалось вплоть до конца похода, вплоть до выгрузки и сдачи ракет в арсенал.

Гавань эскадры атомных подводных лодок укрылась в скалах и походила на высокогорное

озеро, налитое в продолговатую каменную чашу с неровными краями. В одном месте чаша треснула, и сквозь расщелину — утесистые ворота из красного гранита — субмарины выбирались в море по лабиринту природных каналов.

Рэйфлинту нравились здешние края. Трудно было подобрать более величественное и суровое место для тайной заводи подводных драконов, цепко державших в своих лапах, как полагал командир «Архелона», судьбы континентов, судьбу самого «шарика». Огневой мощи одной только их патрульной эскадры было достаточно, чтобы превратить любой материк в подобие лунного ландшафта, в подобие вот этой нависшей над гаванью сопки, что пучилась гроздью серо-рыжих валунов, округлых и растресканных, словно купола мертвого азиатского города.

Всходило солнце. Сочетание пастельно-розового неба с угрюмой чернотой скал резало глаз вопиющим контрастом.

Дисгармоничный восход был освистан сиренами субмарин. Сирены взвыли обиженно, зло, угрожающе — в разных концах гавани. Рэйфлинт вздрогнул, хотя и был наготове.

Обрывки резких воплей еще гуляли по гранитным фьордам, а вдоль причального фронта уже

зазмеилась колонна грузовиков, крытых черным брезентом. Тут же табакерочными чертиками повыскакивали невесть откуда автоматчики в черных куртках и беретах; они перекрыли ворота гавани, опустили шлагбаумы на железнодорожных путях, выстроились вдоль причальной стенки и даже встали к трапу «Архелона», несмотря на то что там прохаживался вооруженный вахтенный.

Коренастый майор морской пехоты подбежал к Рэйфлинту.

— Коммодор, у нас новые правила. Трап и верхнюю палубу охраняем мы. Уберите всех своих людей вниз.

— Может, мне и самому убраться вниз?! — мрачно осведомился Рэйфлинт. Он недолюбливал этих бесцеремонных ребят из ракетного арсенала.

— Вы можете находиться там, где сочтете нужным, — сухо отрезал майор.

— Благодарю за доверие, — усмехнулся Рэйфлинт.

Пастор Бар-Маттай успел проскочить сквозь первое кольцо оцепления, но перед вторым его «фольксваген» остановили, и рослый негр-автоматчик долго листал документы. Охранник никак не хотел поверить, что святой отец не толь-

ко имел доступ на секретный подводный рейдер, но и собирался выйти на нем в море. Парень прекрасно знал, что священники плавают лишь на авианосцах и крейсерах, на субмаринах они никогда не служили, так что мало ли с какой целью пытался проникнуть на «Архелон» этот худой, горбоносый, явно не атлантических кровей человек. Негр-автоматчик не верил вообще никаким бумажкам, он верил только в свой сороказарядный «дункан»[17] и только своему лейтенанту. И потому он вызвал по мини-рации офицера. Лейтенант тоже долго копался в бумагах, хмуро сличая фотографии, но взять на себя ответственность не рискнул и позвонил оперативному дежурному по эскадре. К счастью, дежурному было известно, что после загадочной гибели «Дрэгги» на новой лодке в помощь компьютерам, проигрывающим тысячи способов спасения корабля при любой аварии, призвали небесные силы, то есть назначили в штат экипажа человека, умеющего их заклинать, — военного капеллана, пастора Бар-Маттая.

Лейтенант махнул чернокожему автоматчику, и «фольксваген» медленно двинулся дальше — к

[17] Примечания: 17
Марка автомата.

стоянке перед въездом на причал. Рэйфлинт, занятый приемкой боезапаса, сухо кивнул человеку в сутане цвета комбинезонов ненавистных ему автоматчиков. Бар-Маттай замер за спиной коммодора черной тенью…

Над пирсом и ракетными люками «Архелона» натянули огромный тент, чтобы прикрыть место будущей мистерии от спутников-разведчиков, если они появятся над гаванью вне известного контрразведке графика пролета. Под навес въехали автокран с эмблемой арсенала и первый грузовик. Но прежде чем черные автоматчики стащили с кузова брезент, коренастый майор потребовал у Рэйфлинта доверенность на получение ядерного оружия. Рэйфлинт отдал небрежным жестом листок, сложенный вчетверо, и повернулся к майору боком. Он принимал атомный боезапас еще старпомом на «Дрэгги» и ничего нового не ожидал увидеть, но все же волновался, ибо с этой минуты хищноглазый языческий идол с растопыренными крыльями и в самом деле становился громовержцем. Этого идола и то, что сообщало ему всеразрушительную силу, Рэйфлинт называл про себя именем бога войны и огня своих скандинавских предков — Тором.

Тор покоился в цилиндрическом пенале, напоминающем древнеевропейский ковчег для хранения свитков. Серо-голубой ковчег был абсолютно прочен и надежен. В переднем его торце торчали влагопоглотительный патрон и перепускной клапан, чтобы уравнивать давление при воздушной транспортировке. В задней панели поблескивала клемма заземления. Ковчег спасал Тора от воды, воздуха, пыли, тряски, магнитных полей, перепадов давления и «дикого» — статического — электричества. Чтобы изделие ненароком не уронили, поднимая краном, по бортам футляра алели предупредительные надписи: «Ручки т о л ь к о для снятия крышки».

Автокран осторожно выгрузил на пирс первый пенал, и четыре черных сержанта встали возле него так, как обычно траурный эскорт становится возле гроба, — по углам. Они бережно сняли крышку и, ступая в ногу, отнесли его в сторону. Тор предстал солнцу и почтительным взглядам. Ярко-зеленое тело его резало глаза кроваво-алым пояском. С него аккуратно сняли красно-медный колпак, предохраняющий лобовую часть от случайных ударов. В самом центре тупого рыла проглянуло крохотное отверстие для уравнивания давления под водой, когда крышки ракетных

шахт сдвигаются перед залпом в сторону. Отверстие прочищается специальной иглой — той самой, которой черный майор чистил сейчас ногти в ожидании автокрана.

Рэйфлинт вдруг усмехнулся: по стальному черепу Тора ползла божья коровка. Трудно придумать более резкий контраст: абсолютной сверхмощности и абсолютной беззащитности.

Кран наконец поставили на упоры и заземлили. И начался обряд, похожий на отпевание. Помощник арсенальского майора с книгой инструкций в руках пономарским голосом зачитывал наставление по осмотру и проверке ядерной боеголовки. Два юрких петти[18] выполняли все, что требовали строгие параграфы, быстро и педантично. Центр всеобщего внимания переместился на них, и тишина на пирсе сгустилась еще больше под пристальными взглядами многих глаз.

— Пункт первый. Осмотр корпуса на предмет царапин и вмятин, — скороговоркой читал помощник.

Оба петти едва не столкнулись лбами, отыскивая повреждения корпуса. Ни вмятин, ни царапин они не нашли. Боеголовка, отлаженная

---

[18] Примечания: 18

Петти — офицер, чин младшего командного состава во флотах некоторых западных стран.

с точностью швейцарского хронометра, лоснилась маслянисто. В судный час планеты, отбитый стартовым секундомером, Тор в некой ведомой лишь его электронной памяти точке траектории разделялся на шестнадцать боеголовок, каждая из которых неслась к своему городу, как несутся к родным крышам почтовые голуби… При мысли о голубях легкая усмешка во второй раз тронула губы Рэйфлинта.

— Пункт второй. Отключить транспортировочную ступеньку предохранения…

Один из петти вставил в потайное гнездо штекер прибора-отключателя, раздался легкий щелчок, жало бойка перескочило на одну из семи предохранительных ступенек. Остальные шесть снимет сам Рэйфлинт, повинуясь личному приказу президента.

Наконец застропленный Тор медленно поплыл в воздухе к раскрытому люку первой ракетной шахты. Два арсенальных сержанта бережно придержали снаряд над обезглавленной пока ракетой, помогли ему мягко состыковаться с телом носителя, а затем, натянув белые перчатки, стали свинчивать «коня» и «всадника» длинными ключами-коловоротами.

— Почему так туго идет? — недоумевал сер-

жант.

— Правило креста нарушаешь! Перекрестно завинчивай! — поучал его вездесущий майор.

— Правило креста? — переспросил вдруг Бар-Маттай, почти бесплотный в общей суете. — В чем его смысл?

Майор досадливо дернул щекой — не время для досужих разговоров, но все же пояснил:

— Стыковочные болты надо завинчивать в крестообразном порядке. Иначе от перекоса возникают напряжения…

— Благодарю вас.

Бар-Маттай бесшумно отступил в тень рубки.

Правило креста. Мир давно уже распят на перекрестьях прицелов. В тело Христа гвозди вбивались тоже крестообразно. Теперь болты — длинные, тонкие, то ли из титана, то ли из молибдена…

Пастор Бар-Маттай не был военным капелланом. Предложение Центрального духовного управления принять участие в походе атомной подводной лодки весьма удивило его, заставило долго решать, да или нет.

Бар-Маттай, в чьих жилах текла кровь самого воинственного народа древности — ассирийцев, ненавидел оружие. Он ненавидел кинжалы и

сабли с тех пор, как курды вырезали всех женщин его рода. Он ненавидел пистолеты и ружья с тех пор, как отец и оба брата погибли в перестрелке с англичанами. Он ненавидел пушки и танки с тех пор, как единственный его сын был разорван немецким фугасом под Дюнкерком.

Бар-Маттай смутно догадывался, почему выбор ЦДУ пал именно на него — настоятеля хоть и столичного, но куда как скромного храма ассирийской общины. По генеалогическим документам корни рода Бар-Маттая тянулись к библейскому апостолу Матфею. Да и церковные службы пастор-ассириец вел на языке Христа и своего детства — на арамейском, что привлекало в храм множество прихожан и любопытных. Это была бы неплохая реклама и для адмиралтейства, и для Центрального духовного управления — осенить новейший ракетоносец крестом потомка легендарного евангелиста.

Бар-Маттая даже затрясло от такого кощунства. Ночью, как всегда в трудные моменты жизни, он раскрыл наугад Библию и прочел строки о праведнике Ионе, пустившемся к берегам Ассирии в чреве китовом. Не полагаясь лишь на одну книгу, он достал из потайного шкафчика золотую фигурку древнего ассирийского божества Энку.

Энку держал в руках весы с серебряной и медной чашами. На серебре пращур Бар-Маттая выбил слово «ги», на меди — «ля»[19]. Обычно чаши пребывали в равновесии. Но стоило человеку, принимающему решение, сосредоточить взгляд на Энку, как через минуту-другую чаши начинали опускаться или подниматься.

Бар-Маттай утвердил взгляд сухих черных глаз на золотом челе Энку. Серебряная чаша дрогнула и медленно пошла вниз.

Бар-Маттай усмехнулся: «Если Голгофа не идет к Христу, то Христос идет на Голгофу».

Едва черная гвардия арсенала запрыгнула в свои грузовики и облегченные «доджи» вырулили за ворота с клыкастыми якорями, как взвыли сирены полицейских машин и гавань снова оцепили, но не автоматчики, а рослые парни в серых плащах и шляпах. Теперь они внимательно проверяли документы тех, кто был приглашен на проводы «Архелона».

Просторный пирс быстро заполнялся гражданскими чинами, репортерами, женщинами. С высоты рубочного руля, превращенного на время в крыло мостика, Рэйфлинт увидел в толпе сухо-

---

[19] Примечания: 19

«Ги» и «ля» — «да» и «нет» (*арамейск.*).

парую жену своего старшего помощника Роопа, красавицу Флэгги — подругу жизни старшего радиста Барни. Ника в желтом сафари помахала ему из толпы. Он ответил ей легким кивком: «Вижу. Люблю. Счастлив». Это прочтет только она. Для всех остальных его кивок лишь жест вежливости.

Вот это номер! С Никой притащился и ее кузен, то ли скульптор, то ли художник. Один из тех молодчиков, профессия которых — шокировать публику. Кажется, он так себя и называет — «режиссер уличных скандалов». Похоже, что и на этот раз не обойдется без сюрприза: кузен сгибается под тяжестью длинной коробки. Поймав взгляд Рэйфлинта, он оставил свою ношу, воздел руки и заорал на весь пирс:

— Привет, Рэй!

Коммодора передернуло: скотина, нашел место для амикошонства. Уйти в рубку? Поздно. Все уже смотрят на этого «крейзи». Вот он раскрывает свою коробку — и, о боже! Рядом с ним вторая Ника. В том же желтом сафари, с теми же черными волосами. Кукла? Манекен?

— Рэй, это тебе! Поставь в каюте. Она скрасит твой поход!

На пирсе засмеялись, кузен приподнял Нику-

два за талию, и репортеры защелкали камерами.

— Один к одному! — не унимался «режиссер уличных скандалов».

Манекен под аплодисменты понесли к трапу. У Рэйфлинта отлегло от сердца. Если это все, то куда ни шло. Кузен был способен на большее… Коммодор распорядился отнести куклу в каюту. Ника снова осталась на пирсе в единственном числе.

Взвыли сирены, и из-за гранитного уступа выскочила кавалькада мотоциклистов, а за нею правительственный кортеж. Толпа инстинктивно подалась назад, освобождая место перед трапом. Президентский лимузин въехал прямо на пирс, и понтоны заколыхались под тяжестью элегантного броневика. Распахнулась пуленепробиваемая дверца, и едва президентская нога коснулась стального настила, Рэйфлинт и все офицеры взяли под козырек. Президент помахал из-за плеча телохранителя публике и быстро прошел на корпус. Рэйфлинт встретил его у верхнего рубочного люка. Представился, ответил на рукопожатие. Первым скользнул в колодец люка телохранитель, за ним Рэйфлинт и, наконец, сам президент. Бегло осмотрев центральный пост и оба смежных отсека — слава богу, куклу успели спрятать в каюту, — президент сел в ко-

мандирское кресло, и коротконогий человечек в кожаном пиджаке утвердил перед ним шар микрофона.

— Дамы и господа, — привычно начал репортер. — В этот час я нахожусь на борту «Архелона» — подводного форпоста нашей обороны. Ни один корабль не стоил нашей стране так дорого. Но мир на планете стоит еще дороже… Слово господину президенту.

Ничего нового, к разочарованию Рэйфлинта, президент не сказал. Прочитал на память что-то вроде текста предвыборной речи, и коротконогий владелец микрофона, пока президент поднимался наверх, продолжил свой репортаж торопливой скороговоркой:

— Напоминаю, дорогие друзья, что по понятным причинам операторы телекомпаний не допущены на борт сверхсекретного ракетоносца. Поэтому мне придется работать как бы в режиме монитора. Все, что увижу своими глазами, я постараюсь изобразить словесно… Итак, подводный атомоход типа «Архелон». Он может одновременно выпустить из-под воды двадцать четыре баллистические ракеты, каждая из которых способна уничтожить целую страну.

Запускающее устройство смонтировано во вра-

щающейся рукоятке, напоминающей рукоятку кольта 45-го калибра, только на ней нет ствола. Вместо него к рукоятке прикреплен электрический шнур, который соединяет ее с консолью ЭВМ. Рукоятка сделана из тяжелой пластмассы с насечкой для уверенного захвата. Электрический шнур выглядит, как шнур обыкновенного тостера или утюга.

Для тренировок предназначена черная рукоятка, а для реальных пусков — красная... Если это война, то вахтенный офицер объявляет: «Боевая тревога! Ракетная готовность!» Сообщение о действиях в чрезвычайной обстановке поступит через шифровальщика. Реальный приказ на запуск ракет отдаст сам президент. Два офицера подтверждают подлинность полученного сообщения, сличая его с образцом, который хранится в личном сейфе командира подводной лодки. Затем они передают его командиру.

Радиокомментатор разыскал Рэйфлинта на мостике.

— Что думает командир «Архелона» о предстоящем походе?

Рэйфлинт, несмотря на нетерпение репортера, с минуту поразмыслил:

— Океан — весы мира. Наша подводная лод-

ка — одна из гирек, которая позволяет сохранять равновесие. Если мы не выйдем в море, одна из чаш пойдет вверх, другая вниз…

— Хорошо сказано, сэр!

Настырный репортер не отстал от них и тогда, когда с берега после отъезда президента была дана команда проститься с семьями. Он пристал со своим микрофоном к Нике:

— В вашем муже нет ничего воинственного. Он похож на респектабельного ученого и спортсмена одновременно. Таков ли он дома?

Ника улыбнулась:

— Да. Он сама кротость. Я горжусь своим мужем. И очень его люблю.

Старший радист прощался с Флэгги.

Барни незаметно перевесил на ее плечо ремешок транзистора.

— Он настроен на волну «Архелона», — шепнул ей на ухо. — Держи его всегда включенным. Когда мы будем возвращаться, я передам короткий сигнал… Вот такой: «тип-топ». И ты поймешь, что очень скоро мы снова будем вместе…

— Да, милый…

— Не сбей настройку. И никогда не выключай.

— Я все время буду ждать: «тип-топ». Это хороший сигнал.

— И тогда мы снова будем вместе!

— Да, милый…

Старший помощник Рооп посмотрел на часы и поднес к губам мегафон:

— Окончить прощание. Команде вниз!

Рэйфлинт много раз прощался с берегом, и у него вошло в обычай выискивать в момент отхода знаки, сулившие удачу. Однажды это была радуга; в другой раз — лунное гало[20] (уходили полярной ночью), а еще — ручная канарейка, улетевшая из чьей-то клетки и севшая Рэйфлинту на плечо. И только ныне не было знаков благополучного возвращения. Едва отошли, как и без того серая погода разразилась снежным зарядом, так что и пирс и буксир скрылись из виду. Старший помощник Рооп без команды с мостика включил тифон, и «Архелон» заревел на всю гавань хриплым бычьим басом. Это уж и вовсе было против всяких правил. По давней традиции подводные лодки выходили на боевое патрулирование бесшумно, не включая ни сирен, ни тифона.

Рэйфлинт вспылил, назвал Роопа болваном и тут же пожалел, потому что педантичный старпом действовал по инструкции. Переход до

---

[20] Примечания: 20

Гало — атмосферное явление — ореол вокруг Луны или Солнца.

Больших Кокосовых островов был открытым, следовательно, боевое патрулирование начиналось по-настоящему с выходом из Сан-Пальмаса. А в тумане, это и первогодку понятно, полагалось подавать звуковые сигналы. Настроение было испорчено, в голову полезли мрачные мысли. Подумалось вдруг, что из всего их небольшого выпуска половина ребят уже вычеркнута из списка живых. Бен Хасберт погиб в Норвежском море. Штормовая волна выбила лобовой иллюминатор ограждения рубки и осколком стекла бедному Бену перерезало горло.

Красавчику Джуди оборвавшийся в качку трехтонный перископ снес голову, как гильотина. Но хуже всех пришлось Глобусу — капитан-лейтенанту Хаске. Глобусом его прозвали за идеально круглую голову. Хаске вырезали аппендикс, и он лежал на столе в кают-компании со вскрытой брюшиной, когда в отсеке взорвался водород из аккумуляторных батарей. В открытую рану ему плеснуло добрую пинту серной кислоты. Обожженный извне и изнутри, он еще жил, точнее, корчился несколько минут, пока не задохнулся во фреоне — огнегасящем газе, поданном в аварийный отсек…

— Господин коммодор, с буксира передали:

«Закончил работу. Счастливого плавания!»

— Есть. Поблагодарите капитана.

Рэйфлинт увеличил ход с «малого» до «среднего». «Архелон» взрыл океан широким лбом, и под округлыми его боками забурлили глубокие водяные ямы. Командир сдал вахту Роопу. Обиженно поджав губы, старпом выслушал все указания.

Рэйфлинт спустился в каюту и велел подать кофе по-варшавски. Внимательно оглядев усаженную в кресло Нику-два, он еще раз нажал кнопку селектора.

— Два кофе, стюард!

— Есть, сэр.

Войдя в командирскую каюту, стюард Ахтияр опешил при виде дамы в желтом, но, ничем не выдав замешательства, поставил чашечку сначала перед манекеном, потом перед командиром.

— Дама есть дама, сэр! — осклабился стюард.

— Ты правильно все понимаешь, Ахти, — кивнул ему Рэйфлинт.

— Как учили, сэр!

— О да, ты очень похож на примерного ученика…

— Ученика багдадского вора, сэр.

— Не прибедняйся. Багдадский вор рядом с тобой — жалкий приготовишка.

— Вы мне льстите, сэр. — Стюард довольно огладил крепкие руки. Наколотые макаки и змеи скрывались в их курчавой поросли, словно в джунглях. Лишь на тыльных сторонах ладоней отчетливо синели скрещенные полумесяцы — знаки Магомета.

Пастор Бар-Маттай на секунду замер перед входным колодцем рубочного люка. Если у преисподней есть вход, то он выглядит именно так: сумрачная стальная труба, отвесно уходящая вниз. И только блестящие поручни, меркнущие в глубине шахты, да узкие перекладинки трапа выдавали назначение колодца. Бар-Маттай отказался от помощи и полез по ступенькам сам, то и дело поглядывая вниз. На мгновение ему показалось, что он так и будет спускаться до самого дна океана, но тут шахта закончилась полутемным гротом — боевой рубкой, где лоснились шлифованные стволы перископов, а затем под ногами раскрылся новый зев, и Бар-Маттай погрузился в него сначала по пояс, потом весь, пока снизу не просочился свет и обрез трубы не остался над головой. Открыв глаза, он обнаружил себя посреди тесного зала, сплошь увитого трубами, толстыми пучками разноцветных проводов. Рябили стекла приборов, перемигивались цветные огоньки…

«Черепом сатаны» назвал для себя Бар-Маттай это место — центральный пост.

Люди в голубых свободного кроя костюмах сидели перед панелями со шкалами и огоньками, уткнув глаза в резиновые тубусы, закрыв уши резиновыми чашками. Похоже было, что жужжащие электрические токи входили в их тела так же просто, как и во все эти приборы, а сами они, отдав «Архелону» свою способность видеть и слышать, врастали в чрево корабля живыми механизмами.

Толстый человек с носом большим и гнутым, как рукоять старинного пистолета — Бар-Маттай без труда определил в нем перса, — подскочил к священнику.

— Ваше преподобие, ваша каюта там!

И он показал в круглый лаз, жутковато напоминавший паровозную топку. Перс с удивительной для грузного тела легкостью нырнул в переборочный люк и, когда пастор, придерживая черную сутану, пролез вслед за ним, наглухо закрыл стальную круглую дверь, прижав ее кривым рычагом.

— У нас так принято, — пояснял он на ходу. — Если вода ворвется в отсек, то у соседей будет сухо. Двери всегда перекрыты. Хе-хе… Таков за-

кон: отсек погибает, корабль живет.

Помещение, куда они попали, разительно отличалось от «черепа сатаны»: панели из голубого пластика выгораживали под полукруглым сводом нечто вроде столовой. Посередине стояла машина для поджаривания кукурузы.

— Мои владения. — Перс-стюард обвел короткой рукой небольшое пространство. — Здесь мы крутим фильмы, и тогда жареная кукуруза дядюшки Ахти нарасхват! — словоохотливо сообщал провожатый. — По субботам устраиваем здесь что-то вроде казино: бридж, рулетка… И тогда я готовлю пиццу. Настоящую итальянскую пиццу! Ваше преподобие, не упустите случай попробовать.

— Я не люблю итальянскую кухню.

— Какая жалость! А вот ваши апартаменты.

Они остановились перед узкой оранжевой дверью.

— Моя каюта напротив. У нас с вами самые роскошные места!

— Почему?

— Здесь тихо. Рядом камбуз. Значит, сытно. А потом, у миделя меньше качает. Правда, есть одно «но»… Да ведь вам вроде детей не заводить?!

Бар-Маттай выжидательно посмотрел на стю-

арда.

— У нас с вами в ногах реактор. Хе-хе!

Пастор открыл дверь и вошел… в одноместное купе спального вагона. Только там, где обычно помещается окно, желтел глухой скат борта. Над изголовьем узенького ложа торчал красный маховик. Бар-Маттай невольно потрогал его рукой — надо же, над самой головой.

— Это вентиль аварийного затопления отсека, — раздался голос из динамика. Пастор узнал Рэйфлинта. — …Не надо его трогать! Переложите подушку на другой конец постели, и он не будет вам мешать.

Бар-Маттай оглянулся: черный прибор, похожий на электрический фонарик, следил за ним стеклянным глазком.

— Монитор внутреннего телевидения, — тут же отозвался динамик. — В ящике стола лежит колпачок. Наденьте его на объектив и чувствуйте себя как дома. Спокойной ночи!

До Больших Кокосовых островов оставались сутки крейсерского хода. В Сан-Пальмасе «Архелон» должен был принять на борт свежие фрукты и свежее мясо, после чего погрузиться ночью в лагуне и скрытно выйти в район боевого патрулирования.

Так предписывал Рэйфлинту секретный приказ, извлеченный из засургученного и прошитого шелковыми нитками пакета.

Считалось, что за время перехода экипаж окончательно проверит все системы и механизмы, а главное — деловой визит в Сан-Пальмас должен был повысить скрытность выхода на позицию.

Утром в каюте Рэйфлинта щелкнул и затих динамик трансляции. Щелчки повторились несколько раз. Это деликатный Рооп будил командира. Рэйфлинт быстро оделся, протер лицо лосьоном и вылез на мостик.

— Прямо по курсу — Сан-Пальмас, сэр. До входных маяков три мили.

Старший помощник передал командиру бинокль. В четком окружье Рэйфлинт разглядел оба входных маяка и скопище рыбацких лодок, яхт, джонок, перегородивших вход в лагуну.

— Пикетчики, сэр. Хотят пожелать нам доброго утра.

Рэйфлинт не принял шутку, нахмурился, перевел рукоять машинного телеграфа на «самый малый». Водяные морщины, взрытые лбом «Архелона», опали. «А зря, — пожалел Рооп, — отбойная волна живо бы их образумила. Ну перевернулась бы пара джонок — другим наука». Рооп вспомнил

свою белоснежную тужурку, безнадежно испорченную в прошлогодний визит гнилым манго. Посмотреть бы на этого гуманиста под градом тухлых яиц. Спустится в центральный пост, а наверху непременно оставит его, Роопа. Старпом неприязненно покосился на командира.

Пикетчики приближались. Уже простым глазом были видны транспаранты, натянутые между хилыми мачтами: «Убийцы городов — вон из Сан-Пальмаса!» На некоторых парусах извивался черный дракон с большой буквой «А» на спине. Символы атомных субмарин жирно перечеркивали косые красные кресты — «Нет!». Сотни смуглокожих туземцев выкрикивали это слово хором, подкрепляя его взмахами кулаков.

— Штурман, — нажал Рэйфлинт тангенту квикфона, — глубина у входа в лагуну?

— Шестьсот футов, сэр!

— О'кэй! Все вниз! Срочное погружение.

«Архелон» грузно ушел под воду, выставив рожки обоих перископов. Но на подходе к авангарду пикетчиков скрылись и они. Субмарина всплыла почти в самой лагуне, оставив плавучую баррикаду далеко за кормой.

Губернатор острова принес свои извинения и увез офицеров «Архелона» на трех «кадиллаках»

за город. Роскошный обед на вилле с бассейном, где обнаженные мулатки сплетались в узоры фигурного плавания, с лихвой возместил моральный ущерб, нанесенный пикетчиками. Губернатор уверил Рэйфлинта, что фрукты и мясо будут поставлены без проволочек и самого отменного качества. Единственное, что он оговаривал, так это то, чтобы погрузка провизии шла ночью.

— Ночью у саботажников меньше шансов на успех.

Рэйфлинт приподнял бровь:

— Почему?

— У нас в разгаре сезон ночного лова. Путина.

В полночь, в час полной воды, когда джонки в лагуне приподнимаются почти вровень с набережной, на «Архелоне» погасли якорные огни. Сливая мокрую чернь своих бортов с чернотой тропической ночи, подводная лодка бесшумно — на электромоторах — развернулась в заливе. Потом раздался тяжелый вдох, и две небольшие волны схлестнулись на том месте, где только что высилась крылатая рубка. Всплеск был отмечен зеленой вспышкой фосфоресценции…

Спустя несколько минут рыбаки, караулившие ночные свои сети у выхода из лагуны, увидели, как под днищами, их лодок прошло огромное

веретенообразное чудище в зеленовато-призрачном сиянии. За исполинской рыбиной тянулся вихревой светящийся след. «Архелон» уходил на позицию…

Рэйфлинт набрал номер каюты пастора и пригласил его на чашечку кофе. Святой отец был единственным на корабле человеком, который стоял вне рамок субординации и с которым можно было держать себя на короткой ноге. Рэйфлинт окончательно расположился к пастору, когда на прямой вопрос, верил ли тот в бога, Бар-Маттай ответил без обиняков «нет».

— Тогда почему же вы носите сутану? — изумился коммодор.

— Я согласен с Вольтером в том, что если бога нет, то его следует выдумать. Седобородого старца Саваофа нет, но есть идея бога. А она более чем реальна. Ведь если эта идея приводила в движение армады крестоносцев, заставляла людей возводить прекрасные храмы и сочинять гениальную музыку, если этот фантом на протяжении тысячелетий определял и определяет миллионы судеб, то какая мне разница, существует бог или нет. Достаточно того, что существует его идея. И я служу ей.

Рэйфлинт нашел это логичным:

— Лучше поклоняться богам в хитонах, чем в пиджачных парах… Так безвреднее…

Сегодня он собирался развлечь пастора голосами глубин. Барни подсоединил его квадродинамики к гидрофонам акустической рубки, и Рэйфлинт уже который вечер наслаждался забортными симфониями. Впрочем, симфонией это можно было назвать лишь в авангардистском толковании жанра. Певучие свисты сциен, урчание, писки, барабанные дроби пятнистых дорад, щелчки креветок, чьи-то вурдалачьи стоны, мяуканье, клекот, шипение, цвирканье — сотни звуков сплетались в величественную какофонию жизни. Порой весь хор перекрывал густой утробный бас, в котором слышались совершенно человеческие интонации, будто немой исполин отчаянно пытался прорвать свое мычание осмысленной речью. И тогда Рэйфлинту казалось, что это сам океан говорит с ним на древнем, забытом людьми языке. От этой мысли тревожно ныли виски и холодели пальцы.

На пастора «премьера симфонии» произвела ошеломляющее впечатление.

— Если не знать, откуда эти голоса, можно поверить, что слушаешь фонограмму фильма ужасов.

— Да. Особенно эти протяжные вздохи. Но об-

ратите внимание на блеющий щебет. Слышите? Это дельфины. Они идут за нами третьи сутки…

— Простите, в прошлый раз вы спросили меня о моей вере, могу ли я узнать, во что верите вы?

Рэйфлинт усмехнулся и долго возился с тумблерами, выделяя из биошумов дельфиний щебет.

— Я верю… А почему бы и нет?! Мой бог — дельфин. По крайней мере, эти твари не уничтожают друг друга, и, я читал, они ничуть не глупее нас. Вы не замечали — дельфин похож в профиль на Сократа?!

— Возможно.

— Вы носите на груди крест. Крест — виселица Христа, орудие пытки. Я же, — Рэйфлинт отогнул клапан нагрудного кармана с жетоном в виде дельфина, — как видите. Чья религия гуманнее?

— Вы — тотемист?

— Отнюдь. Я — эпикуреец, — засмеялся Рэйфлинт и потрепал искусственные волосы искусственной Ники. — Вас не шокирует это соседство?

— Нет… Теперь я знаю: вы язычник-идолопоклонник.

— Пусть будет так! — еще больше развеселился коммодор. — Но если серьезно, мне хочется верить в грядущую аквакультуру — в подводные

города, в освоение шельфа и всего гидрокосмоса, в человека, вернувшегося в свою праколыбель — океан, живущего в нем без аквалангов, как дельфины…

— А пока вы принесли в праколыбель жизни коконы смерти.

— Что делать! Хочешь идти по канату, соблюдай равновесие.

— Старо. Я тут нашел в Библии слова пророка Луки: «Вы — как гробы сокрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Воистину подводные лодки — могильные черви человечества.

— О, нас с вами слишком далеко занесло… — Рэйфлинт встал из-за стола-аквариума. — Хотите сюрприз?

Бар-Маттай молчал, разглядывая на стенках чашечки узоры кофейной гущи.

— Предупреждаю, — мягко, но властно настаивал на своем Рэйфлинт. — Я не хочу оскорбить ваше благочестие. Но коль скоро вы взялись за спасение наших душ, то должны знать, чем живут ваши овцы на глубине в тысячу футов…

Он провел Бар-Маттая в носовой — торпедный — отсек, самое большое помещение субмарины. Здесь уже сидели и лежали на запасных — стеллажных — торпедах свободные от вахт люди.

Судя по оживлению, зрители собрались отнюдь не на фильм и даже не на игру в «тото». Больше всех суетился стюард, поминутно выглядывая из-за ширмы, расставленной перед круглыми крышками торпедных аппаратов. Наконец он выбрался оттуда в чалме, обнаженный по пояс, с флейтой в руках. Тут же вспыхнули первые аплодисменты и погасли. Ахтияр уселся по-турецки рядом с негром-барабанщиком, и оба они завели тягучую и ритмичную мелодию Больших Кокосовых островов. Из-за ширмы — Бар-Маттай глазам своим не поверил — выплыла изящная женщина.

— Катарина Фёрст — звезда Больших Кокосов, — наклонился к уху пастора Рэйфлинт. — Как и вы, она решила пойти вместе с нами, чтобы спасать наши души. Только не от греха, а от скуки. И заметьте — счет пока не в вашу пользу… Вахтенный офицер, глубина?

— Глубина тысяча футов, сэр. Горизонт чист.

— Есть.

Танцуя, Катарина пела:

Зачем нам жены?

Зачем нам дети?

Земные радости не для нас.

Все, чем живем мы
Сейчас на свете, —
Немного воздуха и
Приказ…

Пастор смятенно вопрошал:

— Но как же обычай?.. Во все времена женщина на корабле приносила несчастье?!

— Вам не пристало верить предрассудкам, святой отец!

— И все-таки как она здесь появилась?

— Спросите вашего соседа Ахтияра. Этого мерзавца я спишу в первом же порту.

Катарина Фёрст и сама бы желала знать, каким образом очутилась она в отсеках «Архелона». Последнее, что удержала ее зыбкая девичья память, был столик в портовом баре. Об остальном она знала со слов Ахтияра.

— Когда ты уснула, моя серна, я отнес тебя на руках к трапу, бережно спустил вниз и уложил в своей каюте, а сам сидел в ногах и охранял твой сон, о возлюбленная!

Это была полуправда. Ахтияр действительно отнес Катарину на руках, но предварительно завернув в ковер, который купил тут же, в баре, не торгуясь. Покупку с драгоценным вкладышем

он притащил на лодку ночью — в самый разгар погрузки — и, благополучно миновав старшего помощника, спустил ковровый рулон в торпедо-погрузочный люк вслед за освежеванной тушей барана. Стюард никак не предполагал, что командир решит уйти из Сан-Пальмаса на сутки раньше — нынешней же ночью.

Придя в себя, двадцатидвухлетняя звезда шоу не стала горевать. Подводные гастроли обещали по меньшей мере сногсшибательную рекламу. Три дня Ахтияр уговаривал доктора пойти к разгневанному командиру замолвить за него слово. Во время обеда Коколайнен заметил невзначай, что из любого происшествия всегда можно извлечь и нечто полезное…

— Что вы имеете в виду?! — вскинулся Рэйфлинт.

— Раз от этой девицы никуда не деться, то пусть принесет пользу, как умеет. Мальчикам нужна психологическая разрядка. Впереди столько напряженных вахт…

Офицеры за столом зашумели, дружно поддержав «самого мудрого флотского эскулапа».

Рэйфлинт промолчал, но вечером разрешил выступление.

Дельфины шли за «Архелоном» стаей. Они

привыкли, что три раза в сутки огромная черная рыбина выбрасывала вкусное облако кухонных отбросов. Это стюард выстреливал из специального бункера камбузные отходы. Акустики слышали в наушниках воздушный хлопок, а затем переливчатое щебетание. Дельфины смеялись. Рэйфлинт включал у себя в каюте динамики и вслушивался в веселую перекличку. Он начинал различать их по голосам. Самому бойкому он придумал кличку — Тэдди. Так звали его младшего брата, умершего еще в детстве.

…Первым обнаружил признаки этой странной болезни стюард. Точнее, пастор, который с ужасом наблюдал, как Ахтияр, опершись ладонью на раскаленную плиту, завинчивал под подволоком клинкет вентиляции. Ладонь дымилась и потрескивала, а стюард, не отрываясь от клинкета, удивленно бормотал:

— Черт побери, где-то подгорает мясо!

И тут он дико уставился на ладонь. Он совершенно не чувствовал боли…

Коколайнен нашел у него атрофию болевых нервов, тактильных и температурных рецепторов. Кожа всего тела потеряла чувствительность.

— Ничего, — утешал его доктор. — Если в драке тебя пырнут ножом, ты не будешь вопить, как

кролик.

— И на том спасибо, Коко…

Через несколько дней на ладонях, лбу и щеках Ахтияра проступили бронзовые пятна, а черная поросль на руках и остатки шевелюры побелели, как у глубокого старика.

Рэйфлинта ничуть бы не обеспокоили изменения в порочном организме стюарда, если бы в один недобрый вечер он не увидел седого как лунь Роопа.

— Скверные дела, — невозмутимо сказал старпом, разглядывая побронзовевшие пальцы. — Должно быть, барахлит биологическая защита. У старшего радиста Барни точно та же история.

Проверили биозащиту реактора, но она оказалась в норме. Утром на прием к Коколайнену пришли три седых турбиниста. Доктор развернул походную микробиологическую лабораторию. Сделав первые анализы, он поспешил к командиру. Надо было срочно превращать один из концевых отсеков в изолятор и держать там всех больных до конца похода.

— Не надо никаких изоляторов, — мрачно процедил Рэйфлинт.

— Но почему?!

— Я не могу управлять кораблем из изолятора.

И командир показал доктору бронзовые ладони.

Было поздно устраивать карантин, потому что начальные признаки неизвестной болезни обнаружились почти у всех членов экипажа. Рэйфлинт вынужден был дать тревожную радиограмму в Генеральный морской штаб. Через сутки седоусый Барни положил ему на стол ответный дешифрант:

> «Окончить боевое патруливание. Следовать на север. Встать на якорь в миле от внешнего рейда базы. Командующий флотом».

Обратно возвращались полным, сорокаузловым, ходом. В кают-компании обедали молча, без обычных шуток. Бар-Маттай ходил по отсекам, искал для больных слова утешения. Одни слушали его с надеждой, другие — криво усмехаясь, третьи — их было совсем немного — зло отмахивались.

Каждое утро пастор осматривал тело. Бронзовые пятна не появлялись, седины в волосах не прибавлялось.

Когда радар «Архелона» отбил на экране бледные очертания родных скал, пришла новая

радиограмма:

> «Командиру подводного рейдера S-409. С приходом в назначенный район встать к барже на внешнем рейде. Перенести на баржу контейнер с биологическим материалом. После передачи бактериологических проб отойти южнее мыса Шедруп и лечь в дрейф. Ждать дальнейших распоряжений. Командующий флотом».

Баржу обнаружили сразу. Старая посудина одиноко стояла на двух якорях. Внешний рейд был пуст.

Коколайнен перенес на ржавую палубу контейнер и выстрелил зеленую ракету. С удовольствием прошелся по плавучему островку и нехотя перепрыгнул на корпус субмарины. «Архелон» взял курс на мыс Шедруп.

— Алло, Флэгги! Ты еще не надумала выйти за меня замуж?

— Еще нет.

— Я тебе всегда говорил, что подводники — это камикадзе.

— Что-нибудь с Барни?!

— И не только с ним…

— Говори же, ради бога!

— По телефону не могу.

— Тогда приезжай немедленно!

— Но сейчас почти полночь. Мне с утра на службу.

— Черт побери, у меня четыре комнаты, и все пустуют!

— О! Наконец-то я слышу речи не девы, а жены… Еду.

Помощник флагманского эпидемиолога капитан медицины О'Грэгори повесил трубку уличного автомата. Не надо было бы называть имени Барни. Телефон наверняка прослушивается… Хотя вряд ли тому, кто сидит в подземелье с наушниками, известно, кто такой Барни и где именно он служит. Главное, что эта недотрога Флэгги впускает его в свою крепость. А уж за ночь в пустой квартире он найдет общий язык и с монахиней… Конечно, О'Грэгори не так прост, чтобы расплачиваться за ночь любви государственными тайнами. Результаты бактериологического анализа биопроб с «Архелона» были немедленно засекречены, едва он и его шеф доложили в адмиралтейство, что обнаружены бациллы неизвестной доселе формы проказы — весьма скоротечной и инфекционной. Выяснилось, что

микробы лепры в условиях слабой радиации ядерного реактора переродились в новый, крайне опасный для здоровых людей вид микроорганизмов. Его условно назвали — «суперлепра XX».

Ничего этого Флэгги не узнает. Просто надо будет сказать, что возвращение Барни откладывается на неопределенный срок из-за эпидемии гриппа. Бедная Флэгги! Если бы она знала, что уже наполовину вдова, быть может, была бы куда снисходительнее к гонцу печальной вести…

О'Грэгори нажал на акселератор и вырулил на шоссе к городку подводников. Протяжный взрыв со стороны моря заставил его оглянуться. Вспомнил: это на внешнем рейде взорвали баржу, на которой побывали носители бацилл суперлепры XX…

В Генеральном морском штабе адмиралы вместе с учеными-микробиологами решали судьбу «Архелона». Капитан медицины О'Грэгори никогда еще не видел такого скопища больших звезд на погонах. Он тихо сидел рядом с шефом, обхватив ладонями щеки. Поза его выражала глубокую озабоченность, столь подобающую случаю. Она была еще и удобной, потому что позволяла, во-первых, скрывать легкую щетину, проступившую после бессонной ночи (О'Грэгори

не успел побриться — шеф назначил ему рандеву на аэродроме рано утром, а у Флэгги не нашлось бритвы); во-вторых, задумчиво опустив голову на ладони, можно было дремать с открытыми глазами. О'Грэгори всю ночь расточал красноречие и обаяние, подогревая себя кофе с коньяком и бразильскими сигарами. Может быть, все и удалось бы, если бы не этот кретинский транзистор. Дернуло же его поискать музыку. Флэгги чуть не ударилась в слезы: «Ах, Барни!..» Дался же ей этот лысый маркони! Послушала бы, что уготовано ее муженьку…

Только что закончил содоклад начальник медико-санитарного корпуса флота. Суть его сводилась к тому, что на острове Юджин в заброшенном концлагере можно без особых затрат устроить лепрозорий для пораженного экипажа. Проблема заключалась лишь в том, что делать с подводной лодкой. Подлежала ли она дезинфекции? Если нет, то уничтожение столь дорогостоящего корабля наносило ощутимую брешь как в военном бюджете, так и в боевой мощи флота.

Президент микробиологического общества профессор Сименс стоял на том, что полную дезинфекцию в отсеках «Архелона», набитых электроникой и разнообразной машинерией,

провести невозможно. Надо менять всю начинку. Проще построить новый корабль.

Морской министр требовал хотя бы частичной дезинфекции и скорейшего выхода стратегического атомохода на боевое дежурство.

— Тогда через месяц вам придется подыскивать еще один остров Юджин! — запальчиво возражал профессор.

— Но я не могу отправить на дно целый ракетодром. Нация мне этого не простит.

— Нация во сто крат не простит вам, если вы заразите ее суперлепрой!

Перепалке, которая вот-вот грозила перейти правила приличия, положил конец начальник Генерального морского штаба.

— Пусть каждый из присутствующих выскажет свое мнение. По старому флотскому обычаю начнем с младшего. Капитан медицины О'Грэгори!

О'Грэгори вздрогнул, как школьник, вызванный учителем врасплох. Он встал, потирая небритый подбородок (жест крайнего смущения или, напротив, сосредоточения).

— Мне кажется, есть смысл не менять на «Архелоне» экипаж… — О'Грэгори сказал первое, что пришло ему в сонную голову, и тут же судорожно стал придумывать обоснование. Нужно было

немедленно найти хоть какой-нибудь довод, пусть нелепый, лишь бы не стоять столбом. Карьера висела на волоске…

— А в этом что-то есть! — первым нарушил напряженную тишину начальник Генморштаба. — Как сказывается лепра на работоспособности больного?

— Никак! — откликнулся флагманский эпидемиолог. — На ранних стадиях болезни человек почти полностью сохраняет умственную и трудовую способность. Безобразен лишь внешний вид больного…

— Ну это уже из области эстетики, — прервал его адмирал. — В предложении капитана О'Грэгори я нахожу выход из сложившейся ситуации. Энергетическая установка «Архелона» заряжена на пять лет непрерывной работы. Таким образом, если экипаж пробудет некоторое время в море, то отпадает нужда в лепрозории, также как снимается с обсуждения и вопрос о дезинфекции. А главное — не страдает стабильность нашей обороны.

— Страдают люди! — не удержался Сименс.

— Это военные люди, профессор! Они призваны к страданиям и лишениям. А вы, ученые, точно так же призваны им помочь. У вас будет предо-

статочно времени, чтобы найти противоядие.

— Наука ищет его столетиями. Медицина пока бессильна.

— У нашего флота несколько иной девиз! Если враг обнаружен, его уничтожают!

— Браво! — воскликнул морской министр.

— Чудовищно! — резюмировал президент микробиологического общества.

— Прошу разрешения сесть! — напомнил о себе капитан медицины.

— Садитесь, майор! — одобрительно кивнул морской министр.

«О, Флэгги! — радостно простонал про себя помощник флагманского эпидемиолога. — Покровительница морской медицины!»

За полночь в каюту пастора тихо постучали. Бар-Маттай заложил страницу и открыл защелку. В узенький проем двери заглядывал усталый Рэйфлинт.

— Вы не спите? Хочу с вами посоветоваться… Прочтите.

Бар-Маттай поднес к глазам бланк шифрограммы.

«Совершенно секретно.
Командиру подводного рейдера-409.

Руководствуясь принципами гуманизма, предлагаю на ваше усмотрение следующий выбор:

1. Идти к острову Юджин для изоляции больных членов экипажа в лечебнице закрытого типа с передачей корабля дезинфекционной команде.

2. Заправиться у баржи за внешним рейдом базы и выйти в район стартовых позиций для несения боевого дежурства. После изыскания учеными эффективных средств лечения суперлепры XX, которое будет проведено в кратчайшие сроки, вернуться в базу.

В случае выбора второго варианта денежное содержание членов экипажа за время пребывания на позиции будет увеличено вдвое. Морской министр».

Бар-Маттай дважды перечитал бумагу, пытаясь вникнуть в смысл казенных формулировок.

— Мне кажется, первый вариант человечнее…

— Я тоже так думаю.

— И потом, этот стальной склеп начинает действовать на нервы.

— С удовольствием размял бы ноги на острове.

Даже если он сплошь из камня. Надеюсь, нам не возбранят ловить рыбу удочкой…

— Вы правы, камень куда теплее металла. И потом, одно только созерцание неба…

— Ну, уж на небо нам рановато. Хотите подышать под звездами? Идемте на мостик.

Они выбрались наверх и вышли на рубочные рули, нависавшие над морем, как балконы. Бурлила захлестывавшая на корпус вода.

— Видите, альфа Малой Медведицы. Полярная звезда. Полярис. Через нее проходит земная ось. К ней же привязана и залповая точка «Архелона». Если хотите, это погребальная звезда человечества.

— От Вифлеема до Поляриса…

— Что-что?

— Я говорю, человечество прошло путь от звезды Вифлеема до Поляриса…

— Звездный путь, — усмехнулся Рэйфлинт. — Сквозь тернии — к звездам…

Остров Юджин открылся в предрассветных сумерках. На алом фоне заревой полосы четко выступали утесистые скалы. Глубины позволяли подойти к острову совсем близко, и вскоре все, кто стоял на мостике, увидели бараки за колючей проволокой, вышки с прожекторами…

— Прелестный санаторий, — скривился Рэйфлинт и впервые при пасторе выругался. Бар-Маттай рассматривал из-под ладони отвесные скалы.

— Рооп, играйте большой сбор, — распорядился коммодор. — Постройте экипаж на ракетной палубе!

Когда подводники неровной чередой встали вдоль крышек ракетных шахт, Рэйфлинт показал рукой на остров, который даже в лучах поднявшегося солнца оставался черным и угрюмым, и прокричал в мегафон:

— Выбирайте! Либо это, либо океан…

— Океан! — вразнобой грянули архелонцы. Ветер трепал седые волосы, жутковатой неживой бронзой отливали их лица. Яростно ругаясь, матросы сыпались в верхний рубочный люк. У нижнего обреза входной шахты они натыкались на Катарину, не рискнувшую выбраться на палубу, обходили, бесцеремонно задевая плечами.

— Эй, красотка! — окликнул ее негр-барабанщик. — А почему ты такая же рыжая, как и была? Уж не ты ли нас наградила этой «бронзовкой»?!

Катарина сжалась.

Сэм рванул на ней платье.

— Ага! Я же говорил! — возопил негр. — На ней

ни одного пятнышка!

— Я ничего не знаю! — кричала девушка. — Я никогда ничем не болела!

Толпа, сбившаяся в центральном посту, заревела:

— Мы тоже ничем не болели, пока ты не принесла на хвосте эту заразу!

— Суд Линча этой стерве!

— В торпедный аппарат ее, Сэм!

Сэм ловко перехватил танцовщицу за пояс и ринулся в носовые отсеки. Катарина отчаянно брыкалась, но ей стянули ноги остатками платья. Кто-то услужливо распахнул крышку нижнего торпедного аппарата — его недавно красили, и он был пуст. Сэм затолкал извивающееся тело в узкую темную трубу. Крышку тут же захлопнули и задраили. Крики и мольбы Катарины глухо пробивались сквозь толстый металл. Но тут открыли переднюю — забортную — крышку, и в аппарат ворвалась вода. Еще слышно было, как билась и царапалась в трубе жертва, когда Сэм заученно рванул рычаг боевого баллона. Двести атмосфер вышвырнули хрупкое тело в глубину. Испуганно шарахнулись дельфины. Сжатый воздух вырывался на поверхность черными хрустальными шарами…

Педант Рооп записал в вахтенный журнал:

> «В 7.00 на траверзе острова Юджин привели в исполнение приговор суда Линча над гражданкой федерации Больших Кокосовых островов Катариной Фёрст, виновной в заражении экипажа суперлепрой XX. В 7.15 дали обороты турбинам и легли на обратный курс для дозаправки продуктами».

Ахтияр прибежал в торпедный отсек, когда народ уже расходился. Выпихнув из лаза чью-то голову, стюард пронырнул в круглый люк, пронесся по проходу между стеллажными торпедами, сталкивая встречных, и яростно забарабанил в аппаратную крышку.

— Открой, — заревел он Сэму.

— Пожалуйста, сэр! — Торпедист крутнул рычаг кремальеры и галантно распахнул зев трубы. Маленькая морская звезда распласталась на мокром металле… Ахтияр, издав странный горловой звук, долго смотрел на нее, затем извлек звезду из аппарата, бережно расправил лучи на ладони и, с трудом переставляя ноги, понес ее к выходу.

Сэм пощелкал пальцами у виска:

— Похоже, он решил, что его красотка слегка

уменьшилась в размерах!

— Держу пари, она сегодня попадется тебе в компоте, Сэм! — захохотал негр-барабанщик. Но тут взвыли внутриотсечные динамики: «По местам стоять! Корабль к бою и походу!»

Бронзовые сверла гребных винтов вбуравились в воду.

На этот раз буксиры вывели в море старый лихтер, груженный ящиками, мешками, бочками и коробками — со всем необходимым для годичного автономного похода.

Выждав, когда на лихтере никого не осталось, «Архелон» подошел к борту. Без малого сутки перетаскивали подводники провизию, медикаменты, запчасти, загромождая отсеки и трюмы. Субмарина ушла, и лихтер взорвали.

Океан принял в свои недра заразные обломки точно так же, как принимал он бетонные капсулы с отравляющими газами и радиоактивными веществами.

Ахтияр после гибели Катарины почти перестал выходить из каюты. В знак траура он отпустил щетину. Редкие жесткие волоски торчали из кожи серебряными занозами. Несколько раз он ходил к Коколайнену, выменивая спирт на шоколад и сгущенные сливки. Однажды постучался

к пастору и попросил его прочитать по душе убиенной какой-нибудь псалом.

— Она была католичкой. Ей было бы приятно знать, что я попросил вас об этом…

Бар-Маттай выполнил просьбу.

— А нельзя ли нас обвенчать? Заочно?

— Нет. Я должен был услышать сначала ее согласие.

— Она согласна! Я знаю. Мы бы неплохо зажили. У меня кое-что отложено.

— Этого нельзя сделать еще и потому, — покачал головой пастор, — что вы мусульманин.

— У меня нет веры, святой отец. Мне все равно. Магомет или Христос. Я верю только в него! — И стюард выхватил из потайных ножен кривой индонезийский крис с волнистым лезвием. — А что до ее согласия, то вы его услышите, пастор.

— Я не умею вызывать души мертвых.

— А вы попробуйте, ваше преподобие! Я бы дорого дал, чтобы услышать ее голос. Хотя бы с того света…

И Ахтияр отправился к доктору с очередным свертком. Стюард постучал, и дверь под ударами полусогнутого пальца легко отворилась.

Коколайнен сидел в кресле, уронив голову на стол, будто вслушивался, что там творится в вы-

движном ящике.

— Эй, док… — осекся на полуслове Ахтияр. Щеки корабельного врача были не бронзовы, а сини. Синюшные пятна проступали на лбу и руках. Из-под микроскопа торчал обрывок ленты штурманского рекордера. Строчки запрыгали у стюарда в глазах:

«Я, корабельный врач «Архелона», майор медицины Уго Коколайнен, сим свидетельствую… (зачеркнуто) …разглашаю известную лишь мне служебную тайну… (зачеркнуто). За неделю до выхода в море я дал согласие… (зачеркнуто). Я единственный член экипажа, который знал, что среди ракетных боеголовок, принятых на борт подводной лодки, четыре выполнены в варианте носителей бактериологического оружия. Они начинены ариновирусами… Генная инженерия…

Очевидно, произошла разгерметизация и утечка… Мои функции по контролю… (зачеркнуто). Видит бог, я ни в чем не виноват… По всей вероятности, ариновирусы в условиях слабой радиации и нашего микроклимата переродились, да-

ли новый штамм… Я искал противоядие. Все бесполезно… Все бессмысленно… Я принял цианистый калий, убедившись, что имею дело с неизлечимой формой лепры. Подводный лепрозорий ничуть не лучше острова Юджин. Те, кто думают иначе, пусть живут и уповают на бога…»

Ахтияр разыскал Сэма-торпедиста в кубрике кормового отсека. Сэм спал на нижней койке и долго не мог понять, почему оказался на палубе и что за бумажку тычет ему в нос стюард.

— Читай, скотина! Читай, подонок! Она ни в чем не виновата!.. Ты мне еще ответишь за нее, ублюдок!

Рэйфлинт долго вертел записку в пальцах, затем набрал кнопочный код сейфа, приподнял защелку замочной скважины. Открывшийся запор мягко вытолкнул ключ. На внутренней панели коммодор еще раз набрал код — буквенный — «КНЯЖЕНИКА»: полное имя Ники он ввел в электронную память замка сам; щелкнула дверца «секретки» — сейфа в сейфе, — и Рэйфлинт извлек наконец бордовый пакет из освинцованной ткани, прошитый шелковой ниткой крест-накрест. Кривыми маникюрными

ножницами перестриг нитки, вспорол плотную ткань. Из чехла выпал бумажный конверт; в красной треугольной рамке чернели слова, каллиграфически выведенные тушью:

> «Внимание! Пуск ракет в контейнерах № 21, 22, 23, 24 производится только по получении сигнала «Эол».

Рэйфлинт швырнул конверт в «секретку», вызвал старшего помощника:

— Рооп, необходимо полностью герметизировать четыре кормовые шахты. Выясните у механика, возможно ли заварить крышки этих шахт.

— Заварить?

— Да, заварить. Наглухо. Ракеты, которые в них находятся, небоеспособны.

— Не проще ли выстрелить их в безопасный район?

— Не проще. Для этих ракет безопасных районов не существует… Рооп, если я вас люблю, то только за то, что вы не задаете лишних вопросов.

— Вас понял, сэр!

Старший помощник исчез. Рэйфлинту вдруг захотелось разрядить кормовые шахты по Гене-

ральному морскому штабу. Вспомнился прием у командующего флотом: «На ваш подводный рейдер, коммодор, возложены особые задачи…»

Мальчишкой в «индейских» играх Рэйфлинт всегда был на стороне бледнолицых только потому, что те не применяли отравленное оружие. Теперь же в его ракетный колчан тайком вложили отравленные стрелы. И кто?! «Бледнолицые братья» в адмиральских погонах. Он, коммодор Рэйфлинт, командир «Архелона», на самом деле всего лишь жалкий лучник, призванный спустить тетиву по сигналу… Скрыли. Не доверили… Впервые за много лет захотелось расплакаться. Пешка! Рэйфлинт хватил кулаком по столу. Испуганно метнулись в глубь аквариума рыбки.

Коколайнена командир приказал хоронить по морскому обычаю, но без ружейного салюта, исполнения гимна и приспускания флага.

Пастор, ежась от ночной сырости, прочел над зашитым в брезент телом погребальный псалом. Бар-Маттай не любил самоубийц, и эта смерть ничуть его не тронула.

Когда брезентовый куль с зашитыми в ногах гантелями доктора сполз по доске в воду, Барни, стоявший в первой шеренге, услышал за спиной шепот Ахтияра: «Вот первый, кому удалось сбе-

жать из этой крысоловки...»

В ту же ночь Рэйфлинт получил странную радиограмму, адресованную ему начальником Генморштаба:

> «Всплыть в 0 часов 30 минут. Принять телевизионную передачу по 7-му каналу. После сеанса телевизионной связи погрузиться и выполнять поставленную задачу».

В полчаса пополуночи Рэйфлинт включил в каюте телевизионный приемник и попросил Барни поточнее сориентировать антенну. На экране появился диктор в форме офицера связи:

«Вниманию экипажа «Архелона»! Передаем специальную программу с видеозаписью ваших родственников и членов семей».

Конечно же, первой выступала Ника. Она говорила сдержанно, как и подобает жене командира. Видимо, текст обращения ей помогли составить в центре связи. Ника никогда не употребляла таких высокопарных и правильных слов о воинском долге, патриотизме, героизме.

Странно и больно было видеть родное лицо, сотканное из голубоватых строчек телевизионного экрана. Рэйфлинт вдруг понял, что отныне

жена превратилась для него в некий электронный призрак, точно так же, как и он сам стал для нее ничуть не реальнее телевизионного изображения.

Тощая супруга Роопа произносила все те же скучные слова, которые, как ни странно, казались ее собственными.

И лишь Флэгги, запнувшись на одной из фраз казенного текста, искренне разрыдалась. Ее тут же убрали из кадра. И Барни бросился к рукояткам настройки, как будто мог вернуть Флэгги на экран. Естественно, ему это не удалось, и он долго сидел в радиорубке, прикрыв глаза ладонью.

Программу закончили выступлением новомодных джазистов. Рэйфлинт выключил телевизор и велел вахтенному офицеру погружаться.

Затем он открыл бар и налил рюмку арманьяка. В последнее время к этому лекарству приходилось прибегать все чаще и чаще. После записки Коколайнена он перестал следить за календарем. Доктор Коко был первоклассный медик, и если он считал суперлепру неизлечимой, то, значит, так оно и есть. Кстати, в очередном сеансе связи надо будет попросить нового врача. Все-таки сто человек экипажа… «Бронзовка» «бронзовкой», но погибать от какого-нибудь аппендицита ничуть

не радостнее… Нового врача… Ха-ха! Кто к ним пойдет?! Разве что с электрического стула. Пускай присылают смертника. Одним будет больше… Опять же разнообразие — свежий человек оттуда, из того мира, с того света…

Парадокс судового времени: минуты тянутся часами, а недели пролетают секундами. После телевизионной встречи с Флэгги время для старшего радиста Барни потекло еще медленней. На «Архелоне», быть может, для него одного вращение часовых стрелок имело особый сокровенный смысл. У Барни созрел план побега. Надо было только дождаться очередного подхода к перевалочной барже. И Барни дождался…

Тот вожделенный день с самого утра оказался подмоченным кровью.

Едва «Архелон» всплыл, как дюжина моряков, соскучившись по свежему воздуху, свету и простору, полезла из рубочной шахты на палубу. Напрасно старший помощник Рооп пытался остановить их, кричал и ругался. Ахтияр просто-напросто отодвинул его в сторону. При виде синеватой кромки берега архелонцы совершенно ошалели. Казалось, будь он поближе, они непременно попрыгали бы в воду и поплыли к земле не щадя сил. Но приходилось довольство-

ваться созерцанием утраченного рая, и тяжелый морской бинокль переходил из рук в руки. Сэм-торпедист нетерпеливо вырвал его у Ахтияра. Стюард взъярился. Тяжелый крис с волнистым лезвием вспорол мускулистый живот обидчика. Сэм, выронив бинокль, рухнул в воду.

— Передай мой привет Катарине, каналья! — Ахтияр еще любовался дымящимся ножом, когда к нему подскочил старший помощник Рооп.

— Арестовать мерзавца! — крикнул он, стараясь держаться подальше от окровавленного лезвия.

Стоявший рядом Барни не шелохнулся, а рослый турбинист и негр-барабанщик — оба с мутноватыми от гашиша глазами, не сговариваясь, заслонили стюарда. Более того, сжав кулаки, они двинулись на офицера. Рооп отступил в ограждение рубки и быстро захлопнул стальную дверь. Пожалуй, это и спасло его от участи Сэма-торпедиста. Рооп немедленно доложил о происшествии командиру и был поражен равнодушием, отсутствующим взглядом Рэйфлинта.

К полудню «Архелон» пришвартовался к старому сейнеру, просевшему в воду под тяжестью ящиков и бочек чуть ли не по фальшборт.

Барни сам напросился в погрузочную партию.

Он таскал тяжелые пластиковые пакеты, контейнеры, коробки и прочие грузы с энергией человека, разбирающего себе лаз из засыпанной пещеры. Выждав момент, когда ящиков на палубе осталось совсем немного, Барни проскользнул в люк машинного отделения и спрятался под пайолами в промежутке между дизелями. Он слышал, как грохотали поверху чьи-то каблуки, как спихнули на сейнер сходню, как взвизгнула отходная сирена… Его хватятся нескоро. С погружением радиовахта закрывается, до опорного сеанса связи — восемь часов. За это время портовый буксир оттащит сейнер в гавань, а уж там… Нет-нет. Барни не так безрассуден, чтобы немедленно пробираться к Флэгги, хотя соблазн пусть не обнять — а повидать ее издалека дьявольски силен. Он уйдет в горы, в альпийские луга и, как больной зверь чутьем выбирает себе целительную траву, так и он будет поедать всевозможные корешки и ягоды, соскребать в пещерах мумиё, пить родниковую воду, купаться в горячих источниках, пока эти проклятые бронзовые пятна не исчезнут…

Барни выглянул в иллюминатор и убедился, что «Архелон» исчез, растаял, развеялся, как дурной сон, как кошмарное наваждение. Тогда он вы-

брался на твиндек и пустился в дикий радостный пляс. Он подпрыгивал и орал детскую песню:

У Флэгги жил веселый гусь,

Он знал все песни наизусть,

Спляшем, Флэгги, спляшем!

Солнце ушло за горизонт, запахнувшись синими дымками, будто рухнул в горы алый болид, подняв дымные вихри. В сумерках на фарватере зажглись чьи-то ходовые огни. Барни ничуть не сомневался, что это буксир.

Это была последняя радость, дарованная ему судьбой. Оператор на береговой станции морской стражи нажал тангенту радиовзрывателя. Двести килограммов тротила, заложенного вдоль килевой коробки, взметнулись огненным смерчем…

Флэгги лежала с широко открытыми глазами. О'Грэгори восхищенно разглядывал ее профиль.

С Флэгги ему повезло. Флэгги катализатор идей. В ее присутствии, в ее биополе у него рождаются гениальные решения. Как тогда, например: превратить «Архелон» в подводной лепрозорий… Сегодня снова осенило. Судя по последним сообщениям с субмарины, несколько членов экипажа оказались неподверженными суперлепре XX.

Что, если ее бациллы воздействуют лишь на определенный этнический генотип? Тогда можно было бы вывести культуру, поражающую ту или иную национальную группу. Вдруг в один прекрасный день вымерли бы все чернокожие, рассеянные среди белых. Или все желтые. Смертоносная эпидемия, совершенно безопасная для белого большинства. Этническое оружие. И он, майор медицины О'Грэгори, его изобретатель. Не пора ли флагманскому эпидемиологу, этому старому склеротику, уступить свое кресло, а заодно и генеральские звезды?

Транзистор в изголовье вдруг пронзительно пискнул: «Тип-топ»!

Флэгги привскочила, будто ее кольнули.

— Это Барни! Это его сигнал! Он возвращается! Слышишь?!

— Совершенно исключено, — с олимпийским спокойствием откликнулся О'Грэгори.

— Но это же он! Ты не знаешь! Мы с ним условились. Перед возвращением он даст сигнал. Он сам настроил приемник на свою волну…

— Сядь и выслушай внимательно. — О'Грэгори ласково, но властно привлек ее за плечи. — Барни не вернется никогда… На «Архелоне» не грипп. Там лепра. Суперлепра, от которой нет проти-

воядия. И вряд ли в обозримом будущем оно появится. «Архелон» похоронен в океане заживо… Надеюсь, ты понимаешь, что все это не для широкого круга.

— Но сигнал! Ведь это же его сигнал! Я слышала сама!

Флэгги не знала, да и не могла знать, что радиоимпульс, пробудивший ее транзистор, привел в действие взрыватель на сейнере. Оператор станции морской стражи нажал тангенту передатчика… Совпадают не только мгновения, события и мысли. Совпадают и частоты радиоволн.

О'Грэгори любил запах свежих газет. Терпкий дух типографской краски приятно бодрил по утрам, как лосьон после бритья, как аромат закипающего кофейника. У себя в коттедже он хозяйничал сам, и ни одна женщина, даже Флэгги, не могла похвастаться, что сделала бы это лучше.

Едва он развернул «Атлантический курьер», как в глаза ударила шапка: «Сто обреченных. Жена погребенного заживо обвиняет». И портрет Флэгги чуть больше почтовой марки.

О'Грэгори знал об обмороках только из медицинских учебников. Он мог поклясться, что

теперь он пережил это состояние сам, не выпуская из рук ни газеты, ни кофейной чашки. Печатные строки вдруг резко почернели, и чернота расползалась по всей странице…

Весь день он пролежал дома, не найдя даже сил позвонить на службу. Его телефон молчал тоже, и О'Грэгори дорого бы дал за чей-нибудь праздный звонок. От нехороших предчувствий спасался греческим коньяком и американскими детективами. Включил телевизор и тут же во весь экран увидел кислое лицо шефа. Шеф не то оправдывался, не то объяснял:

«…Для спасения больного экипажа мобилизованы лучшие научные силы страны. В микробиологическом центре ведутся поиски эффективных лекарственных препаратов».

Переключил на другую программу. После конкурса усачей и строителей самого высокого карточного домика передали сообщение, что группа депутатов обратилась к морскому министру с запросом о дальнейшей судьбе «Архелона».

О'Грэгори выключил телевизор, запил таблетку снотворного коньяком и лег спать. Уснуть удалось после долгих монотонных повторений: «Все обойдется, все будет хорошо. Все обойдется…» О'Грэгори верил в аутотренинг.

Ночью забренчали караванные колокольцы в прихожей. Майор медицины вышел в махровом халате, пошатываясь от сонной одури. Замочная скважина выходной двери источала в темень прихожей слабый желтый свет. Там, снаружи, стояли с карманными фонарями. О'Грэгори не стал спрашивать кто…

— Майор О'Грэгори? — спросил тот, который и в самом деле был с фонариком. — Одевайтесь. Быстро!

Бар-Маттай поддернул черные рукава и взялся за перо. С тех пор как он начал «Неоапокалипсис», жизнь его на «Архелоне» обрела смысл, и заточение в стальном склепе перестало страшить безысходностью. Пастор не знал, каким способом он передаст «записки из преисподней» в мир живых. Пока это даже и не занимало его. Важно было успеть изложить на бумаге то, что должно было сказать человечеству с амвона-эшафота. Бар-Маттай, как и герой любимого романа, полагал, что рукописи не горят, а значит, и не тонут, не развеиваются в радиоактивный прах…

> «Возлягшие в тишине, проснутся в грохоте… Океан, веками кормивший миллиарды людей, заражен ныне чер-

ными коконами субмарин, как каравай куколем… Стрела, вонзенная в спину, да превратится в ангельское крыло…»

Старший помощник Рооп осторожно тронул Рэйфлинта за плечо. Рэйфлинт вздрогнул и проснулся. Невыключенные с вечера гидрофоны струили в каюту вздохи глубин, попискивали рыбьими голосами.

— Господин коммодор, считаю своим долгом предупредить, что дальнейшее пребывание на глубине становится опасным.

— Что-нибудь с реактором?

— Хуже, сэр! Люди не хотят нести вахты. Вчера провалились на тридцать футов ниже предельной глубины. Теперь на рулях я сижу сам. Матросы выходят из повиновения…

Рэйфлинт щелкнул тумблером внутреннего телевидения. Экран реакторного отсека показал, что у контрольных приборов не было ни одного человека. В турбинном отсеке резались в карты. В жилом кормовом сливали спирт из противолодочных торпед.

Рэйфлинт выключил пульт.

— Всплывайте! Будем ложиться в дрейф.

— Но режим скрытности, сэр… Наверху утро.

— Глубина под килем?

— Семь тысяч футов, сэр.

— Рооп, вы хотите, чтобы в скрытности мы переплюнули «Дрэгги»?

— Вас понял, сэр.

В цистернах «Архелона» заревел сжатый воздух.

С тех пор как камбузные отходы по настоянию эпидемиологов стали выбрасываться за борт в пластиковых пакетах, дельфинья стая, сопровождавшая подлодку, заметно поредела, а затем исчезла и вовсе. Лишь Тэдди с непонятным упорством шел за субмариной. Это всех удивляло. Потом к нему привыкли и стали подкармливать. Дельфин привязался к «Архелону» как собачонка. Скорее всего, его привлекали какие-то звуки из шумового спектра атомной субмарины, возможно, они совпадали с биологическими частотами электрического поля дельфина, и Тэдди слышались любовные зовы. Как бы там ни было, но дельфин шел за «поющим» ракетоносцем, как на гигантский манок. Рэйфлинта это даже начинало слегка занимать.

— Вот единственное в мире существо, — заметил он однажды на мостике Бар-Маттаю, — которое нас не покинуло. Жаль, если оно попадет к

нам под винты.

Тэдди пронзал гребни волн живой торпедой. Океанское солнце сверкало на его черно-зеркальной спине.

— У него и в самом деле лоб Сократа, — припомнил пастор давний разговор.

— Командир! — крикнул Рооп, не отрываясь от бинокля. — Слева двадцать, угол места десять — вертолет. Идет к нам на пересечку курса.

— Все вниз! Боевая тревога! Срочное погружение!

Дверь квартиры Флэгги оставалась распахнутой до позднего вечера. Внизу, у входа в подъезд, поблескивала табличка с торопливой гравировкой: «Кураториум «Спасение «Архелона». 4-й этаж».

Две комнаты Флэгги отвела под штаб-квартиру созданного ею кураториума. Конечно, во многом помог брат, корреспондент «Атлантического курьера», но инициатива призвать общественность на помощь экипажу несчастной субмарины принадлежала ей. Она и возглавила кураториум «Спасение «Архелона». Теперь в ее квартире не умолкал телефон, то и дело приезжали журналисты, адвокаты, врачи, священники. В кураториум вступил и президент микробиологического

общества профессор Сименс. Однако ничего утешительного или даже просто обнадеживающего о ходе работ над «антилеприном» сообщить он не мог.

Может, есть какие-нибудь новости в Военно-медицинском корпусе? Флэгги несколько раз звонила О'Грэгори. Он бы мог быть весьма полезным кураториуму. Но телефон О'Грэгори молчал третьи сутки…

О'Грэгори прекрасно понимал, за что арестован, хотя ему ни разу не предъявили обвинения. Флэгги — роковая женщина!.. Неужели ради этого кретина Барни она так легко и жестоко могла, пожертвовать боготворящим ее человеком? Оставалось утешаться примерами из истории — Клеопатра, Юдифь… Он отчетливо сознавал: степень его вины, а значит, и мера наказания будет зависеть от того, каким грифом пометят разглашенную им служебную тайну: «секретно», «чрезвычайно секретно», «сведения особой важности» и, наконец, самое страшное — «сведения серии Z». К последней категории относились материалы стратегического характера. За разглашение сведений серии Z грозило пожизненное заключение или электрический стул. «Архелон», вооруженный межконтинентальными ракетами,

считался стратегическим объектом. Следовательно, любая связанная с ним информация автоматически подпадала под зловещий гриф.

На третьи сутки О'Грэгори, донельзя истерзанный догадками и сомнениями, был выведен из камеры гарнизонной гауптвахты и доставлен, к величайшему его изумлению, не в здание трибунала, а в кабинет шефа. Впрочем, председатель трибунала, тучный полковник юстиции, сидел рядом с флагманским эпидемиологом, а чуть поодаль разглядывал в окно гавань седоватый мужчина в хорошо сшитом костюме.

— Майор О'Грэгори? — Джентльмен у окна присел на подоконник. — Надеюсь, вы понимаете, что разгласили сведения серии Z. Я не говорю уже о том моральном уроне, который вы нанесли нашему флоту перед лицом мировой общественности!

О'Грэгори судорожно глотнул.

— Разглашение сведений серии Z, — бесстрастно напомнил полковник юстиции, — карается бессрочным тюремным заключением, а в случае особого ущерба, причиненного обороноспособности страны, — смертной казнью.

Майор медицины вцепился в спинку стоявшего перед ним стула.

— О'Грэгори, — вступил в разговор шеф, — мне очень жаль, что все так случилось. Я всегда ценил вас как отличного работника… Однако у вас есть шанс не только избежать суда, но и достойно продолжить карьеру. На «Архелоне» открылась вакансия корабельного врача…

О'Грэгори тихо сел на стул.

— Подумайте, О'Грэгори, — подошел к столу седоватый джентльмен. — Вы не только избежите позора, но и станете национальным героем. Весь мир узнает о благородном поступке военного врача. Через какое-то время найдут вакцину, и вы все вернетесь с триумфом!

— Лепра неизлечима, — проронил наконец арестованный.

— Делать такие категорические заявления подобает лишь господу богу… Решайте, О'Грэгори: электрический стул или лавры героя? Не будьте же болваном, подполковник!

О'Грэгори смахнул с бровей капли пота.

— Я согласен…

— Тогда подпишите вот это! — Пожилой джентльмен быстро достал из папки листок. — Это заявление для печати.

«Я, подполковник медицины О'Грэго-

ри, помня клятву Гиппократа, решил отправиться на борт подводной лодки «Архелон», чей экипаж заражен неизвестной науке болезнью. Я буду оказывать пострадавшим медицинскую помощь, пока не будет найдено эффективное лекарственное средство против суперлепры XX и корабль не вернется на базу…»

Утром тщательно выбритый, в тужурке с новенькими погонами О'Грэгори предстал перед журналистами. Накануне ему сделали инъекцию препарата, снимающего страх, так что держался герой нации раскованно и даже весело. Веселье шло от толики коньяка, принятого в буфете пресс-конференц-зала.

О'Грэгори не увидел своих портретов в вечерних газетах, так как после обеда его отвезли на один из приморских аэродромов. Там он пересел в кабину двухместного учебного истребителя, который спустя три часа полета над океаном совершил посадку на палубу авианосца «Кондо». На взлетной площадке О'Грэгори уже ждал вертолет.

Огромный многоугольник палубы «Кондора», исчерканной колесами самолетов, был последним земным видением О'Грэгори. Потом

бортовой иллюминатор вертолета надолго просинел от безбрежной шири океана.

Черная сигара «Архелона» открылась издалека, но едва вертолетчики успели взять на нее курс, как подводная лодка погрузилась. Чертыхаясь, пилоты зависли над местом погружения — волны даже не успели разметать пенное пятно, опустили в воду трос с капсулой гидролокатора, и штурман долго вызывал «Архелон» по звукоподводной связи. Наконец ракетоносец всплыл. Видно было, как на мостике забелели офицерские фуражки. Подлетели поближе — стали видны лица. Потом мостик уплыл назад, и под брюхом вертолета оказалась ржавая, позеленевшая от водорослей палуба «Архелона». О'Грэгори спустился на нее по висячему трапу. Вертолет взмыл и ушел в сторону. О'Грэгори видел, как от него отделилась веревочная лестница и, извиваясь, упала в воду. Ее выбросили, потому что она касалась палубы зараженного корабля.

У О'Грэгори защемило сердце. «Оставь надежду, всяк сюда входящий...» Выброшенная лестница давала понять это безжалостно и зримо.

В центральном посту нового врача окружила толпа золотушного вида людей, абсолютно лысых и голобородых. «Вторая стадия суперлепры», —

отметил про себя О'Грэгори.

— А где же Барни? — спросил он, не выдержав звериного любопытства, горевшего в глазах прокаженных.

— Хо-хо, док! — воскликнул яйцеголовый крепыш, похожий на турка. — Барни стал настоящим подводником. Кормит рыбок под водой.

Но никто вокруг не засмеялся.

Рэйфлинт позвонил Бар-Маттаю.

— Добрый вечер, святой отец! Сегодня юбилей — третья годовщина нашего плавания. Приглашаю отпраздновать.

Последнее время все их беседы были проникнуты горькой иронией. Правда, случались они все реже и реже. А с тех пор как «Архелон» всплыл в надводное положение и дрейфовал почти месяц, общение их свелось к просмотру телевизионных программ. Молчали. Пили кофе, не сводя глаз с экрана.

В потоке реклам то и дело мелькало имя «Архелона»: какао «Архелон», мопед «Архелон», женская прическа «а ля «Архелон», слабительные фруктовые кубики «Архелон», батники с силуэтом печально известной субмарины.

В книжном обозрении обсуждали книгу Княженики Рэйфлинт «Моя жизнь с командиром

«Архелона». Потом на экране пошли фотографии из их семейного альбома: Ника и Рэйфлинт на александрийской набережной. Рэйфлинт верхом на муле. Рэйфлинт и Ника кормят голубей на площади Сан-Марко.

«В Венеции, — читал диктор отрывок из книги, — мы провели медовый месяц. Рэй купил два акваланга, и мы заплывали с пляжа в каналы города. Он был большой шутник…»

— Почему «был»?! — вскричал вдруг Рэйфлинт. — Я есть!.. Есть! Слышите, вы!

— Да-да! — поспешил успокоить его пастор. — Вы есть. Вы живы. Но вы уже не шутник. Ваша жена имела в виду, что вы были шутником, а сейчас вам не до шуток…

— Простите, святой отец. Это нервы…

После книжного обозрения начался репортаж с аукциона. Любителям сувениров продавали с молотка вещи командира подводной лодки «Архелон». Рэйфлинт с удивлением узнавал в руках аукционера свою настольную зажигалку — подарок Ники, чайную ложечку с арабской вязью — память об александрийском отеле, в котором они провели свою первую ночь, подводное ружье, купленное у браконьера на венецианском рынке…

— Боже, — простонал Рэйфлинт, — мои любимые пляжные туфли! А что будет делать эта мадам с моей кисточкой для бритья?!

— Может быть, переключить программу?

— Сделайте одолжение.

Пастор щелкнул рукояткой.

Кадры светской хроники заставили Рэйфлинта побледнеть: «Бывшая жена командира «Архелона» Ника Рэйфлинт отправилась сегодня в свадебное путешествие с нефтяным королем из Абу-Даби».

Ника, одетая в платье на манер бурнуса, поднималась по трапу авиалайнера. Ее сопровождал довольно элегантный нувориш-аравиец.

Рэйфлинт с минуту сидел молча, потом нажал кнопку «стюард».

Ахтияр недобро глянул с порога.

— Ахти, я давно хотел освободить свой рундук. Там лежит кукла-манекен. Отправь-ка ее за борт.

Стюард фамильярно обхватил Нику-два за талию.

— Жалко выбрасывать такую красотку, сэр, — осклабился Ахтияр. — И потом, я не привык так обходиться с дамами. Дама есть дама, сэр, даже если она всего лишь кукла.

— Пожалуй, ты прав, старый фавн… Посади ее

в надувную лодку и пусти, как говорят поэты, на волю волн. Ты меня понял?

— Да, сэр.

— Ну, так что там еще новенького, святой отец? — с деланным равнодушием спросил Рэйфлинт, поворачиваясь в винтовом кресле к экрану.

Утром Рэйфлинт прошелся по отсекам. Более омерзительного зрелища он не видел за всю свою службу. Пустые консервные банки и бутылки перекатывались по коридорам и проходам в такт качке. Стаи рыжих «лакированных» тараканов расползались по переборкам и подволоку. Ржавчина покрывала механизмы. Реактор был остановлен. Работали лишь аварийные дизель-генераторы, питая осветительную сеть да камбузные плиты. Все остальные машины молчали. Двери кают были выломаны, плафоны разбиты. Из затхлой темноты доносились храп, ленивая ругань и чей-то плач. Никто при появлении командира не вставал. Всюду его встречали мрачные пустые глаза, взгляды исподлобья. Гладкие розовые головы были смешны и трогательны. Рэйфлинт вдруг ощутил прилив сострадания. «Мы все здесь невольные братья. Во всяком случае, мы ближе друг к другу, чем

кто-нибудь к нам из оставшихся на земле». Он привык относиться к подчиненным покровительственно, ибо понимал, насколько его власть на корабле выше, чем права любого из них. И даже теперь, когда власть эту он почти утратил и права их уравняла суперлепра XX, он испытывал нечто вроде угрызений совести оттого, что на его корабле страдали люди, безоглядно вверившие ему, коммодору Рэйфлинту, свои судьбы.

Рэйфлинт был приятно удивлен, когда на мостике бодро щелкнул динамик:

— Акустик, сэр!

— Слушаю, акустик.

— По пеленгу сорок пять — шум винтов. Предполагаю, транспорт. Пеленг не меняется. Цель движется на нас.

Рэйфлинт объявил боевую тревогу и не без опаски увел корабль под воду: «Архелон» слишком давно не погружался… Рэйфлинт приказал Роопу держаться на перископной глубине и поднял смотровой прибор. В мощных линзах качалась оранжевая точка спасательной лодки. Прямо на нее надвигался белоснежный лайнер типа «Трансатлантик». Рэйфлинт с любопытством ждал, что же произойдет.

На мачте лайнера взвился желто-красный

«Оскар» — «Человек за бортом». Кран-балки левого борта развернулись, и в воду довольно неловко плюхнулся катер. Рэйфлинт дождался, когда катер подошел к лодке. Жаль, не видны лица спасателей. Можно лишь представить себе их изумление — женский манекен посреди океана. То-то будет досужих домыслов, загудят портовые кабачки…

…Катер вернулся к борту. «Трансатлантик» дал малый ход. Он прошел в каких-нибудь трех кабельтовых от головки поднятого перископа, и Рэйфлинт отчетливо разглядел на променад-палубе танцующие пары. Ему даже показалось, что он слышит фокстротную музыку. Сверкнула выброшенная за борт жестянка из-под пива…

Много позже, пытаясь проследить, как вызрела в нем эта дьявольская идея, он составил себе довольно логичную схему, в которой звено к звену выстраивались и тюремный остров Юджин, и посмертная записка Коколайнена, и лестница, сброшенная с вертолета в воду, и свадебное путешествие Ники с нефтяным королем, и та мысль о братстве отверженных, что возникла при виде гологоловых архелонцев, и белоснежный лайнер с беспечным дансингом… Все это Рэйфлинт выстроил в единую цепь много позже. А тогда, в

полумраке боевой рубки у опущенного перископа ему показалось, что перед глазами полыхнул белый свет выхода из подводного склепа, и путь к новой жизни для его заживо похороненного экипажа открылся в мгновенном озарении. Еще не решаясь этому поверить, Рэйфлинт позвонил инженеру-механику и спросил, сколько лет еще может работать реактор без смены урановых стержней.

— Три года, — ответил механик.

— Прекрасно.

Рэйфлинт спустился в каюту и набросал на бланке текст радиограммы:

«Пожар в реакторном отсеке. Потерял ход и управление. Разгерметизировался первый контур. Растет уровень радиации. Прошу…» Фразу «Прошу срочной помощи» он оборвал намеренно. Так легче поверят, что «Архелона» уже не существует…

Рэйфлинт вызвал старшего помощника:

— Рооп, я хочу знать, как вы посмотрите на мой план…

Капитан «Иберии-трансатлантик» не поверил докладу вахтенного помощника.

— Кукла в шлюпке? Что за чертовщина? Несите ее сюда.

Нику-два не очень почтительно доставили в ходовую рубку.

— А что? — прищурился капитан. — Хороша! Похоже, я ее где-то видел…

— Жаль, что пассажиры уже выбрали «мисс Атлантику», — заметил помощник.

— Они еще не разошлись?

— Нет. Поздравляют победительницу в музыкальном салоне.

— Превосходно. И кто же она?

— Пассажирка из «люкса». Ничего. Смазливенькая.

— Отправьте эту куклу в музыкальный салон. И скажите, что я выдвигаю свою претендентку на титул «мисс Атлантика». Вернее, не я, а сам океан. Так и скажите, сам океан прислал ее на конкурс. Пусть посмеются.

Ника еще стояла на пьедестале почета, когда помощник капитана внес на руках огромную куклу в желтом сафари. Он бесцеремонно поставил ее рядом и радостно провозгласил:

— Конкурс продолжается! Эту леди нам прислал сам океан.

Ника заглянула в неживые глаза и сдавленно вскрикнула.

— Боже, как они похожи! — всплеснула руками

дама из первого ряда.

Элегантный аравиец едва успел подхватить оседающую Нику, Он отнес ее в каюту и вызвал врача.

Это событие ничуть не омрачило веселья в салоне. Напротив, вызвало волну шуток.

— Она была ошеломлена красотой соперницы и грохнулась в обморок.

— Безусловно, справедливость восторжествовала. «Мисс Атлантика» — она!

Нику-два под аплодисменты и рояльный туш водрузили на пьедестал.

«Иберия» наверстывала упущенное время. Возня с дурацкой шлюпкой задержала судно минут на сорок, и теперь капитан сдвинул ручки машинных телеграфов до отказа — на «самый полный». В таком положении они пробыли недолго.

— Прямо по курсу — спасательная шлюпка! В шлюпке шесть человек.

Рукоятки под ругань капитана запрыгали по секторам «полный ход», «средний ход», «малый ход», «самый малый», «стоп».

— Еще одно такое стопорение, — проворчал капитан, — и на телеграфе придется ставить дополнительный указатель: «Гроб-машина»...

Надеюсь, на сей раз не куклы?

— Они машут руками и жгут фальшфайер. Приготовить катер к спуску?

— Не надо. Слишком много возни. Подойдем с наветренной стороны и сбросим шторм-трап.

Помощник спустился вниз.

Спасенные кутались в черные плащ-накидки военного образца. Помощника поразило, что все они были лысы, безбровы, голощеки. В своих одинаковых просторных одеждах они походили на монахов, давших странный обет — уничтожить на теле любую растительность, будь то ресницы, усы или волосы.

Старший «монах» шагнул к помощнику:

— Срочно проведите меня к капитану. Вашему лайнеру угрожает смертельная опасность.

Помощнику не понравилось, что вся остальная пятерка двинулась за ними следом.

— Может быть, ваши люди нуждаются в отдыхе?

— Нет, — сухо отрезал старший.

— Тогда пусть они останутся вни… — помощник осекся: из-под плаща высунулось дуло автомата. Дверь в ходовую рубку была уже рядом, и помощник распахнул ее спиной. В рубке «монахи» выхватили из-под накидок автоматы, защелкали

откидными прикладами.

— Всем стоять на своих местах! Где радиостанция?!

Помощник после тычка стволом автомата в грудь покорно вышел в коридор в сопровождении двух пиратов. Вскоре оттуда донеслась короткая очередь, звон стекла, треск пластмассы…

— Передатчик расстрелян, сэр! — доложил один из конвоиров помощника. Тот, кого назвали «сэром», вышел на крыло мостика и выпустил зеленую ракету.

Капитан с ужасом увидел, как синева океанской глади взбурлила белыми пузырями и из воды показалось нечто черное, глазастое, округлое, похожее на тело спрута без щупалец. Вслед за рубкой всплыло и все тулово лодки.

— Я старший помощник командира этой подлодки. — Сухощавый налетчик забросил автомат за плечо. — Выполняйте мои указания. Торпедные аппараты нацелены на ваше судно.

Рооп приказал спустить спасательные шлюпки и, как только они переправили с «Архелона» на борт «Иберии» абордажную группу, велел капитану собрать команду в носовом трюме.

События развивались столь стремительно, что пассажиры по-прежнему веселились в рестора-

нах, барах, салонах. Разгоняя артисток варьете, на эстраду вышли лысые люди в голубых подводницких комбинезонах. Их автоматы смотрели в публику.

Три года они не видели женщин… Мужскую часть пассажиров загнали в кормовую баню и наглухо задраили двери. Дрожащих претенденток на титул «мисс Атлантика» свели в банкетный зал ресторана первого класса. Камбузные лифты едва успевали подавать закуски и вина, так что блюда, бутылки, салатницы, бонбоньерки, соусники приходилось ставить в проходы между столиками. Узники подводного лепрозория возмещали себе все, чего были лишены последние годы…

Экипаж «Архелона» перебывал на «Иберии» в два потока. Лишь Рэйфлинт и пастор провели время в своих каютах. Обе смены переправили с лайнера все, что только могло войти в шлюпки и пролезть в люк: ковры, ящики с винами, кадки с пальмами и даже автомат для мороженого. Рэйфлинт вызвал к себе старпома:

— Рооп, вам придется сделать еще один рейс. Я хочу, чтобы вывезли судовую библиотеку.

Шесть ящиков с книгами забили каюту Рэйфлинта до подволока.

…Подводная лодка отошла на дистанцию торпедного залпа и, развернувшись к «Иберии» носом, тихо вздрогнула. Стальная сигара неслась почти поверху. Проломив белый борт, торпеда всадила в топливную цистерну заряд прессованного тротила. Взрыв выбросил лайнер из воды по нижнюю марку и разломил пополам.

Убедившись, что на поверхности не осталось ни людей, ни обломков, «Архелон» погрузился туда, куда только что ушли останки «Иберии»… Так началась новая жизнь отверженной субмарины.

Через трое суток они вынуждены были всплыть для небольшого, но срочного ремонта.

Стояло раннее утро. И хотя район всплытия был далек от трасс рейсовых самолетов, Рэйфлинт торопил матросов, которые меняли прохудившуюся захлопку на газоотводе вспомогательных дизелей.

Пастор тоже вылез на мостик, с радостью наполнил ослабевшие глаза целебным солнечным светом и вдруг застыл в ужасе: «Архелон» покачивался в море… крови. Красные волны нехотя лизали черные бока подводного рейдера. Сотни рыб кишели в густой кровавой массе, выпрыгивали из нее, высовывались по грудные плавники, выпускали из жадно распахнутых пастей фон-

танчики воды и умирали.

— Похоже, что мы всплыли в аду, не правда ли?! — тронул пастора за плечо Рэйфлинт. — А вокруг трепещут души грешников.

Бар-Маттай ошеломленно молчал.

— Не принимайте близко к сердцу. Это всего лишь «красный прилив». Цветут жгутиковые водоросли. В океане такое случается… По местам стоять к погружению!

Багровые волны сомкнулись над «Архелоном».

Сообщения о гибели «Архелона» и таинственном исчезновении «Иберии» вышли в газетах почти одновременно. Если кто и связывал два этих факта, то только фразой: «Опять эти проклятые Бермуды!» Обе катастрофы произошли вблизи границ Бермудского треугольника.

— Не такой уж он проклятый, — заметил морской министр начальнику генерального штаба. — Теперь, по меньшей мере, приутихнет пресса и прекратятся эти запросы в парламент.

— Да, все решилось как нельзя лучше, — согласился адмирал. — «Архелон» сделал свое дело, «Архелон» может… Кхм!

— Три года боевого дежурства — это беспрецедентно. Честно говоря, я не думал, что они продержатся так долго…

— Господин министр, я полагаю, что коммодор Рэйфлинт достоин ордена «Рыцарь океана» первой степени. Посмертно.

— Несомненно.

Кураториум «Спасение Архелона» распался сам собой. Флэгги очень удачно вышла замуж за президента микробиологического общества профессора Сименса и помышляла о создании подобного же комитета «Память «Архелона».

А для «погибшей» субмарины наступила эра благоденствия. Каюты были убраны с дворцовой роскошью; отсеки ломились от изобилия фруктов, вин, изысканных закусок. В офицерской кают-компании играл всемирно известный скрипач, захваченный на одном из трансатлантических теплоходов.

Бар-Маттай настоял, чтобы пленник жил у него, и таким образом в его затворничество вошла музыка. Это было тем прекраснее, что философские беседы у Рэйфлинта совершенно прекратились, и пастор отводил душу со скрипачом.

Командир по-прежнему не появлялся на захваченных судах. То немногое, что составляло его долю добычи, были, в основном, книги. Он читал ночи напролет, препоручив все корабельные дела старшему помощнику.

Рооп был доволен. Команда заметно подтянулась. И хотя в кормовых отсеках его еще посылали иногда к черту, но вахты неслись исправно, особенно перед атакой очередной жертвы. Единственный, кто по-настоящему отравлял старпому жизнь, так это Ахтияр. На захваченных теплоходах стюард шарил по судовым аптекам, добывал морфий и другие наркотики. Его каюта превратилась в подпольный «приют радости». Человек шесть наркоманов ходили за ним по пятам и были готовы выполнить любое желание стюарда. В отсеках поговаривали о нем, как о втором командире «Архелона». Рооп хмурился и с некоторых пор стал носить пистолет в потайном кармане.

Каждое утро О'Грэгори с замиранием сердца разглядывал свое тело. И каждое утро тихо ликовал: судьба хранила избранника — ни одного бронзового пятнышка, ни одного седого волоска. Идея этнического оружия не оставляла его, и О'Грэгори нашел, что нет худа без добра. По крайней мере, здесь, на «Архелоне», он мог беспрепятственно ставить опыты над людьми. В боксах медицинского изолятора вот уже третий месяц жили японец, чех, араб и негр. О'Грэгори выяснял, генотип какой расы успешнее противостоял «бронзовке». Он вел дневник наблюдений

и верил, что рано или поздно лавры «отца этнического оружия» с лихвой возместят ему и флоту ущерб, причиненный разглашением сведений серии Z. Он верил в это столь же страстно, как Бар-Маттай в то, что его «Неоапокалипсис» прочтут миллионы людей, прочтут, содрогнутся, прозреют и уничтожат все подводные лодки мира, а заодно танки, пушки, бомбардировщики…

В кают-компании места доктора и пастора находились рядом, так что порой, сидя локоть к локтю, они нечаянно задумывались о вещах более чем полярных, спохватывались, невидяще скользили друг по другу глазами и продолжали трапезу.

Дорожку в медицинский блок Ахтияр протоптал еще при докторе Коколайнене. И с новым корабельным врачом он тоже нашел общий язык.

Произошло это так. О'Грэгори заглянул как-то в радиорубку и увидел под стеклом бывшего столика Барни фотографию Флэгги. Роковая женщина смеялась так невинно и обаятельно, что О'Грэгори, забыв о всех принесенных ею бедах, извлек фото и прикрепил у себя в каюте. Ахтияр, наведываясь к доктору поболтать о жизни, а заодно и подлечить застарелый радикулит, заприметил

красотку на стене и смекнул, что к чему.

— Могу устроить свидание! — подмигнул он О'Грэгори.

— Каким образом?! — изумился подполковник медицины.

— Возьмите фотографию и приходите ко мне в каюту вечером.

О'Грэгори помрачнел; неужели суперлепра вызывает еще и умственное расстройство? Однако вечером все же заглянул к стюарду. Ахтияр усадил его в ковровое кресло, раздул кальян, бросил в медный раструб щепоть зелья и велел вглядываться в лицо Флэгги, потягивая из мундштука дым. О'Грэгори все понял, но соблазн увидеть «жрицу любви», хотя бы в галлюцинации, был столь велик, что доктор последовал совету. «В конце концов, — подбадривал он себя, — гашиш не героин, с одного сеанса не втянешься».

Он действительно увидел Флэгги такой, какой хотел увидеть… Придя в себя, он расчувствовался и подарил Ахтияру три маленьких шприца с набором шведских игл. Так они сошлись…

Однажды стюард полушутя-полусерьезно заметил, что если бы Рэйфлинт был чуть поумнее, он бы давно смог устроить экипажу райскую жизнь на каком-нибудь тропическом острове. Кто бы

их стал искать, если бы эту проклятую консервную банку «Архелон» притопить в какой-нибудь котловине?..

— Да, — подлил масла в огонь О'Грэгори, — это лучше, чем гнить тут заживо. И потом солнце, свежий воздух, фрукты, море… Уверен, наши дела пошли бы на поправку.

— Если бы не Рэйфлинт…

Оба замолчали, поглядывая друг на друга так, будто встретились впервые. Наконец О'Грэгори решился:

— Все диктаторы кончали одинаково…

— Но есть еще Рооп, — понял намек Ахтияр. — И вся эта офицерская сволочь… не в обиду вам, док! Оружие выдается лишь в группу захвата… А в ней одни офицеры.

— Есть хороший способ… — замялся О'Грэгори, — но он требует надежных людей.

— На верное дело люди найдутся.

— Надо, чтобы в каждом отсеке было хотя бы по человеку.

— Можно…

— Я изучил систему судовой вентиляции. Она легко перекрывается по отсекам…

— Это известно любому новичку.

О'Грэгори пропустил колкость мимо ушей.

— Если бы у запорных клинкетов стояли нужные люди… Литр эфира в вентиляционную магистраль, и через три минуты все спят. И командир, и Рооп, и все, кто может помешать…

— И мы с вами тоже…

— Мы с вами наденем кислородные маски.

Сами того не замечая, они перешли к обсуждению деталей будущей — будущей! Теперь в этом никто из них не сомневался — операции.

— Значит, наши люди будут держать маски наготове… — уточнил мысль доктора Ахтияр; он пробовал ее на зуб, как монету.

— Да! И в первую голову машинист на станции всплытия. Как только эфир подействует, мы всплывем. Отберем чистых и нечистых. Рэйфлинт, Рооп и все, кто сможет помешать, умрут не просыпаясь. Это будет тихо и… гуманно.

— А кто поведет корабль? Вы?! — испытывал идею Ахтияр.

— Мы оставим двух офицеров: штурмана и инженера-механика…

— Трех, — хохотнул стюард. — Вас тоже. Жаль, национальный банк мы брали без вас, док! Вы бы очень нам пригодились тогда. Клянусь костылями всех калек!

О'Грэгори было не до шуток. Он изложил, и

почти под настроение, просто так, сокровенный план, продуманный до мелочей в глухие ночи подводных засад. И кому! Этой уголовной горилле, у которой череп начинается от бровей… Ахтияр уловил перемену в собеседнике, досадливую гримасу.

— Тайна двух долго не живет, — насупил он валики бывших бровей. — А если вмешался третий, и подавно…

— Кто третий?

— Аварийный Джек. Машинист станции всплытия. Аварийным его прозвали за цвет волос — рыжий. Теперь он лыс, как яйцо. Хе-хе!

— У вас хорошее настроение, Ахти, — кисло заметил О'Грэгори.

— Да, черт побери! Когда надо действовать, мне становится весело. А действовать надо быстро. Сегодня же ночью.

— К чему такая спешка?

— Я вам не верю, док. Вы из кают-компании…

О'Грэгори усмехнулся.

— Иногда за молчание можно получить больше, чем за донос…

Торопливые трели ревуна заставили вскочить обоих.

— Что это? — побледнел доктор.

— Нас засекли. Сработала сигнализация, как в банке. Хе-хе… Успокойтесь, док! Это ракетная тревога.

Рэйфлинт нажал клавишу «Слушают все отсеки».

— Вниманию экипажа! Срок пребывания ракет на борту истек год назад. Хранить их в шахтах небезопасно. Я принял решение выпустить весь комплект по пустынному району океана. По местам стоять — к пуску ракет!

Он снял телефонную трубку и вызвал центральный пост:

— Рооп, пригласите ко мне в каюту пастора.

Бар-Маттай пришел весьма встревоженный и гудками ревунов, и этим неожиданным приглашением. Он с удивлением оглядел каюту, заваленную книгами…

— Освободите себе кресло и садитесь. — Рэйфлинт нервно поигрывал шнуром пусковой рукояти, рукоять была красной. — Святой отец, я пригласил вас для того, чтобы исповедаться. Не в грехах — в мыслях. Исповедаться в том строе рассуждений, который покажется вам не то что греховным — чудовищным. Но я убежден в его справедливости и совершу то, что должен… Готовы ли вы меня выслушать?

— Да. — Бар-Маттай сплел на коленях пальцы.

— Я прочитал все эти книги. Я припомнил все, что когда-либо читал еще. Я вспомнил все, чему меня учили, все, все, что я когда-либо видел и слышал. И я пришел к очевидному выводу. Мы прекрасно приспособились к внешней среде, к нашей планете. Лучше, чем какие-либо другие существа подлунного мира. Но мы не смогли устроиться социально. Люди не смогли приспособиться друг к другу. После двух мировых боен, на пороге третьей, человечество похоже на самоубийцу, которому дважды не удалось размозжить себе голову и он наконец забрался этажом выше. Что толку от совершенства нашего биологического аппарата, если вот это, — Рэйфлинт постучал себя по виску, — не хочет рубить сук, на котором висит наша общая петля. Человечество — тупиковая ветвь эволюции. И если ваш господь бог существует, он убедился в этом уже тысячу раз. Да и что может быть абсурднее, чем поножовщина сиамских близнецов?! Мы пришли именно к этому! Так не разумнее ли помочь эволюции начать все сначала? Десять тысяч лет нашей истории для творца Вселенной — десятиминутный эксперимент. Одним опытом больше, одним меньше — пусть считают

их археологи, — но рано или поздно на Земле возникнут такие существа, которым достанет разума не уничтожать друг друга. Я хочу, чтобы это произошло как можно раньше. Десять ракет по Евразии, десять по Американским континентам, и запылает всеочистительный костер. Так выжигают жухлую траву для новой поросли. Я не параноик и не шизофреник, но я чувствую, что это мой долг — перед богом ли, перед эволюцией… Я, Кароль Рэйфлинт, вызван к жизни за тем, чтобы спасти планету от плесени, именуемой человечеством!

Бледный коммодор откинулся на спинку «трона Нептуна», не выпуская красной рукояти. Бар-Маттай, потупившись, молча следил за играми рыб в аквариуме.

— Самое страшное, — проронил он наконец, — это зло, возомнившее себя добром…

Рэйфлинт качнулся в кресле.

— Я пригласил вас не за тем, чтобы пускаться в дискуссии. Для этого у нас с вами было предостаточно времени… Я хочу, чтобы похороны человечества состоялись, как положено, при священнике и… — Коммодор снял трубку: — Рооп, пришлите ко мне музыканта. С инструментом.

Эти минуты, пока скрипач перебирался из чет-

вертого отсека во второй, они провели, как бы оцепенев, и Бар-Маттай дорого бы дал, если бы в оцепенении этом они оба окаменели, но раздался стук в дверь каюты. Рэйфлинт перехватил красную рукоять поудобнее:

— Войдите.

Длинноволосый музыкант переступил комингс, склонив голову. Он встряхнул волосами, и это означало, что приветствие окончено.

— Играйте реквием! — нетерпеливо кивнул ему Рэйфлинт.

Скрипач обвел глазами пульт, на котором горели двадцать транспарантов-окошечек с зеленым словом «Готово», и поднял смычок.

Он не успел опустить его на струны — Бар-Маттай рывком дотянулся до тумблера, каким Рэйфлинт включал обычно гидрофоны, и повернул рычажок. Шумный вздох океана ворвался в каюту. И снова забубнили, забулькали на все лады невнятные голоса потусторонней жизни — жизни, простиравшейся по ту сторону поверхности океана, жизни, древней, как белок, жизни, выплеснувшейся на континенты и в космос и уже потому только неуничтожимой и вечной… Океан молил о пощаде. Его гигантское жидкое тело всколыхнулось и сжалось, еще тес-

нее обхватило земное ложе. Он, миллионы лет являвшийся лишь мантией разума, вдруг собрался в одну болевую точку, и точка эта вспыхнула в недрах полушарий мозга Рэйфлинта.

Кричал дельфин. То ли шестилопастный винт субмарины полоснул ему по спине, то ли одинокого зверя настиг резак пилы-рыбы, то ли он кричал, повинуясь инстинкту-интуиции, как воют собаки, предвещая покойника. Но Тэдди кричал по-человечьи надрывно и осмысленно. Единственное преданное «Архелону» живое существо взывало о помощи. А может быть, оплакивало тех, кто сам в ней нуждался.

Рэйфлинт выключил гидрофоны. Рэйфлинт выключил ракетный пульт и боевую трансляцию. Рэйфлинт уронил голову на руки, и пальцы взгорбились на лысом черепе. Брошенная стартовая рукоять качалась на шнуре, как маятник. Маятник вечных часов человечества.

Сколько они так просидели, Бар-Маттай не помнил. Сквозь полусон слышал, как щелкнула дверь — это удалился скрипач.

Пастор думал о том, что когда-то гуси своим криком спасли Рим, теперь же на его глазах дельфины спасли мир. Он думал об этих странных и прекрасных животных, когда ноздри его уловили

резкий аптечный запах. Приятно кружилась голова, а в ушах тихо звенело. Рэйфлинт пришел в себя и недоуменно принюхался тонким хищным носом.

— Что за дела? Эфир?! Похоже, доктор перебил свои склянки... Вахтенный офицер! — крикнул он в микрофон. Ответа не последовало.

Коммодор выбрался из-за стола и пошатываясь направился в спальню. В висках ломило, перед глазами плясали сине-красно-зеленые змейки. Стараясь не дышать, Рэйфлинт отыскал в шкафу портативный дыхательный аппарат и промыл легкие кислородом.

Бар-Маттай, уронив голову на плечо, сползал с кресла. Рэйфлинт бросился к нему, прижал маску к губам пастора и дождался, почти теряя сознание от спертого в груди воздуха, пока Бар-Маттай приоткроет глаза. Используя старый аквалангистский прием — попеременно дышать из одного загубника, — коммодор вывел пастора в центральный пост, где под креслом спящего штурмана Рэйфлинт отыскал второй дыхательный прибор и передал его Бар-Маттаю.

Вокруг спали все. Вахтенный офицер свисал с консоли торпедной ЭВМ, инженер-механик лежал поперек коридорчика, подтянув ноги к гру-

ди. Штурманский электрик привалился спиной к прокладочному столу. Но хуже всего было то, что в «пилотском» кресле спал боцман, уткнувшись головой в штурвал, так что и кормовые и рубочные горизонтальные рули смотрели «на погружение». Дифферент на нос нарастал быстро. Рогатая стрелка 400-метрового глубиномера приближалась к сектору, заклеенному черной бумагой. Сектор приходился на запредельные глубины, и цифры здесь уже были не нужны… Рэйфлинт перехватил штурвал и выровнял корабль.

— Пройдите по отсекам! — крикнул он пастору, вынув на минуту загубник. — Посмотрите, что случилось.

Бар-Маттай кивнул головой и пошатываясь двинулся к круглой межпереборочной двери. Он не успел взяться за рычаг кремальеры, как тот сам резко взлетел, литой кругляк распахнулся, и, пребольно толкнув пастора, в отсек перемахнул Рооп. Старпом выстрелил в приоткрытую дверь, тут же ее захлопнул, опустил рычаг и навалился на него грудью. Сухо и зло щелкнула в сталь переборки ответная пуля, за ней другая, третья… стреляли скорее в бессильной ярости, чем по здравому расчету. Про: бить двухдюймовую

пластину можно было разве что из противотанкового ружья.

— Рооп! — крикнул Рэйфлинт из глубины центрального поста. — Что стряслось?!

Старший помощник дышал тяжело — видно, кислород в его аппарате кончался.

— Командир… Это Ахтияр… Я видел… Эта каналья вливала какую-то дрянь… В лючок вентиляции… С ним еще двое… Они в масках…

Рычаг кремальеры задергался, и Бар-Маттай поспешил помочь Роопу. Тяжести их тел явно не хватало, чтобы преодолеть нажим с той стороны. Рооп уперся ногами в верхний свод лаза…

Первой мыслью Рэйфлинта было немедленно всплыть и провентилировать отсеки. Но едва он услышал выстрелы, как перед глазами встал призрак сиамских близнецов, всаживающих друг в друга ножи… Рэйфлинт резко отодвинул, штурвал, и стрелка глубиномера пошла к черному сектору…

В распахнутую дверь второго отсека он видел, как перекосился коридор среднего прохода. Он слышал, как захлопали выдвижные двери кают, как загремела в кают-компании посуда, летящая с полок, как замычал в дурном сне боцман, съехавший лбом в переборку… Дифферент становился

все круче и круче, по глухим ударам, сотрясавшим корпус, он чувствовал, как срываются с фундаментов дизеля, турбины, аккумуляторные баки…

Мимо пролетели тела Роопа и пастора, сорвавшиеся с переборки, которая почти стала подволоком. Субмарина клонилась на нос, превращаясь с каждым градусом дифферента в подобие башни. И семь отсеков громоздились один над другим — этажами, а этажи расходились кругами ада…

Рэйфлинт успел поразиться — каким чужим и зловещим вдруг стал такой знакомый, привычный коридор, уходящий теперь в бездну…

Тэдди пошел за громадной черной «рыбиной» вниз — на глубину. Голубая вода быстро синела, темнела, пока за хвостом не сомкнулась плотная мгла.

Тэдди давно уже пересек границу вечной ночи. Он испустил тонкий, слышимый только ему самому свист, и к нему вернулось замирающее эхо. И все последующие звуки приходили все слабее и слабее — «рыбина» погружалась опрометчиво быстро. Тэдди подал сигнал опасности: «Пора выходить! Не хватит воздуха!» Но эхо к нему не вернулось и вовсе. Тогда он рванулся вверх и, бешено работая хвостом и плавниками, вбура-

вился в огромную толщу. Ни один дельфин еще не нырял так глубоко, и Тэдди показалось, что он никогда не выплывет на поверхность. Снизу его догоняли большие черные пузыри, вогнутые, как шляпки медуз… Тэдди почувствовал, как потеплела вода, и он наддал хвостом изо всех сил. Вот уже показалась, засверкала, заколыхалась над головой солнечная изнанка волн. Он вылетел из воды с распахнутым дыхалом, и весь прыжок едва уложился в глубокий и сладкий вдох.

Солнце алым дельфином выгибало над горизонтом спину, и Тэдди помчался к нему, пронзая гребни невысоких волн.

П. Ерофеев
РЕКИ В ОКЕАНЕ
(Очерк)

Мировой океан — это единая по своей природе система, которая занимает более двух третей поверхности нашей планеты. Происходящее в Мировом океане движение вод связывает между собой самые его отдаленные уголки.

С незапамятных времен люди знали о существовании течений. Но, не умея объяснить природу таких явлений, чаще всего относили их на счет сверхъестественных сил. В трудах античных философов есть сведения о течениях в проливах Босфор, Дарданеллы, Гибралтар и Керченском. Было также известно о водоворотах в Мессинском проливе, породивших миф о Сцилле и Харибде — страшных чудовищах, охраняющих этот пролив и проглатывающих каждого, кто осмеливался через него проплыть.

Время развеяло легенды. Мореплаватели узнали, что водовороты в Мессинском проливе вызваны встречными приливно-отливными течениями. И эти водовороты безопасны для су-

доходства. Сведениями о течениях, по-видимому, располагали викинги, совершавшие в начале нашего тысячелетия плавания в Исландию, Гренландию и Северную Америку, о чем свидетельствуют употребляемые ими географические названия — остров Течений, залив Течений и т. д. Арабы имели достаточно четкие представления о муссонных течениях в Индийском океане и потоках вдоль восточных берегов Африки.

Вышедшие на просторы Атлантического океана европейцы довольно быстро выявили в нем основные направления движения вод. Это началось с открытия Христофором Колумбом во время его первого плавания в Америку Северного пассатного течения.

В 1513 году отправилась в поисках «Счастливых островов» флотилия под командованием Понсе де Леона, участника второго плавания в Новый Свет Христофора Колумба. Тогда еще верили в легенду, о том, что есть острова, где бьет «источник вечной молодости» и где жизнь подобна библейскому раю. Паруса каравелл наполнял попутный ветер, но… мореходы с удивлением заметили, что суда двигаются гораздо медленнее, чем можно было ожидать. В конце концов парусники стали даже удаляться от цели, хотя их снасти

трещали под напором благоприятного ветра. Главный кормчий флотилии Антон Аламинос определил, что здесь действует сильное неведомое течение. Так совершилось знаменательное в истории мореплавания событие — открытие европейцами Гольфстрима — огромного потока в океане, который, согласно образным сравнениям мореплавателей, не пересыхает даже во время сильной засухи и не выходит из берегов при самом большом половодье.

Долго держали в секрете испанцы сведения об этом течении, поскольку оно находилось на пути к их заморским владениям. Но мореплаватели других стран тоже упорно проникали в неизведанные просторы океана и его тайны. Уже во второй половине XVIII века американские торговые моряки успешно использовали Гольфстрим в навигационных целях. Из Америки в Англию они шли в его струе, а на обратном пути обходили Гольфстрим стороной. В результате — американские суда совершали рейсы на две недели быстрей почтовых пакетботов, плававших под командованием английских капитанов, которые не знали об этом течении.

Директор почт Соединенных Штатов Америки В. Франклин обратил внимание на разницу в дли-

тельности плавания американских и английских судов. По его настоянию моряки стали собирать сведения о течении, что позволило В. Франклину в 1770 году составить первую научно обоснованную карту-схему Гольфстрима. На ней течение было изображено в виде широкой реки, несущей воды вдоль восточного побережья Северной Америки, в сторону Европы.

Сначала полагали, что открытое испанцами течение зарождается в Мексиканском заливе. Отсюда и произошло название «Гольфстрим», означающее в переводе на русский — «течение из залива». Однако позднее установили, что истоки течения лежат несколько южнее и восточнее, чем предполагалось ранее. Заканчивается же Гольфстрим в Северном Ледовитом океане. Он несет необычайно большое количество воды, в десятки раз превышающее вынос всех рек нашей планеты.

Гольфстрим нередко называют главной артерией Атлантического океана. В этом есть нечто символичное, ибо формирующие его воды поступают в поток толчками, в результате — течение пульсирует, словно кровь, движимая сердцем по артерии.

Те, кому привелось видеть Гольфстрим, заме-

чали, что он течет подобно голубой реке среди зеленых вод Атлантического океана.

> «Нет синего цвета, равного цвету Гольфстрима, — пишет один из океанографов. — Ничто не может с ним сравниться. Здесь представлены все оттенки — от сочного, яркого синего цвета, переходящего в черный, до блестящей, неописуемой, ослепляющей лазури. В его необъятных волнах видны все нюансы величественнейшей синевы».

Гольфстрим и подобные ему поверхностные течения обычно порождаются устойчивыми ветрами постоянных направлений. Роль их в движении поверхностных вод достаточно четко прослеживается в районах умеренного пояса и пассатов тропических широт. Например, северо-восточный и юго-восточный пассаты в обоих полушариях Земли вызывают направленные на запад пассатные течения, причем скорость таких течений в десятки раз меньше скорости порождающих их ветров.

Длительные, устойчивые ветры приводят к сгону и нагону воды у берегов. Многим, вероятно, приходилось наблюдать на море такую карти-

ну: жара, прибрежная полоса усеяна людьми, загорающими под лучами палящего солнца, а море пустынно — ни одного купающегося. Но вот появляется вновь прибывший курортник. С недоумением смотрит он на лежащих на пляже людей, раздевается и с разбегу бросается в море. Мгновение, и новичок под общий смех стремглав выскакивает из воды. Они-то на собственном опыте уже знают, что температура воды едва-едва выше нуля. Это дувший долгое время с берега ветер согнал в море поверхностный теплый слой, на место которого поднялась из глубин холодная вода.

Сгонно-нагонные явления возникают также в результате смещения водных масс под влиянием вращения Земли. По этой причине с одной стороны течений происходит накопление воды, а с другой — отток. Иными словами, возникают динамические нагон и сгон, что соответственно сопровождается подъемом из глубин холодной воды.

Движение вод Мирового океана не ограничивается только деятельностью поверхностных течений и сопровождающих их явлений. Огромную роль в круговороте воды в океане играют глубинные потоки, участвующие вместе с по-

верхностными течениями в общей циркуляции гидросферы нашей планеты.

Глубинные течения возникают, в основном, вследствие существующих различий в плотности воды, которая зависит от ее температуры и солености. В подтверждение этому был поставлен интересный опыт. Взяли специальный прозрачный резервуар и разделили его на две части водонепроницаемой легко снимаемой перегородкой. В одну половину налили менее, а в другую — более плотную воду. Затем осторожно удалили перегородку, и плотная вода потекла вдоль дна, вытесняя наверх легкую. Такое движение продолжалось до тех пор, пока первая полностью не заняла нижние, а вторая верхние слои резервуара.

Если в одной половине емкости увеличивать плотность воды, например путем охлаждения, в другой же уменьшать за счет подогрева, то возникает постоянная плотностная циркуляция воды, что, собственно, и происходит в глубинах Мирового океана, поскольку охлаждаемые в полярных широтах воды стремятся занять придонное пространство.

Холодные арктические и антарктические воды погружаются на сотни и более метров, постепен-

но внедряясь в обширнейшие акватории Мирового океана. Само погружение осуществляется до того момента, пока плотность поступающих вод не сравняется с плотностью окружающих, дальше же идет только горизонтальное движение — глубинное течение. С теплыми водами при их охлаждении происходит то же самое. Взять, к примеру, Гольфстрим. Его воды, миновав Шпицберген, встречаются с холодными, но менее солеными водами Арктики. Поэтому первые сначала перемещаются в этом районе в поверхностных слоях, но со временем они начинают остывать и опускаться в нижние горизонты. Интересно, что принесенные Гольфстримом воды проникают в Восточно-Сибирское море, их даже обнаружили с дрейфующих станций «Северный полюс» в центре Арктического бассейна.

На пути в Северный Ледовитый океан Гольфстрим встречается с широко известным, Лабрадорским течением, которое зарождается в Баффиновом море. Это течение несет на юг холодную, нагруженную айсбергами воду полярных морей Гренландии. Плотная холодная вода Лабрадорского течения ныряет под теплые воды Атлантики.

С Лабрадорским течением связана крупней-

шая в мире пароходная катастрофа. В 1912 году в районе его действия столкнулся с айсбергом и затонул «Титаник». Незадолго до рокового столкновения капитана судна неоднократно информировали о том, что температура окружающей воды за короткое время упала на несколько градусов. Это был признак Лабрадорских струй и сопутствующих им айсбергов. Требовалось проявить осторожность, но капитан не внял предостережениям.

Трагедия «Титаника», по-видимому, впервые заставила весь мир задуматься над опасностью, которую несут влекомые течениями айсберги. И в 1913 году был учрежден Международный ледовый патруль, сообщающий по радио о размерах, координатах и путях дрейфа айсбергов у Ньюфаундленда — района интенсивного судоходства, который ежегодно пересекают в среднем около четырехсот плавающих ледяных громадин. Причем большинство в летние месяцы. Место их рождения у берегов Гренландии. Ледяной покров, словно гигантский спрут, опутал эту страну, опустив свои холодные щупальца-ледники в море. В зависимости от похолодания или потепления он то втягивает, то выпускает их, сокращая или увеличивая рождаемость айсбергов. Гренландский

ледник Якобсхавн, движущийся даже зимой, периодами, как говорят, «телится» более чем тысячей айсбергов в год.

Незабываема картина освещенных низкими лучами полярного солнца ледников и отделившихся от них айсбергов, не успевших еще уйти в свой долгий путь по морям и океанам, куда их увлекают течения и ветры. Айсберги обычно дрейфуют к экватору. Они встречаются на больших площадях Мирового океана — примерно на девятнадцати процентах его акватории. Причем девять десятых из них приходится на Южное полушарие.

Много могут рассказать о течениях и ветрах пути дрейфа айсбергов, которые сейчас хорошо прослеживают с помощью космической фотосъемки.

Перемещаясь, айсберги постепенно разрушаются, опресняя и охлаждая воду. Средняя продолжительность жизни этих образований составляет около четырех лет, некоторые же живут десять лет и более. Причем антарктические существуют дольше арктических. В холодных водах надводная часть ледяных гор тает быстрее подводной, а в теплых — наоборот. В последнем случае они часто опрокидываются.

Айсберги в своих основаниях несут породы, захваченные ледниками при движении по склонам и долинам и, тая, теряют их, оставляя на дне следы своего дрейфа. Мне приходилось собирать образцы такого материала в арктических морях с перевернувшихся и застрявших на мели ледяных массивов, называемых за неподвижность стамухами.

Встречи холодных и теплых вод порождают интереснейшее явление — гидрологический фронт, который смело можно сравнить с атмосферным фронтом, возникающим при соприкосновении двух резко отличных воздушных масс. Во фронтальных зонах океана, как и в атмосферных, происходят бурные процессы взаимодействия столкнувшихся вод. Образование тех и других фронтов присуще, в основном, умеренным широтам, то есть эти широты являются главной областью стыка и дальнейшего смешения как водных, так и воздушных масс.

Еще более интересные явления имеют место в тропической зоне Мирового океана. Обратимся для примера к Тихому океану. Там близ экватора с востока на запад устремлен огромный пассатный поток. Он разделен на два почти параллельных экваториальных течения: южное и северное. В

результате перемещения этим потоком больших количеств воды уровень океана у западных его окраин почти на полметра выше, чем у восточных. Разница уровней поверхности океана порождает, в свою очередь, отток воды — противотечение, которое проходит между южным и северным руслами пассатного потока в сторону восхода солнца.

На экваторе под влиянием разнонаправленных течений поднимаются к поверхности глубинные воды, богатые питательными солями, создающими хорошо удобренную, плодороднейшую океанскую «почву» — основу бурного развития жизни. Вода там настолько насыщена планктоном, что ее нередко сравнивают с зеленым супом.

Этот, казалось бы, достаточно изученный район Тихого океана преподнес ученым сюрприз, оказавший большое влияние на развитие океанологии. В начале шестидесятых годов нашего века под южным экваториальным течением на глубинах сто — двести пятьдесят метров обнаружили мощную подводную реку шириной примерно в шестьдесят миль. Она несет с запада на восток океанские воды со скоростью трех миль в час. Этот могучий глубинный поток, следую-

щий в одном направлении с обозначенным на всех картах поверхностным противотечением, оказался совершенно от него обособленным. По предварительной оценке он переносит примерно тридцать миллионов кубометров воды в секунду, что составляет около одной трети расхода Гольфстрима на широте Нью-Йорка.

Обнаруженная в толще вод река без берегов была названа течением Кромвелла в честь нашедшего ее американского океанолога. Открытие глубинного течения явилось для ученых неожиданностью, поскольку ни одна распространенная до того теория циркуляции океанских вод не содержала даже намека на возможность его существования.

В конце шестидесятых годов открыли в экваториальной Атлантике еще один глубинный поток — течение Ломоносова, а несколько позднее в Индийском океане — течение Тареева. Здесь пальма первооткрытия принадлежит советским океанологам.

Внимание океанологов привлекает еще одно необычное явление природы — так называемые океанические вихри. Зарождение некоторых из них можно проследить на примере Гольфстрима, русло которого похоже на извилистую реку, вью-

щуюся среди долин и холмов. По краям потока возникают огромные водовороты. Со временем они отделяются от течения и существуют самостоятельно, перемещаясь по океану. Это и есть вихри, называемые еще рингами. Диаметр таких образований достигает десятков и даже сотен километров, причем их нижняя часть лежит на значительных глубинах.

Вихревые явления наблюдаются не только в Атлантике. Они отмечаются также в Индийском и Тихом океанах. Подобно атмосферным формированиям в океанах возникают циклонические и антициклонические водовороты. В центре первых и на периферии вторых происходит подъем глубинных вод, и, наоборот, на периферии первых и в центре вторых — погружение поверхностных. Эти вертикальные движения способствуют водообмену между разными слоями океанских вод, что создает благоприятные условия для развития жизни.

Ряд океанических вихрей существует длительное время. Есть даже утверждение, что такие образования иногда не распадаются в течение нескольких лет. Поэтому они могут быть временными оазисами бурной жизни в пустыни открытого океана, в которых способны смениться

и прожить несколько поколений его обитателей.

Недавние космические наблюдения за происходящими в Мировом океане процессами показали, что они не только связаны с атмосферными явлениями намного теснее, чем предполагалось ранее, но и как бы повторяют их. Было замечено, что над океаническими вихрями находились аналогичные им по строению спиральные облачные формирования, а над гидрологическими фронтами стояли атмосферные.

Районы подъема холодных глубинных вод, богатых солями азота и фосфора — этими удобрениями океанской нивы, — являются наиболее продуктивными в биологическом отношении. Но стоит задуматься над тем, что в них происходит. Из глубин на поверхность поступает «молодая» плодородная вода. Благодаря хорошей солнечной освещенности и высокой концентрации кислорода в ней начинает бурно, особенно в тропиках, цвести растительный планктон, активно потребляя питательные соли, в результате чего их количество убывает и вода из «молодой» превращается в «зрелую». Затем в ней размножается зоопланктон, который постепенно выедает растительный. Когда вода потеряет большую часть питательных солей и в ней будет съеден

зоопланктоном почти весь растительный планктон, она становится «старой». К этому времени такая вода относится течением на значительное расстояние от места ее поступления на поверхность. Поэтому в районах подъема глубинных вод существует определенная последовательность их распределения. Над местом подъема находится «молодая» вода, по периферии или по течению — «зрелая», зеленая от обилия растительного планктона, еще дальше — «старая», прогретая, содержащая преимущественно зоопланктон, поедаемый рыбами. В результате — бывший питательный концентрат становится непродуктивной теплой и прозрачной водой.

С подъемом глубинных вод связано одно весьма своеобразное явление природы, свидетелем которого мне однажды привелось быть в тропической зоне Восточной Атлантики. Помню, где-то за горизонтом находились раскаленные солнцем берега Африки. Царил штиль. Гладкая поверхность воды казалась маслянистой. Над океаном, рассеивая солнечные лучи, нависла слабая дымка. Наше исследовательское судно, сияя белыми бортами, рассекало могучую грудь океана. Вдруг от воды потянуло резким неприятным запахом. Это заставило оглядеться. Вода за

бортом оказалась красного цвета, и на ее поверхности колыхались потревоженные движением судна мертвые рыбы.

В ряде районов Мирового океана вода иногда внезапно приобретает красный цвет. Причина этого — бурное развитие различных видов растительных и, реже, планктонных микроорганизмов, концентрация которых в литре воды достигает миллионов штук. Причем некоторые из них содержат ядовитые вещества. Это явление называют «красным приливом». Он длится от нескольких дней до двух и более месяцев и исчезает так же внезапно, как и появляется.

«Красному приливу» больше всего подвержены тропические и субтропические широты. Есть районы, где он повторяется довольно часто. «Красный прилив» простирается на сотни, а иногда и тысячи квадратных километров поверхности океана. Нередко это явление становится причиной массовой гибели рыбы, принося большой урон рыболовству. Неудивительно, что в районах с часто повторяющимся «красным приливом», морские геологи находят в донных отложениях большое количество захороненных рыбьих костей.

Известны случаи тяжелого отравления людей,

иногда со смертельным исходом, употреблявших в пищу рыбу, пойманную в «красном приливе». Токсическое действие на человека могут также оказывать попадающие в воздух мельчайшие капельки воды и газ. Он обычно возникает в процессе разложения и гниения находящихся в воде организмов. У людей при этом воспаляются дыхательные пути, глаза, кожа. Интересно, что даже процеженная через тончайший фильтр вода из «красного прилива» сохраняет способность вызывать у человека различные раздражения.

«Красный прилив» и связанные с ним опасности были известны уже в древности. Есть, например, сведения, что коренным жителям Америки старинный обычай запрещал прикасаться к погибшей в нем рыбе и использовать в пищу моллюсков во время обильного появления в океане мельчайших водорослей.

Одним из условий возникновения «красного прилива» является подъем к поверхности океана холодных глубинных вод, обогащенных питательными солями для растительного планктона. Как видим, бывают случаи, когда холодные глубинные воды способствуют не расцвету жизни, а ее уничтожению.

Однако отношения между средой, растител-

ным и животным миром в океане очень сложны и не укладываются в строгую схему. Тот же «красный прилив», например, не всегда бывает губительным для обитателей вод. К тому же он содержит немало полезных соединений. Из воды «красного прилива» удалось выделить аскорбиновую кислоту, некоторые виды находящегося в нем планктона содержат белок, близкий по своей структуре к высокопитательному белку молока. Существует даже мнение, что высушенный планктон из «красного прилива» в ряде случаев может использоваться как корм для некоторых сухопутных животных.

Научные наблюдения «красного прилива» вел еще Чарлз Дарвин во время плавания на корабле «Бигль». С тех пор накоплен обширный исследовательский материал, но природа этого необычного явления в океане до конца так и не разгадана.

Мировой океан полон неожиданностей и загадок, и его жизнь состоит в вечном движении вод. В этом нескончаемом круговороте каждая малость имеет значение. Есть, например, в районе Мальдивских островов участок, где океан кажется черным, словно чернила, и всегда бурлит ключом. Это действует могучий подводный

источник, каких немало в безбрежных голубых просторах океана. Такие источники не всегда заметны, но они подобны колодцам в песчаных пустынях.

В засушливых, жарких странах, где испокон веков было трудно с пресной водой, и сейчас на многоголосых базарах можно увидеть снующих среди разношерстной толпы юрких торговцев, громко расхваливающих свой товар — холодную пресную воду, глоток которой делает менее ощутимым изнурительный зной палящего солнца.

Еще издревле рыночные торговцы из Бахрейна в Персидском заливе добывали свой жидкий и холодный товар… на морском дне. Туда они ныряли с мешками из козьих шкур, наполняя их поступающей из недр дна пресной водой. В тихую погоду ныряльщики вставляли в этот источник длинные тростниковые трубки, и из них начинали бить над поверхностью моря фонтанчики родниковой влаги.

В старину подобные источники пресной воды нередко играли решающую роль в обороноспособности городов и крепостей. Древнегреческий географ и историк Страбон, живший примерно двадцать столетий до нас, рассказывал об удивительном острове-городе, расположенном в

засушливом восточном Средиземноморье. Это была застроенная домами скала, омываемая со всех сторон волнами. В военное время жители города снабжались водой из идущего от побережья канала, питающегося мощным пресным подводным морским источником.

Полагают, что подводные источники большей частью возникают в результате выхода через разломы и трещины в донных породах потоков пресных грунтовых вод, которые движутся вследствие разницы гидростатических уровней по водопроницаемым пластам от суши к морю. Ряд специалистов, объясняя природу источников, отдает предпочтение влиянию тепловых потоков, направленных из недр Земли к поверхности дна, которые должны вызвать циркуляцию грунтовых вод. При этом принимают во внимание, что воды суши и моря связаны между собой гидравлически по водопроницаемым породам.

В тех случаях, когда донные отложения залегают сплошными ненарушенными пластами, грунтовые воды просачиваются сквозь них постепенно и тут же смешиваются с солеными. Такие источники можно обнаружить только средствами гидрохимии. Зато деятельность обильных концентрированных источников пресной воды

оставляет след даже на поверхности, особенно когда глубины невелики. В штиль над ними заметно бурление, в шторм, наоборот, вода над источниками более спокойная.

Подводные источники и поныне участвуют в водоснабжении населения тех стран, где испытывается острый недостаток в пресной воде. Примечательно, что техника добычи из них воды, например на Ближнем Востоке, почти не изменилась со времен Страбона.

В наши дни эти источники уже не имеют такого важного значения в водоснабжении, как это было в древности. Они, естественно, не могут удовлетворить растущие потребности населения, тем более промышленности, в пресной воде, но это своеобразное явление природы представляет собой интересный объект исследования, поскольку на океанском дне наряду с пресноводными источниками существуют термальные и высокоминерализованные источники, которые также могут быть использованы на благо людей.

Изучение движения вод Мирового океана — одна из увлекательных страниц океанологии. Многие таинственные явления природы нашли самое простое объяснение с познанием путей и причин перемещения водных масс. Грандиозные

и даже незначительные потоки транспортируют тепло или холод, несут жизнь или опустошение, перемещают наносы, размывают дно и берега, способствуют или препятствуют мореплаванию.

Если сравнить нашу планету с живым организмом, то существующие в Мировом океане потоки следует назвать кровеносной системой Земли, в которой есть свои артерии, вены и капилляры.

МОРСКОЙ АРХИВАРИУС

Морской АРХИВАРИУС





И. Ефремов
«КАТТИ САРК»
(Рассказ)

ОТ АВТОРА

Первый вариант этого рассказа был опубликован в 1944 году. В то время я знал судьбу замечательного корабля лишь в общих чертах и придумал фантастическую версию о постановке «Катти Сарк» в специально построенный для нее музей. После того как рассказ был издан в Англии, английские читатели сообщили мне много новых фактов о судьбе «Катти Сарк».

В 1952 году в Англии образовалось Общество сохранения «Катти Сарк», которое на собранные деньги реставрировало корабль и поставило его в сухую стоянку.

Настоящий, полностью переработанный вариант рассказа является попыткой изложения этапов подлинной истории «Катти Сарк».

ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

В квартирке едва умещались многочислен-

ные гости. Все сиденья были использованы, и в ход пошли торчком поставленные чемоданы. Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди веселых возгласов и смеха.

Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, жался у стены, рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного, узкого корпуса корабля чувствовалось совершенство, подчеркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние реи были необычайно длинны и в размерах почти не уступали нижним.

Хозяин подошел ободрить робкого гостя.

— Любуетесь? — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана.

— Этим кораблем вы тоже командовали, Даниил Алексеевич? — спросил юноша.

— Вот еще! — отмахнулся старый моряк. — Да это же «Катти Сарк»!

— Что такое? — не понял штурман.

— Ну да, откуда ж вам, береговикам зеленым, знать! — пробурчал капитан. — А впрочем… Внимание, товарищи! — крепким, «штормовым» голосом перекрыл он шум сборища.

Все лица выжидательно повернулись к нему.

— Сколько тут моряков летучей рыбы?[21] Поднимите руки!.. Раз, два… — считал капитан, — одиннадцать. Много!.. Ну так вот… — Капитан снял фотографию со стены и поднял, чтобы все могли видеть. — Это «Катти Сарк»!

Последовало общее недоуменное молчание, нарушенное одиноким возгласом:

— А, вот она какая!

Капитан усмехнулся.

— Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным. Да и в самом деле — оно достигло высочайшего совершенства. Прошло примерно семьдесят лет — срок одной человеческой жизни, и вот лишь горсточка старых моряков еще знает все тонкости этого мастерства. Забыты гремевшие на весь мир имена капитанов и кораблей. А когда умрем и мы, старики, человечество закроет великолепную страницу истории завоевания морей, завоевания простым парусом,

---

[21] Примечания: 21

Моряк летучей рыбы — плававший в океане, где только и водятся летучие рыбы.

управляемым искусными руками и твердыми сердцами!..

— Даниил Алексеевич, это вы через дугу! — воскликнул еще молодой, но — по орденам — бывалый моряк. — Парусное искусство и нам знакомо, а вот каждый корабль знать…

Хозяин дома рассердился:

— «Каждый»! И вам не стыдно, Силантий Семеныч? Не знать — не позорно, но уж отстаивать свое невежество — извините…

— Да ведь, — начал оправдываться его собеседник, — я хотел только…

— Ну, раз «только», слушайте! Покорение океанов — настоящее корабельное дело — началось примерно лет пятьсот назад. За эти полтыщи лет наш мир постепенно расширялся. Громадный опыт борьбы с морем совершенствовал искусство постройки кораблей. Овладевая силой ветра, человек создал искусство управления парусами. Десятки тысяч безымянных или забытых жертв легли на дно океанов с обломками своих судов. Ценой неустанного труда, отваги и страданий моряков, ценой вдохновенных поисков строителей к середине прошлого века появились клиперы, стригуны, «стригущие» верхушки волн. Это уже были не угловатые дома, приспособленные к пла-

ванию, как большинство старинных кораблей, а крылатые скороходы — лебеди моря.

Клиперы предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться: днища их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка — деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания.

Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клиперах, построенных одновременно в Шотландии в семидесятых годах прошлого века: «Фермопилы» и «Катти Сарк».

Ничего лучшего, чем эти два корабля, среди всех парусников мира не было построено. Вот почему «Катти Сарк» не «каждый корабль», как выразился Силантий Семеныч. И морякам знать ее не мешало бы… Тем более, что история этого корабля не только родня занимательному ро-

ману, — это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания!..

Неудивительно, что после такой речи собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о «Катти Сарк».

— Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения, — начал старик. — Я еще юнгой был, а парусный флот уже давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки — стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешевых грузов. Лучше всего был известен у нас «Товарищ» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстроходным — германский стальной пятимачтовый барк «Потози» в четыре тысячи тонн, построенный в 1896 году. С «Потози»-то, собственно, и началась для меня история «Катти Сарк».

ЧЕСТЬ КАПИТАНА ДОУМЭНА

В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения подходящего парусника. Требовалось хорошее, приспособленное к даль-

ним плаваниям учебное судно: подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству нашей страны.

Громадные американские дешевые шхуны не годились. Шхуна, то есть судно с косой парусностью, проста в работе, она идеально лавирует и незаменима при плаваниях во внутренних морях и архипелагах. Но с попутными ветрами и на большом волнении шхуна опасна — очень рысклива. Для океана нужен корабль с прямым парусным вооружением. Я и нацелился на барк «Потози», который недавно перешел на рейсы Европа — Южная Америка.

Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мглистые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран из-за своей легкой доступности.

Поеживаясь от пронизывающей сырости, я направился по мокрым плитам незнакомых улиц к морю. Обойдя какие-то длинные закопченные здания из красного кирпича, я сразу увидел гавань. Обилие мачт как будто противоречило разговорам об умирании парусного искусства, но я знаю, что это впечатление обманчиво.

Большинство мачт принадлежало легким рыбачьим шхунам или парусно-моторным шаландам, никогда и не нюхавшим океанских просторов. Только два-три настоящих корабля стояли в порту, и на этом общем фоне заметно выделялся стройный рангоут знаменитого барка. Четыре мачты огромной высоты господствовали над всем частым и низким лесом береговой мелочи. Четыре мачты, сзади пятая — сухая бизань. Да, очевидно, это был «Потози».

В гавани было пустовато. Должно быть, дрянная погода разогнала моряков по уютным местам, достаточно многочисленным в Фальмуте. Массивные позеленелые камни набережной в средней части гавани блестели от оседавшей с воздуха воды; эстакады на сваях и мостики осклизли от сырости. Резкий ветер, серое небо и зелено-серые волны, брызгающие пеной; крепкие, бодрящие запахи моря, смолы и мокрой пеньки совсем не способствовали угнетенному настроению, как это иногда бывает у городских людей в такую погоду. Наоборот, завеса холодного моросящего дождя вызывала приятные мечты о далеком сияющем южном море, и как реальный залог возможности выйти сквозь пелену осеннего тумана в широкий и теплый мир высились могучие

мачты «Потози».

Мы, моряки, не очень прихотливы к условиям жизни на суше просто потому, что и самые дрянные места для нас скоропреходящи: несколько дней — и новое плавание, новая перемена…

Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхоленным, и основательно продрогнув, я направился в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном «Потози». Я нашел хмурого щеголеватого человека на почетном месте, у камина в столовой. Вопреки первому впечатлению, мы быстро подружились. Капитан много плавал, был хорошо образован. При этих качествах способность остроумно оценивать события и заразительный юмор делали капитана приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре его судна и получил все нужные мне предварительные сведения.

Окончив деловую часть, капитан пригласил меня поужинать вместе. В затянувшейся беседе он признался, что рад столь высокой цене, назначенной компанией за его судно:

— Если продадут мой «Потози», я вряд ли найду парусник по вкусу: уж очень мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход. — И капитан добрым глотком поторопился

смягчить отразившееся на его лице огорчение. — Не понимаю, зачем вам платить большие деньги за знаменитость, которую мало кто оценит? За эту сумму вы два парусника купите, разве что с небольшим ремонтом, а хороший ходок вам ни к чему. Вот начнете кругосветные плавания, тогда другое дело.

Немного огорченный, признал, что капитан прав. И тот, совсем по-дружески пожав мне руку, пообещал помочь, если дело сорвется, в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля.

Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией — хозяином «Потози» — шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я излазил весь барк, от кильсона до брам-стеньг, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы: покупка была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения.

Погода все ухудшалась, и, наконец, было получено штормовое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбацкие суда поспешили укрыться в гавани.

Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четы-

ре дня, ураганный ветер перемешивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавани стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода…

На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода. Я простился с «Потози». Барк поставил свои паруса и ушел на юг, в Рио, где в бухте Гаунабара высилась причудливая гора — Сахарная Голова. Спустя три года, в 1925 году, «Потози» погиб у тех же южноамериканских берегов — загорелся груз угля. Остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели, где капитан затопил горевший корабль…

Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одиноко. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом отделении, между стойкой и огромным камином,

столы были сдвинуты вместе, и за ними заседала компания чем-то возбужденных пожилых моряков. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул капитан, с которым я здесь познакомился несколько дней назад.

— Идите-ка сюда, дорогой капитан!.. Сэры, я счастлив представить вам русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы да еще японцы.

Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустился на услужливо подставленный мне дубовый стул.

— Я уже отправил посыльного к старому Вуджету — ее последнему капитану. Старик совсем еще крепок, скоро будет здесь, — громогласно сообщил собранию массивного вида моряк.

На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело.

— Ну вот! — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами. — Разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? Или вы не знаете, что это такое? — подозрительно оглядел он меня.

Все головы повернулись в мою сторону.

— Я слыхал про знаменитый клипер, — спокой-

но ответил я. — Но может ли это быть, ведь он, кажется, слишком давно построен?

— В 1869 году. Скоттом и Линтоном, — подтвердил мой собеседник. — И плавает уже, следовательно, пятьдесят три года. Но — можете мне поверить — судно как бутылка, никакой течи…

— Извините, — перебил я восторженную речь. — Но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавани и клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, и никакого клипера…

Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал:

— Да эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели?

Но я уже оправился от смущения:

— В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса — баркентина, да еще запущенная, грязная… Больше и не интересовался.

— Ну, конечно, — примирительно вмешался плохо говорящий по-английски гигантского роста моряк, видимо норвежец. — Эти ослы так запакостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус,

как балаган…

— Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? — обратился я к моряку, взявшему на себя роль председателя импровизированного собрания.

Хор односложных восклицаний, большей частью иронического оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка-председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились.

— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом, полуутверждением. — Мы давно уже сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег… Ну, что об этом говорить! Даже если бы мы в складчину могли купить «Катти Сарк», то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре?..

— Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — возразил я. — Кому, как не им, сохранить последнее, лучшее произведение эпохи парусных кораблей?

— Э, — презрительно бросил моряк, — в клубах только рекорды всякие ставят! Разве не знаете? А у обществ этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о «Катти Сарк» идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщили старику Вуд-

жету. Пусть посмотрит — ему, наверно, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать, да еще потолковать о былых днях за выпивкой, что мы и делаем… А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодующе фыркнул старый капитан.

Я замолчал. Да и что тут можно было сказать?

В это время в комнату вошел бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы.

— Капитан Доумэн, только вас и не хватало! Если приедет Вуджет, то соберутся все поклонники «Катти»… Вы уже видели ее?

— Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером.

— Зачем?

Слабая улыбка засветилась на лице Доумэна.

— В первый раз за всю свою славную службу «Катти» сдала. Степсы расшатались, швы палубы расходятся. Капитан-португалец напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в Фальмуте, и думает, что судно разваливается… Короче, я купил «Катти»!

Последовал невероятный шум восторга: суро-

вые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «ура» страшными голосами.

— Эй, выпить за здоровье капитана Доумэна! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы!

— Уильям, — обратился к Доумэну какой-то молчавший до сих пор моряк, — как же ты смог это сделать?

Доумэн опять счастливо усмехнулся:

— Я съездил к мистрис Доумэн, посоветовался с ней. Оба мы староваты, детей и родственников нет… Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну, вот мы и решили: если цена окажется под силу — купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте… Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от «Катти» — невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем!

Капитан Доумэн умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумэн помолчал, зажег трубку и подумал вслух:

— Вот и сбылась мечта… Смолоду много слыхал

я о двух жемчужинах нашего флота: «Фермопилах» и «Катти Сарк». Уже капитаном перешел на австралийские линии, и однажды «Катти Сарк» меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыби идет как танцует, даже лиселя не поставлены, а восемь узлов делает, да… никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой «Флайинг Спур» («Летящее Копье») был не последний из австралийских почтовиков! Вспомнил я, как хвастался в Мельбурне пропившийся матрос (служил на «Катти»). «Мы, — говорил он про экипаж «Катти Сарк», — головой ручаемся — никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос!»

С тех пор запала мне в голову мечта: хоть один рейс покомандовать «Катти», в своих руках почувствовать такой клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким кораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как получил с китайской линии, до конца, пока не продали ее. И я потерял «Катти» из виду. А теперь, странно думать, я владелец «Катти Сарк». Я владелец «Катти Сарк»… — медленно повторил Доумэн. — Не поверю, пока не выйду на ней в море!

— Когда же вам сдадут корабль, сэр! — почти-

тельно спросил я.

— Вот уйдет она в Лиссабон, в последний рейс. Пока оформят, то да се, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет «Катти» под Красный флаг[22], как в доброе старое время!

На следующий день, только я собрался осмотреть «Катти Сарк», как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой «Потози» и посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. Я в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером...

РУКОПИСЬ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

Капитан умолк и зорко осмотрел своих слушателей, как бы выслеживая на лицах скуку или утомление. Оставшись доволен, он прокашлялся, выпил бокал вина, закурил и продолжал:

— Через семнадцать лет, в 1939 году, мне пришлось снова побывать в Фальмуте. Крепко пахло

---

[22] Примечания: 22

Красный флаг — флаг английского торгового флота.

войной даже в этом удаленном парусном порту. Мне посчастливилось встретить знакомого — из тех, кто участвовал в моряцком собрании по поводу «Катти Сарк». Я, конечно, спросил его про клипер и доблестного судовладельца — капитана Доумэна.

— Умер в прошлом году, — отвечал мой знакомый. — И «Катти» здесь нет. Вдова покойного подарила корабль — в самом деле, зачем он ей? — Темзинскому мореходному училищу в Гринвиче. Пока был жив Доумэн, он понемногу восстановил «Катти Сарк» прежний рангоут. Долго ему пришлось собирать по крохам лес, парусину, тросы и деньги. Перед смертью удалось Доумэну выйти на клипере в океан, к Азорам… Помните, как мечтал он командовать «Катти Сарк»? — Моряк задумался и продолжал: — Хоронил Доумэна весь Фальмут, даже из Лондона приехали, В прошлом же году пригласили Вуджета. И с ним на борту «Катти» пошла кругом Англии из Фальмута в Темзу, откуда семьдесят лет назад она отправилась в свое первое плавание в Китай. Теперь «Катти» служит вспомогательным учебным кораблем для морских кадетов. Корабль в сохранности и крепок… хоть и не в музее, как мы тогда думали.

— Я понимаю, — осторожно сказал я. — Сейчас

Англии не до музея… Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет?

— Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роется в саду, поливает розы… Да, впрочем, хотите нанести ему визит?

Я с радостью согласился.

Конечно, старик был «крепок» лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана — гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепная память не оставили капитана Ричарда Вуджета.

Я прогостил у него два дня — до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на «Катти Сарк», а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первой молодости моряка относились к старому Вуджету.

Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными, на японский манер, стенками. С шумевшего поодаль моря ползли вереницы слезливых туч. Прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки

устилали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием чего-нибудь необычайного.

Дополняемый сыном и Ирвингом, старый Вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она-то после болезни стала подводить… Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получилось вроде маленькой повести, и я когда-нибудь прочту ее вам.

Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Раззадоренные гости потребовали от юбиляра «выкладывать все и теперь же». Он сдался, принес пачку исписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, очки, прочел их нам, держа перед собой на вытянутой руке.

МЕЧТА-ВЕДЬМА

Главный строитель верфей Скотта и Линтона в Думбартоне встал навстречу важному заказчику. Фирма уже давно переписывалась с судовладельцем Джоном Виллисом о его намерении

построить корабль-мечту, который не только взял бы первенство на гонках кораблей чайной торговли, но и смог бы постоянно удерживать его.

Оба шотландца пожали друг другу руки. Общительный, полный юмора кораблестроитель был противоположностью угрюмоватому и заносчивому судовладельцу.

— Мне достали сведения насчет того нового клипера, — начал, отдуваясь, Джон Виллис, — что строится Худом в Эбердине.

Кораблестроитель выразил живейший интерес. Судовладелец извлек книжку в черной коже:

— Сравните с вашими расчетами. Регистровых тонн будет девятьсот пятьдесят, длина двести тринадцать с половиной…

— У нас двести четырнадцать, — вставил инженер, — и девятьсот шестьдесят тонн. Ширина тридцать шесть с половиной.

— Ого, такая же!

— Глубина двадцать и восемь десятых…

— У них больше — двадцать один с третью. Но это пустяк. Похоже, очень похоже… Набор железный, обшивка — тик, вяз и сосна?

— Да, да!

— Понимаю. Они учли весь опыт Великой Гонки прошлого, шестьдесят шестого года.

— Вы имеете в виду гонку из Фучоу в Лондон?

— Да. Гнались девять лучших чайных клиперов. Победитель — Джон Кэй со своим «Ариэлем». На десять минут позже — «Тайпинг». На девяносто девятый день после выхода из Фучоу.

— Худ взял пропорции «Ариэля». — Инженер порылся в справочниках. — Да, «Ариэль» чуть-чуть короче и у́же — восемьсот пятьдесят две тонны. Но главное не это, главное — площадь парусности. Она вам известна?

— Все известно, даже имя корабля — «Фермопилы». Странное имя! Почему…

— Так что же парусность? — перебил судостроитель.

— Сейчас. Мне дали ее в этих новых мерах — квадратных метрах. Вот, площадь основной парусности — две тысячи пятьсот двадцать этих метров.

Судостроитель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным.

— Что такое? — встревожился Джон Виллис. — Неужели у вас меньше?

— Меньше… две триста пятьдесят. Да, этот корабль будет серьезным соперником… Сколько

дополнительной парусности?

— Девятьсот тридцать… Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете — самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этим… «Фермопилами», черт возьми это дурацкое имя!

— Вы получите самый лучший. Я увеличу нашу дополнительную парусность, всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов — около тысячи метров.

— Вам виднее! Но извольте сделать обшивку только из тика, ну… можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера! Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях!

Судостроитель встал.

— Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных парусов на нашем клипере, разве только маленький грот-трюмсель. Ведь я не собираюсь строить рекордиста по скорости. Такой уже был. И до сих

пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверно, и не будет побит: тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей.

— Кого вы имеете в виду?

— Американцев. Их три клипера — «Летящее облако», «Молния» и «Джемс Бэйнс». Антони Энрайт на «Молнии» поставил в пятьдесят седьмом в Южной Атлантике, к югу от острова Гоф, мировой рекорд — прошел за сутки четыреста тридцать миль.

— Бог мой! «Джемс Бэйнса» я сам видел по пути из Кэйптауна в Сидней.

— В каком году?

— В пятьдесят шестом.

— В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован… Возьмите журнал. Двадцать один узел!

Виллис схватил номер «Морского альманаха».

— А наш клипер так ходить не будет? — спросил он с нескрываемой обидой.

Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца:

— Поймите, Виллис, это не годится! Американцы оказались слишком смелы: еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули

назад фок-мачту и начали крепить стеньговые штаги на палубу, а не к топам мачт… Корабли стали нести громадную парусность. Но эти знаменитые клиперы служили только лет шесть-семь, не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов! «Джеймс Бэйнс» — две с половиной тысячи тонн, «Молния» — две. Грота-рей у «Джемса Бэйнса» чудовищен — сто футов, вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны… Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они и развалились, эти великолепные ходоки, едва себя окупив… Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все равно быстрее никого не будет, разве худовский… Ну, да мы примем меры…

— Так вы ручаетесь за восемнадцать узлов? — повеселел Виллис.

— Скажем так: с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжать и восемнадцать. Не рекорд! Постоянная коммерческая скорость!

Судовладелец вскоре откланялся, захватив с собой «Морской альманах». Провожая его к дверям, строитель вспомнил:

— Имя, давайте имя клипера, на днях будем закладывать. Иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в шестьдесят девятом!

Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете.

— «Джеймс Бэйнс». 1856 год. Одиннадцать лет назад… — бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению.

Наконец он нашел нужное — выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста.

> «1856, июня 18, широта 42°47′ южная, долгота 115°54′ восточная, барометр 29,20 дюймов. Ветер меняется от З до ЮЗ. Первую половину дня сильно свежеет… В 8 часов 30 минут под всеми лиселями с правой и грот-трюмселем скорость 21 узел. С полуночи шторм от ЮЗ, но ясная светлая ночь. В 8 часов утра ветер и погода те же. Пройдено за сутки 420 миль».

Джон Виллис опустил альманах на колени и глубоко задумался.

…Июнь 1856 года. Да, в двадцатых числах. Ему было тогда всего сорок шесть лет, и здоровье еще не начало сдавать, как теперь. Им была предпринята поездка в Австралию с целью самолично

изучить условия австралийских фрахтов. Корабль его находился в водах великого западного дрейфа в пятистах милях к югу от Австралии, на долготе ее западных берегов. До Бассова пролива оставалось еще около тысячи двухсот миль, а до цели плавания, Сиднея, — тысяча семьсот. «Ревущие сороковые»[23], как бы приветствуя судовладельца, посылали крепкие зимние штормы — все время западные, попутные. Океан взметывался громадными волнами, сеял водяную пыль. Клочья и струи пены в воздухе обгоняли корабль. Старый крепкий почтовик скрипел, взмахивал длинным, крутым бушпритом и грузно проваливался между склонами мечущихся водяных холмов. Мокрые кливера на секунду обвисали и вновь надувались с гулким рывком, сотрясая корпус. Виллис не вел корабль, но проводил на палубе долгие часы, зачарованный мощью этого моря. Океан поражал своей мрачной первобытной силой. Внезапные шквалы у южноамериканских берегов, бешеные тайфуны китайских морей были опаснее, но ни один океан не требовал такой прочности от корабля и непрерывной, изматывающей борьбы с бурей

[23] Примечания: 23

«Ревущие сороковые» — сороковые широты южного полушария, очень бурные.

и страшным волнением, как здесь, вдоль сорокового градуса южной параллели, на границе Индийского и Южного Ледовитого океанов.

Незабываемая встреча произошла в светлую июньскую ночь. Джон Виллис задержался на палубе, пытаясь рассеять головную боль от тяжелой многодневной качки. Ветер крепчал с каждым часом. Грустное пение такелажа, которому вторил низкий гул парусов, становилось резче и как-то наглее, пока не перешло в победный вой. Вахтенный помощник вызвал людей наверх — уменьшить парусность. Лаг исправно отсчитывал мили, а заслуженный корабль шел со скоростью в тринадцать узлов.

Внезапный крик вахтенного перекрыл свист ветра и всплески волн:

— Корабль справа, с кормы, идет тем же галсом!

В свете луны показалось сначала расплывчатое белое пятно, потом черная точка корпуса. С невероятной быстротой догонявшее судно росло, становилось отчетливее. Джон Виллис бросился на мостик. Корабль шел в бакштаг правого галса с креном на левый борт. Корпус казался странно узким под огромной массой парусов и почти исчезал в облаке пены. Исполинские нижние реи

разносили белые полотнища далеко в стороны от бортов. Нижние паруса будто касались гребней пенящихся волн в двадцати пяти футах от бортов. С правой стороны все лисели были выдвинуты на лисель-спиртах. Корабль загребал начинающуюся бурю простертым направо крылом и рвался вперед, отталкиваясь от ураганного ветра. Обращенный к Виллису борт корабля едва различался в хаосе волн и всплесков, по палубе извивались водяные потоки, пологий бушприт протыкал верхушки встречных валов. Судно словно могучим плугом вспарывало океан, тяжко трудясь в борьбе с надменной стихией.

Корабли сблизились. Несколько сорванных ветром выкриков в рупор, приветственные взмахи — и изумительный корабль, точно Летучий Голландец, исчез впереди в волнах и несомом бурей водяном тумане.

— «Джемс Бэйнс», Бостон! — наконец раскрыл рот вахтенный помощник. — Клянусь Юпитером, это моряки!..

Джон Виллис только кивнул в знак согласия.

— Мы убрали часть парусов, а у них не только лисели, даже лунный парус стоит. Видели?

Виллис вспомнил, что действительно видел парус на самой верхушке грот-мачты, но промолчал.

Ему хотелось наедине обдумать впечатление. Встреча с американским клипером потрясла его сильнее, чем сначала показалось. И в Австралии, и на обратном пути он не мог забыть ломившегося сквозь бурю с поразительной отвагой корабля, который обогнал их, будто какую-нибудь баржу. Гордость судовладельца, собственника отличных кораблей, вдобавок еще шотландца, была уязвлена. Уж очень велико было превосходство американского клипера! Перебирая в уме — в который раз! — все известные ему корабли британского торгового флота, Виллис признавался, что нет ни одного, который мог бы совершить подобный же подвиг двадцатиузлового полета через ураган. А еще через год миру стал известен рекорд «Молнии», в западном дрейфе Атлантики на десять миль превысившей суточный переход «Джемса Бэйнса»…

Но что-то мешало Виллису признать «Молнию» или «Джемса Бэйнса» идеалами корабля. Встреча в Индийском океане разбудила не только жажду соревнования, но и смутное ощущение, что идеальный клипер, корабль-мечта, должен быть другим. Громадный плуг, вспарывающий океан под напором чудовищной парусности, — нет, в этом судне не было той чарующей легкости

усилий, какой-то простоты движения, которое пленяет нас в быстрых лошадях, собаках или птицах.

Несколько лет спустя, осторожно, боясь показаться смешным, Джон Виллис поведал свои мечты знаменитому судостроителю. И вот подошла пора осуществления, а строитель говорит, что клипер не будет таким же быстрым, как те прославленные американцы. Но он обещает всестороннее совершенство корабля.

Это верно! Клипер-мечта должен быть меньшим, легко нести свои паруса и скользить по волнам, а не пахать их. Как прекрасен был бы танец на верхушках волн! Нестись вместе со свитой пенных гребней, сливаясь с движением ветра.

Внезапно острое воспоминание, как молния, вспыхнуло в мозгу. Джон Виллис понял, откуда появилось у него представление о скользящем полете. Сорок лет назад он видел картину художника — он давно забыл какого, — изображающую молодую ведьму из поэмы Бернса — Нэн Короткую Рубашку. Вызывающе смеясь, лукавая и желанная, юная женщина неслась в беге-полете над вереском и кочками шотландских болот, ярко освещенная ущербной луной. Ее обнаженная левая рука была поднята вверх и изогнута, словно

лебединая шея, а правая легко отведена в сторону. Тонкая рубашка, ниспадавшая с плеч, короткая, как у выросшего из нее ребенка, открывала во всю длину сильные стройные ноги. В круглом лице и изгибе широких бедер художник сумел отразить ненавязчивую порочность, напоминавшую, что эта красивая не по-английски девушка, настоящая дочь Шотландии, все же… ведьма!

Картина впервые разбудила у юного Джона Виллиса сознание сладкой и тревожной привлекательности женщины. Образ юной Нэн Короткой Рубашки накрепко запечатлелся в памяти, связанный с ожиданием неопределенных чудес будущего. И только самому себе сознавался гордый судовладелец, что ему пришлось позже встретить похожую на ту Нэн девушку. Простая служанка из горной шотландской деревни, она не могла быть женой, подходившей чопорной семье молодого Виллиса. Стыдясь своей любви, Джон грустно вздыхал, так и не признавшись насмешливой и смелой девушке. Все давно минуло, жизнь прошла совсем по-иному, чем это мечталось смолоду, но в потаенных уголках души заносчивого богача продолжало жить сожаление о сладостном и запретном образе Нэн, сливающемся с утраченной любовью к Джэн.

И сейчас, слегка взволнованный воспоминаниями прошлого, Джон Виллис решил, какое имя больше всего подходит его будущему кораблю.

Нэн Короткая Рубашка! Быстрая, как ветер, прекрасная и своенравная! И его клипер будет носиться по океанам в легком беге-полете юной ведьмы!

Джон Виллис довольно ухмыльнулся, но тут же сообразил, что имя ведьмы, данное кораблю, вызовет недоумение и нарекания. Что ж, у него хватит воли отстоять свое, но все же лучше назвать клипер просто «Короткой Рубашкой» — «Катти Сарк», без имени Нэн. Носовая фигура, деревянная статуя под бушпритом, будет изображать Нэн Короткую Рубашку. Он позаботится, чтобы ее сделали похожей на ту самую Нэн — Джэн…

ДВА СОПЕРНИКА

Клипер Виллиса получил название «Катти Сарк», сколько бы ни удивлялись и ни отговаривали упрямого шотландца приятели и товарищи.

А осенью 1868 года вышел из Эбердина новый худовский клипер «Фермопилы». Вскоре среди моряков разнеслась слава о необыкновенном

корабле, превосходившем всех быстротой, управляемостью, легкостью хода. В следующем году отчалила от пристани Темзы и «Катти Сарк», направляясь в далекий Китай. Флот чайных клиперов, пораженный мореходными качествами «Фермопил», скоро понял, что у этого замечательного корабля появился соперник, не худший, а может быть, даже и превосходящий его. Как настоящая ведьма, «Катти Сарк» настигла только что ушедший в очередной рейс худовский клипер и, несмотря на отчаянные усилия его экипажа, пришла одновременно с ним в Шанхай. С этой поры между двумя лучшими парусниками мира началось неустанное соревнование, продолжавшееся двадцать пять лет.

Когда в туманном рассвете с наступлением прилива «Катти Сарк» и «Фермопилы» одновременно исчезли из Шанхая, моряки поняли, что началась самая интересная за столетие гонка кораблей. Оба соперника пролетели Зондский пролив, не теряя друг друга, из виду. Затем, медленно, час за часом, сутки за сутками «Катти Сарк» стала опережать «Фермопилы». В бейдевинд оба клипера шли по тринадцати узлов — неслыханное дело, недоступное всем другим клиперам. Затем бейдевинд стал круче, и тут «Катти» оказалась быстрее

на полтора узла, чем шедший десятиузловым ходом ее соперник.

Все дальше расходились корабли. «Катти Сарк» скрылась за горизонтом, и, как ни лавировал ее противник, в течение двух суток впереди ни разу не показались паруса «Катти Сарк».

Барометр неуклонно падал, густой удушающий зной плавал над маслянистым океаном, и вечерние звезды плясали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно неслась навстречу грозному тайфуну, не изменяя курса, а вдалеке, невидимые за выпуклым простором моря, так же неустрашимо и упорно следовали за ней «Фермопилы».

Оба клипера проскочили через тайфун, но «Катти Сарк» не повезло. Виноват был замешкавшийся рулевой. Тяжкий вал ударил по старн-посту, расщепил руль. Штуртрос лопнул, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным креном судорожно нырять в гремящих валах. Но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с наскоро прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства «Фермопилам».

В чайном флоте «Катти Сарк», как и «Фермо-

пилы», пробыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чаеторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клиперы перешли на австралийские рейсы, и тут-то наилучшим образом проявили себя.

От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через «Ревущие сороковые» с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь «Фермопилы» и «Катти Сарк» возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась все увеличивающемуся текстильному производству Англии.

Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль.

Дик Вуджет радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым и редким наслаждением. Вуджет изучал свой превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветры или тяжелое волнение, чтобы

корабль не выполнил поворота оверштаг быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва руль перекладывался на ветер.

В штилевых полосах тропической Атлантики «Катти Сарк» окончательно и навсегда покорила свой экипаж.

В знойном воздухе веял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару.

В южных широтах устойчивый зюйд-вест сразу прибавил клиперу ходу. Лаг принялся отсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бейдевинд. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту, по мере того как летели навстречу срываемые ветром

всплески и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйд-вест нес прохладу из ледяных просторов Антарктиды.

Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вант-путенсы, думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали в глубь этого всемирного ледяного погреба. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далека заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги.

Вуджет старался представить по читанным когда-то описаниям плаваний странный материк на Южном полюсе — чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и ползут в океан мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы.

Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда, на хорошем корабле в хорошую погоду, различаясь

лишь вахтами, реже — сменой галсов, да еще обсервациями места корабля.

Красивая ведьма пронесла, плавно покачиваясь, свои высокие белогрудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, со зловещим упорством.

Вахта капитана Вуджета пришлась на безлунную ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущения тишины. Волны мерцали свежеразрезанным свинцом и, казалось, освещали борта корабля. Вода тускло отблескивала, обычные зеленый и красный блики бортовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет, и может быть, это и было так на самом деле.

Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа, на юге, звезды на горизонте затемнялись узкой, серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не

заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза.

— Кто на руле? — негромко спросил Вуджет.

— Бэйкер, сэр! — звонко отозвался матрос.

Это прозвучало для капитана успокоительно. Бэйкер был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.

Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задергивать небо снизу, от горизонта, плотной массой.

Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фоке и фор-марселе, а также закрепить грот и контр-бизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра

«Катти Сарк» вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый фордевинд. Тяжелые, низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже, и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер.

Капитан распорядился закрепить все крюйсельные паруса, рискнув оставить полный грот-марсель, все брамсели и бом-брамсели, положившись на прекрасную остойчивость «Катти Сарк». Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом, совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне.

Шторм установился в одном направлении. Клипер несся сквозь бушующий океан, словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по

небу, обгоняя «Катти Сарк».

Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый. Чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти.

Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни — матросы изо всех сил горланили какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет приказал первому помощнику не уменьшать парусов.

— Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинул взглядом

беснующееся море и удалился в свою каюту…

Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что долго спал, и вскочил на ноги.

На палубе его приветствовал молодой второй помощник:

— Все великолепно, сэр! И вас убаюкало на славу!

— Только не знаю, на чью! — буркнул Вуджет, удивляясь, что проспал полторы вахты.

— Конечно же, во славу нашей «Катти»! — восторженно воскликнул молодой моряк.

Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море.

Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались все выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстое облачное одеяло от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расползлась в стороны, уходя на норд и зюйд. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую светлую дорогу.

Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль.

Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно

накренившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама «Катти». Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, был еще очень свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халфвинд. Кроме основных парусов, судно несло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание, моряки следили за кораблем, и ревнивое чувство завладело ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали, уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а может быть, его сигналы уже не различались.

— Это «Фермопилы», только «Фермопилы», — восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника «Катти Сарк» в китайских водах.

Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй знаменитый клипер. Что-то одинаковое с «Катти» было во всей повадке корабля: та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться даже неопытных пассажиров.

Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для «Катти» ветер был бак-штагом —

наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага возвестили семнадцать узлов. Но ветер слабел, можно было рискнуть — и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели: всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами.

— Восемнадцать узлов! — завопил помощник, осекся, покраснел, но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился.

Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить. Но ветер дул теперь ровно, мягко шипела и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей, да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Катти Сарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира!

Если бы только не «Фермопилы»! А впрочем, может быть, и хорошо, что их — кораблей-альбатросов — два. Будет с кем потягаться, попробовать

силы!

ПАР И ПАРУС

Капитан Ричард Вуджет при поддержке своей команды не переставал изучать «Катти Сарк». В его руки попало чудесное творение рук человеческих, с помощью которого можно было бороться за скоростной полет по половине земного шара при любых условиях того сложного сочетания жары и холода, ветра и штиля, дождей и сухих бурь, которое для сокращения именуется погодой и к которому на море добавляются волнение, течения и противотечения, приливы и отливы. Вуджет учился брать от корабля все богатство его управляемости, невероятно гибкой для парусника с прямым вооружением, способности к лавировке и движению при слабых ветрах. Результаты труда капитана и экипажа не замедлили сказаться: все бегуны шерстяного флота оказывались неизменно побежденными. Быстроногая ведьма, выходя одновременно с другими судами, опережала их на целые недели.

«Фермопилы» были тоже побеждены: и в первый, и во второй, и в пятый раз… Первенство «Катти» утвердилось, хотя и не столь прочно,

как хотелось бы капитану и команде корабля. «Фермопилы» уступали «Катти Сарк» в переходах всего на часы, самое большое — на сутки. Упрямый корабль не прекращал состязания, казалось впитав в себя шотландское упорство своих строителей.

Целыми неделями «Катти Сарк» мчалась с попутными ветрами со скоростью семнадцать узлов, покрывая более трехсот шестидесяти миль в сутки. В 1885 году «Катти Сарк» сделала переход из Лондона в Сидней, преодолев расстояние в двадцать одну тысячу километров с буксировками, ожиданием лоцманов и заходом в Кейптаун за шестьдесят семь дней. Джон Виллис, которому перевалило за семьдесят, устроил банкет и принимал поздравления, как владелец лучшего в мире корабля. Однако новая сила вступила в соревнование на морских просторах: пароходы — эти жалкие каботажные скорлупки — превращались в настоящие океанские суда. Применение винта сделало их надежными: строители паровых машин и котлов накопили нужный опыт. И даже на далеких и тяжелых австралийских рейсах доставка почты была поручена пароходам… Резвость шерстяных клиперов с каждым годом все более уступала работе машин, более стойкой и посто-

янной, меньше зависящей от капризов погоды.

«Фермопилы» и «Катти Сарк» дольше всех держали знамя в соперничестве пара и паруса, вызывая неизменное восхищение у пароходных пассажиров и команды, когда при попутном ветре тот или другой из красавцев клиперов возникал белокрылым лебедем среди моря, нагонял дымившее, глухо шумевшее чудовище и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий.

В 1889 году мир удивился новому подвигу «Катти Сарк». «Британия» — один из лучших почтовых пароходов Полуостровной и Восточной компании, отправился в австралийский рейс. У острова Гарбо пароход встретил «Катти Сарк», шедшую тоже в Сидней. Крутой бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно, сутки за сутками, делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды.

Пассажиры и моряки «Британии» наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее: по неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса…

И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый

быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены. Но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути.

Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. «Катти Сарк» теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу.

Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов «Британии». С мягким шипением воды и гудящим на высоких басах такелажем клипер промчался в двух кабельтовых от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команда, и пассажиры «Британии», высыпавшие на палубу, устроили «Катти Сарк» бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая восемнадцать узлов, оставил пароход позади, несмотря на распоряжение капитана «Британии» увеличить ход до предела. Только один человек на паро-

ходе — один из лучших инженеров пароходной компании — молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца.

— Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение! — отвечал он на вопросы спутников.

Несмотря на то, что пароходная машина в этом рейсе без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. «Катти Сарк» пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера. Но старый Джон Виллис лежал уже под каменной плитой — он не дождался новой победы своей любимицы над пароходами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен: его мечта-ведьма много раз вступала в соревнование с пароходами и побеждала их. И все же пароходный инженер оказался прав…

«КАТТИ САРК» ОБРЕЧЕНА

Лунная ночь чем-то тревожила капитана Вуджета. Атлантический океан был спокоен. Уже шестые сутки пассат гнал клипер ровным, быстрым ходом. Ни единого звука, кроме журчания

воды и гула снастей, не слышно на затихшем корабле. Изредка возглас впередсмотрящего или удары колокола, отбивавшего склянки, и снова молчание теплой, светлой ночи.

Вуджет, сняв фуражку, теребил свои поседевшие, коротко остриженные волосы. Старший помощник заступил на вахту, но капитан не уходил с мостика. Шагая взад и вперед, Вуджет думал.

Решетки настила из крепкого тикового дерева истерты его ногами. Не так уж много осталось до дня, когда он отпразднует пятнадцать лет командования «Катти Сарк». Замечательный клипер по-прежнему крепок; никакой течи в корпусе, никакого износа главного рангоута. Он, капитан, не щадил корабля, выжимая из него невиданную скорость, и в то же время берег корабль, пользуясь слабостью старого Виллиса. Но старик давно уже умер, а наследникам… что им до корабля! «Больше фунтов, шиллингов, пенсов, капитан! Капитан, ваш клипер скоро станет убыточен!»

Вуджет мысленно злобно передразнивал старшего сына Джона Виллиса. Тревога не оставляла моряка, все больше овладевала им. Сознание обреченности «Катти Сарк» проникало в душу и, точно ржавчина, разъедало ее.

Он всего себя отдал кораблю. Отборная команда подбиралась годами. За счет морской выучки и сработанности каждой вахты Вуджету удалось уменьшить против обычной нормы число людей. Но все равно — шестьдесят человек! И девятьсот шестьдесят регистровых тонн. По шестнадцати на человека, на деле и того меньше! Даже большие американские клиперы-скоростники середины столетия были выгоднее. При сотне человек экипажа они обладали средней грузоподъемностью в две тысячи тонн — около двадцати тонн на человека.

Пока в тяжелых морских условиях возили скоростной дорогой груз, клиперы чайного и шерстяного флота были рентабельны. Но что же можно сделать теперь, когда пароходы, точные, как часы, возят по сотне тонн на человека команды, а новые — и по сто пятьдесят… Им не уступают вновь придуманные барки. После того как американцы провалились с постройкой дешевых больших шхун — эти рыскливые суда оказались очень опасными в океане на попутном волнении, — в Европе стали строить большие стальные суда с прямой парусностью, но очень простым такелажем. Марсели разрезали на две части, поставили лебедки, и четыре человека

легко справляются там, где раньше едва хватало десяти. С барком в три, а то и четыре тысячи тонн управляются лишь двадцать четыре человека команды. Скорость, конечно, несравнима с клиперами, дай бог — десять узлов, но ведь сколько есть дешевых, нескоростных грузов: уголь, лес, соль, удобрения, руда!..

Капитан Вуджет был образованным моряком и не мог не понимать назревшую трагедию старых парусников. Уже два года как исчез с австралийских рейсов клипер «Фермопилы», вечный соперник «Катти Сарк». По слухам, он продан куда-то в Канаду, но и там вряд ли продержится. Парусники покупают сейчас на Средиземном море и Зондских островах — в странах, где труд дешев и численность команды на коротких рейсах не имеет большого значения.

Вуджет наклонился и осторожно потрогал рукой отполированное углубление в медной поперечине поручня. Здесь, у этого столбика, он привык стоять в трудные минуты жизни корабля и, упираясь коленом в стойку, встречать лицом к лицу ярость бушующего моря.

«Конечно, они позолотят пилюлю, — вернулся он снова к мыслям о судовладельцах, — но надо смотреть правде в глаза. Песенка моей «Катти»

спета. Боюсь, что они стесняются только славы корабля, но ее хватит еще года на три, не более! Ну, пятнадцать лет отпраздную, а дальше…»

Капитан оказался прав. Невыгодность знаменитого корабля надоела потомкам Джона Виллиса. И в 1895 году британский флаг сняли с «Катти Сарк», с этой гордости английского флота, как пятью годами раньше его сняли с «Фермопил». Оба гордых океанских лебедя, четверть века честно служившие своим хозяевам, были проданы и, в буквальном смысле слова, пошли по рукам. Никому из британцев, занятых только чистоганом, не пришло в голову, что такие совершенные творения мысли и опыта подобны произведениям искусства и принадлежат, в сущности, всему человечеству, как памятники развития его культуры.

Судьба обоих кораблей сложилась по-разному.

В португальском военном флоте тогда были настоящие знатоки. Проследив за «Фермопилами», они приобрели в Канаде этот клипер, уже приспособленный было к перевозкам свежей рыбы. «Фермопилы» вошли в состав португальского военного флота в качестве учебного судна. С таким кораблем моряки могли чувствовать себя в безопасности у родных берегов и в Бис-

кайе, всегда отличавшемся грозными бурями и справедливо прозванном «кладбищем кораблей». Владельцы «Катти Сарк» также продали ее португальцам — фирма Феррейра в Лиссабоне. Если бы они решили отделаться от «Катти Сарк» на полгода раньше, то учебным судном стала бы «Катти», а не «Фермопилы». Вся история нашего клипера стала бы иной.

«Фермопилы» выдерживали шквалы Бискайского залива, бури Средиземного моря и неистовые налеты штормов близ Южной Америки еще двенадцать лет. В 1907 году, когда истекли сроки службы корабля, стала очевидной его дальнейшая непригодность. Связи корпуса расшатались еще за время работы в шерстяном флоте. Постоянная гонка с максимальной парусностью на крупном волнении состарила в конце концов замечательный корабль, и надо лишь удивляться его долгой жизни. Сказалась облегченная в сравнении с «Катти Сарк», частично сосновая, обшивка. Но моряки португальского флота остались верны себе. Они не продали состарившийся клипер на дрова, не превратили его в угольный плашкоут или речную баржу. Португальское адмиралтейство издало специальный приказ: парусник вывели в море и устроили ему морские

похороны перед строем военных судов. Под звуки шопеновского траурного марша украшенный флагами клипер был торпедирован.

Очевидцы рассказывали потом, что день был ослепительно ярок, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой. «Фермопилы» погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки!

Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лиссабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходившие высоко в пасмурное небо клотики столько раз просекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма в предгрозовых ночах… Как

знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего дэкхауза тысячи раз встречавших взгляд капитана за тысячи вахт!

Два клерка, непонимающие и удивленные, ожидали на палубе. Капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика, так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сгорбившись, понурив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачты «Катти Сарк».

Вуджет не показывался из дома несколько дней, пока клипер не исчез из порта…

ПОД ПОРТУГАЛЬСКИМ ФЛАГОМ

После гибели «Фермопил» «Катти Сарк» осталась совсем одинокой, единственной в мире, но и она фактически исчезла для него. Португальский флаг не прибавил ничего нового к прошлой славе клипера. А старая слава забылась, как забывается все в быстром течении жизни, несмотря на усилия людей, особенно власть имущих, удержаться подольше в памяти человечества.

Новые капитаны неплохо обращались с ко-

раблем. Память прошлой любви и тугой кошель давно умершего Джона Виллиса продолжали играть свою роль — тяжелый железный набор и тиковая обшивка «Катти Сарк» сделали ее корпус несокрушимым. Годы шли, а клипер продолжал плавать без малейшей течи. Разразилась первая мировая война. «Катти Сарк», проданная и забытая своим отечеством, снова начала служить Англии, войдя в состав торгового флота союзников как одна из самых незаметных и незначительных единиц. Скромные перевозки английского угля на юг Франции, в Италию и Гибралтар стали уделом старого парусника.

В один из холодных дней поздней осени 1915 года клипер шел из Лиссабона к западным берегам Англии. Дождь, моросивший из низких туч, подхватывался резким ветром. Серое, взъерошенное море сливалось с таким же серым горизонтом. Темное небо опускалось все ниже на побелевшую от вспененных гребешков волну. Барометр предвещал сильную бурю. Но капитан клипера и его совладелец — один из молодых родственников известных в Лиссабоне судовладельцев Феррейра — был отважным моряком. Раскачиваясь под глухо зарифленным фоком, верхними марселями и брамселями, «Катти Сарк», сохра-

нившая прежнюю резвость юной ведьмы и под новым благочестивым именем, шла тринадцатиузловым ходом. Съежились у вант вахтенные, посинел на мостике офицер. Все мечтали о конце вахты и кружке горячего кофе. До зоны плавающих мин было еще далеко, и капитан клипера Феррейра мирно спал в той самой каюте, в которой провел такой большой кусок жизни капитан Вуджет.

Гулкие раскаты прогремели впереди слева, там, где смыкалась узкая щель между тучами и морем. Баковый матрос закричал, что видит отблески огней. Вахтенный помощник разбудил капитана. Тот, позевывая, вышел на палубу, но сумрачное море молчало. Капитан, постояв на мостике с полчаса, озябнув и кляня помощника, направился в каюту, но был остановлен криком вахтенного:

— Судно слева по носу!

То, что предстало спустя некоторое время его глазам, мало походило на судно. Из моря торчала высокая башня, ржаво-красная, черно-белая. Она высилась над водой неподвижно, пугая своей необычностью. Это тонул кормой большой пароход, став среди моря почти вертикально. Множество обломков плавало вокруг, появляясь

и снова исчезая в волнах, по которым все шире расползалась радужная пленка масла.

Изменив курс, клипер подошел к гибнущему великану. Передняя мачта парохода тонким крестом нависла на уровне верхних рей парусника. В проходах между спардеком и носовой палубой, на передней стене салона и ходовой рубки сгрудились люди, казавшиеся на белой краске скопищем черных мух. Некоторые в страхе цеплялись за лебедки, горловины люков, грузовые стрелы — за все выступы носовой палубы, стоявшей отвесно. Среди волн плавали четыре опрокинутые шлюпки, много белых досок, весел, донных решеток.

Холодный ветер выл над бурным морем, и волны тяжело и глухо шлепали о подножие страшной башни. У переднего выреза фальшборта появился моряк с рупором в руке: немецкая подводная лодка торпедировала пароход, кормовое орудие которого успело несколько раз выстрелить и, по-видимому, повредило перископ. Обозленная сопротивлением субмарина всплыла и расстреляла все шлюпки, которые удалось спустить до того, как крен корабля стал так велик. Положение судна безнадежно, хотя погружение приостановилось, должно быть, в

носовой части образовалась воздушная подушка.

Капитан Феррейра стоял на мостике, задрав вверх голову, и чувствовал, что сотни глаз следят за ним. Для всех погибавших он явился избавителем от страшной участи, и не было на свете корабля благословеннее его клипера.

— Сколько людей на корабле? — не теряя времени крикнул капитан в рупор и с ужасом услыхал, что осталось не меньше тысячи.

Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять всех немыслимо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе самое большое семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много места. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи. А ветер все крепчает, и пароход может затонуть в любую минуту — как только сдаст главная передняя переборка…

Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув реи по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейра стал медленно

осаживать корабль боком по ветру. Затаив дыхание, обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером… Вот корма его коснулась борта парохода — там уже висели приготовленные кранцы и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонущего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По четкой команде экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых: транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным ни казалось это предприятие — спускать почти беспомощных людей с высоты отвесно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник, — но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе «Катти Сарк». Все раненые были переправлены до последнего человека. Остава-

лись здоровые.

— Капитан, сколько еще сможете принять? — раздался сверху сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуацией парохода.

— Еще на палубу, — хрипло выдавил Феррейра, — человек двести…

Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу.

— В первую очередь идут молодые! — крикнул он не допускавшим возражения голосом.

Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди выстраивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусников и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всем, но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнущего парохода послышалось глухое урчанье. Громадный корпус вздрогнул и как будто стал погружаться в пучину.

— Отваливайте, капитан! Да сохранит вас бог

за ваше мужество! — прогремел голос полковника. — «Ура» в честь капитана и его корабля!..

Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно призрак, клипер начал удаляться от парохода. Спасенные стояли у борта «Катти Сарк», не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду.

Торчавшая из моря башня скрылась за кильватерной струей парусника, и нельзя было решить — погрузился ли несчастный пароход или еще на плаву скрылся в туманной дали...

Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратимо. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка — перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его сметливости и отваги.

— Все наверх! — закричал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить!..

Почуяв беду, команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у

стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из волн вынырнула рубка, затем продолговатый корпус.

Плотно сбившиеся на палубе клипера люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крейсеров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть подступала вплотную — и нервы людей начали сдавать. Толпа загудела и заколыхалась.

— Молчать, стоять по местам! — взревел Феррейра по-английски и добавил спокойнее: — Если хотите спасти свои шкуры…

Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом.

— Реи обрасопить на левый галс! Руль — два шлага под ветер! — звучали резкие слова команды.

Клипер начал терять ход, и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться. Тем временем на подводной лодке открылись люки.

Из переднего показалось длинное орудие — стопятидесятимиллиметровая дальнобойная пушка; из рубки высунулся ствол пулемета. Сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля, никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе!

Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со злорадством заметил, как артиллеристы у орудия скользили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек. Кусая губы, Феррейра не замечал, что громко говорит сам с собой.

— Еще минуту, минуту, минуту!.. — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания.

Клипер вздрогнул, покачнулся; огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды встал справа от клипера, с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову.

— Капитан, они приказывают остановиться! — выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий

голос.

— Молчать, смирно! — яростно рявкнул Феррейра. — У меня шлюпок на пятьдесят человек!.. Эй, ложись на палубу!

Команда пришлась кстати. Клипер набирал ход, и с субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад, рухнувший на палубу. Еще!..

Минуты «Катти Сарк» были сочтены. Но тут… будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев — и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины.

— Руль прямо! Прямо руль!! — кричал капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра силились перебросить его через перила.

Только «Катти Сарк» могла выйти из такого крена, и она сделала это.

Подхваченный бурей, клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот… Мимо!

«Сейчас перестанут стрелять…» — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде

чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву.

Клипер гордой беспомощной птицей летел по волнам, распустив все свои белые крылья словно в предсмертном порыве. Два шестидюймовых снаряда вылетели вдогонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал, смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей и треск дерева. Но вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. «Катти Сарк», кренясь, продолжала мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейра хотел встать, но не смог и застонал от своей беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с бакштага на фордевинд. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи — бурный океан взял клипер под крепкую защиту.

Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения. Но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые, слабые звуки. А корабль тем временем

продолжал нестись на крыльях бури. Прочные стеньги гнулись, а стальные растяжки — фордуны — начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном.

Пока ошалевший от событий помощник начал распоряжаться, ряд последовательных страшных рывков потряс клипер. Капитан Феррейра, умирая, уже ничего не почувствовал. Славный моряк мог не беспокоиться: «Катти Сарк» выдержала испытание моря, а снаряды врага пощадили ее. Только, как в первую гонку с «Фермопилами» — сорок пять лет назад, — клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целости свой груз человеческих жизней.

«КАТТИ САРК» — БАРКЕНТИНА

Гибель капитана Феррейры повернула судьбу «Катти». Еще раз проданный, еще дешевле, клипер попал в плохие руки.

Весной 1916 года в Бискайском заливе разразился шторм, сильный даже для этого котла бурь. «Катти Сарк», в третий раз переименованная, шла из Англии с обычным грузом угля. Испугавшись дикой ярости шторма, шкипер решил

повернуть на фордевинд и удрать от урагана. Ленивая, собранная из случайных бродяг команда ненавидела работу со снастями, точно брасы, топенанты и шкоты были личными врагами каждого матроса. Перед грозной опасностью вместо слаженных и самоотверженных усилий матросы сыпали замысловатые ругательства, а иногда вместе с капитаном призывали Иисуса Христа и деву Марию. Поворот недопустимо замедлился, и ураган сильно накренил клипер. Экипаж еще больше растерялся и упустил время.

«Катти Сарк» поднялась бы из крена, но сместился груз угля, и клипер повалился на борт. Оставалось срубить мачты — те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь такелаж. Корабль немного выпрямился.

Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но клипер и без мачт, повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лиссабона с временной фок-мачтой.

Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут «Катти Сарк», не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для

новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля требовала многолюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было, и вот лучший клипер мира стал баркентиной. Иначе говоря, фок-мачту оставили с прямой парусностью, а грот- и бизань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. «Катти Сарк», превращенная в баркентину, переименованная в четвертый раз, запущенная и пестро раскрашенная, утратила поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимая сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи.

Исполнилось пятьдесят три года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то не ремонтировавшаяся с давних времен палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.

ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ

В сентябре 1922 года «Катти Сарк» вернулась в Фальмут, с тем чтобы навсегда остаться в Англии.

Капитан Доумэн израсходовал все свои сбережения, чтобы выкупить и восстановить «Катти Сарк». Приобретение мачт и рей было последним усилием старого капитана. Но начатое им дело не остановилось. Был начат сбор средств на такелаж; каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для знаменитого корабля: хоть бухту троса, хоть несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег — помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно вырастали громадные мачты.

Так простые люди Англии, сознававшие, что сохранение лучшего корабля страны, всем обязанной морю, является делом национальной чести, сберегли «Катти Сарк». Аристократы, столь ревниво оберегающие традиции своей родины, когда эти традиции касаются их собственных привилегий, забыли о реликвии английского флота. Забыли о ней и те богачи, состояния которых были добыты трудами тысяч безвестных моряков и славных кораблей. Но простые моряки, не заслужившие чинов и орденов, понимали ценность народного труда и бережно отнеслись к одному из лучших воплощений гения и рук английского народа. Их соединенные усилия

воскресили корабль.

Капитан Доумэн наконец дождался исполнения своей полувековой мечты. Открытое море приняло возрожденный клипер. Корабль семидесятилетнего возраста оставался почти прежним, созданным для бега взапуски с ветрами морей.

Но глухая тоска не покидала капитана Доумэна с того момента, когда берега скрылись за простором моря и океанская зыбь стала привычно качать «Катти Сарк».

На мостике, крепко вросши ногами в настил, стоял капитан-командир и владелец лучшего клипера его страны, да что там… всего мира. Что же нет настоящей радости исполнения заветной мечты? Скорее, беспричинная грусть, какая-то жалость к самому себе одолевают его!

Доумэн почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он вытянулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн в борта. Семьдесят лет волны всех морей бьются в борта «Катти Сарк», на корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумэн, тоже оставит здесь какую-то частицу себя и тоже уйдет в прошлое…

«Прошлое! Вот в чем разгадка этой печали», — продолжал думать Доумэн. Его мечта родилась

давно и вся принадлежит прошлому — отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и… его самого!

Но жить прошлым нельзя! Разве может он сейчас, одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперниками в трехмесячном рейсе? Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов в десятки тысяч тонн грузоподъемности! Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, выйдя на состязание с современностью. Ведьма «Катти Сарк» была создана для важных дел, но значение их давно умерло, и нелепы попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но клипер еще не умер — он может учить! Он, Доумэн, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели — учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, которые может дать только парусное плавание.

Капитан Доумэн присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удовольствием. Докурив, Доумэн вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его

ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвевал отяжелевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумэн приказал повернуть на обратный курс.

ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ «КАТТИ САРК»

Даниил Алексеевич окончил чтение своей рукописи, вытер платком лицо и попросил чаю покрепче. Его гости и слушатели продолжали сидеть, будто ожидая еще чего-то.

— Я кончил! — пробурчал старый капитан и, сам взволнованный, сурово нахмурился.

После минутного молчания гости заговорили, перебивая друг друга:

— А дальше, что же дальше? Ведь вы довели рассказ до тридцать девятого года, а сейчас пятьдесят девятый. Где теперь «Катти Сарк»? Ведь еще двадцать лет прошло!

— Я был в Лондоне в 1952 году и видел ее стоявшей на Темзе у Гринхита рядом со старым «Уорчестером». Этот двухпалубный военный корабль был учебным судном морских кадетов и практикантов торгового флота, а подаренная

вдовой Доумэна «Катти Сарк» вспомогательным. Затем в качестве учебного судна куплен «Эксмут». А оба старых ветерана остались плавучими памятниками. Дерево на «Катти» выветрилось, краска облезла и облупилась — восемьдесят три года службы! Не было еще корабля в истории флота, который плавал бы — и как плавал! — почти столетие!

— Даниил Алексеевич! — чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. — Неужели нельзя уберечь «Катти Сарк» от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это…

Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию:

— Погодите немного! — Он порылся в столе, извлек несколько английских газет и два номера журнала «Судостроительные и морского флота сообщения». — Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клэрнс Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председательством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров длины и шесть метров глубины, близ

королевского Морского колледжа в Гринвиче. «Катти Сарк» теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура, но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нэн Короткая Рубашка. Теперь наконец англичане не рассчитывают больше на старых чудаков-капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно.

Найдены подлинные доказательства первоначального устройства рангоута «Катти Сарк». Основные факты взяты из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов». Некоторые дополнения даны Монгриффом Скоттом из Дисса в Норфольке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса — владельца «Катти Сарк». На картине клипер показан под всеми парусами, что прямо-таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения.

Из трех тысяч листов металла Мюнца, которыми обшита подводная часть корабля, около шестисот потребовали замены. Вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой, на что потребовалось

особое научное изыскание.

Проволочные канаты стоячего такелажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, — которому придан цвет слабо просмоленной пеньки. Из этого волокна специально для «Катти Сарк» приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на пятьдесят метров над стенами дока, а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов… Одно мне не нравится — стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный павильон — не так уж сложно это теперь, при современной технике. Тогда и только тогда клипер сохранился бы на вечные времена… — Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова:

— Последнее мое впечатление о «Катти» было… как бы это сказать… странным. Может быть, я не сумею его выразить. В последнюю поездку мне пришлось сначала осмотреть новый лайнер «Гималайя», только что пришедший из Австра-

лии, а потом уже ехать в Гринвич к «Катти Сарк». Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика «Гималайи», размером чуть не во всю палубу «Катти Сарк», знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами.

В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком — всего не перечислишь! Великан шутя справлялся с «Ревущими сороковыми» и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцать пять узлов.

Я любовался и восхищался красавцем лайнером — детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии.

Но обветшалый, маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с «Гималайей». Больше того, взгляд на «Катти Сарк» будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты, такелаж,

магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то… корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт нисколько не менее уверенно, чем его колоссальный электроход — потомок. А скорость в тридцать семь километров в час, достигнутая парусами сто лет назад, вовсе не убога перед пятьюдесятью километрами, выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил.

И вот на набережной Гринвича я закрывал глаза, силясь мысленно представить себе оба эти корабля в океане. И, как много лет назад Джон Виллис при виде клипера «Джемс Бэйн», я почувствовал в лайнере «Гималайя» то же яростное вспарывание океана, теперь еще более подчеркнутое высотой корабля и защитой тысячесильных машин. При всей своей мощи это не было искусство. Вместо единого ритма почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком «танце на волнах», мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достигалась путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого…

Тогда я понял, что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля… и

что это слово не будет сверхгигантом-лайнером!

Мне думается, что понять законы стихий — это знание, а овладение этими силами, подчинение их — это искусство! И в нашем веке искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время «Катти Сарк»... Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только... Человеческая мысль, экономика, техника развиваются, как бы это сказать, рейсами, что ли, этапами.

И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу, плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!.. Вот почему я думаю, что англичане должны построить еще и крышу над сухим доком «Катти Сарк», — закончил свою речь практичный капитан.

Он с размаху опустился в кресло, с минуту ожесточенно грыз мундштук и воскликнул:

— А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться!

— Отчего же грустно? — спросил кто-то.

— Я написал стихи и отвечу ими:

Но это сон… Волны веселой пену
Давным-давно не режут клипера.
И парусам давно несут на смену
Дым тысяч труб соленые ветра!..

Что поделать — в этом наша молодость!..

В. Дыгало
ТАК ПОВЕЛОСЬ НА ФЛОТЕ
(Очерк)

Обычай помещать памятный знак в основание корабля в начале его строительства заимствован, видимо, из древнего обычая закладки монет в фундамент строившихся зданий.

Во все времена закладка корабля была большим событием в жизни не только флота, но и всего государства. Своеобразный праздник моряков и корабелов сопровождался торжественным церемониалом в присутствии высокопоставленных особ, во время которого в основной элемент корабельного корпуса — киль вкладывалась специальная «закладная доска». Этот момент считался началом строительства.

Пока не удалось точно установить, когда и кем в русском флоте положено начало подобному церемониалу. Самой древней в коллекции Центрального военно-морского музея (ЦВММ) является доска брига «Феникс», на котором выгравирован 1809 год.

Иногда вместо доски в киль корабля закла-

дывали монеты, отчеканенные в год начала постройки корабля. Когда в прошлом веке строили Ревельский порт, на дне гавани обнаружили остатки затонувшего судна. Из его киля была извлечена золотая монета времен Екатерины II. Случай этот не единственный. В октябре 1877 года при разборке парохода «Курьер», заложенного в Санкт-Петербурге на заводе Берда в 1856 году, «штатной доски» в киле тоже не оказалось. Вместо нее была найдена медная монета. Возможно, именно поэтому закладная доска брига «Феникс» круглой формы и по своему виду напоминает большую монету.

Большая часть закладных досок, хранящихся в Центральном военно-морском музее — это повторные экземпляры, то есть копии с тех досок, которые фактически помещались в киль кораблей. Они сохранились потому, что их вручали в качестве сувенира высокопоставленным лицам, присутствовавшим на церемонии закладки корабля.

Историческая значимость закладных досок несомненна. По существу они являются своеобразными памятниками кораблям отечественного флота. В то же время это исторический документ, свидетельствующий о времени и месте закладки

корабля или судна, о его строителе.

На заводе-строителе после сдачи корабля заказчику в его музее или на почетном месте устанавливали фирменную (заводскую) доску, которая не является закладной доской.

Вначале закладные доски делали из меди, латуни или железа. Потом появились позолоченные, посеребренные и даже серебряные доски. Из благородных металлов, как правило, делали копии, вручавшиеся особам императорской фамилии.

Формы досок, представленных в коллекции Центрального военно-морского музея, самые различные: овальные, круглые, прямоугольные, фигурные… Есть доски литые, кованые, резные.

Хотя коллекция ЦВММ далеко не полная, но она дает возможность во многом проследить историю развития отечественного флота.

Большой интерес вызывают закладные доски кораблей, непосредственно участвовавших в Октябрьской революции: легендарной «Авроры», линейного корабля «Заря свободы», эскадренного миноносца «Забияка», минного заградителя «Амур», учебного судна «Верный», яхты «Полярная Звезда».

Особую группу составляют закладные доски кораблей — участников Великой Отечественной

войны. В нее входят доски гвардейского минного заградителя «Марти» («Ока»), крейсеров «Красный Кавказ» («Адмирал Лазарев»), «Красный Крым» («Светлана»), Краснознаменного эскадренного миноносца «Незаможник» («Занте») и другие.

Как бы открывая новую страницу в истории отечественного судостроения, в коллекции музея хранится копия закладной доски первого атомного ледокола «Ленин».

Почему же эти реликвии носят название «доска»?

Ведь доска — понятие, главным образом связанное с деревом. Объяснить это можно тем, что в XII—XIII веках некоторые официальные записи делали на деревянных досках. В музеях сохранились дубовые доски с надписями и от более поздних времен. Например, XVII века. Доски в Древней Руси служили переплетом рукописей («книги в досках»). В церковных «Памятниках отечественной литературы» Тихонравова упоминаются «Доски опочаные», то есть каменные, положенные на алтарь при закладке храмов. Не исключено, что в давние времена какие-то отметки (записи) о строительстве судна делали и на деревянных досках. Эти доски закрепляли

(закладывали) в каком-то определенном месте, наиболее вероятно — в районе среднего шпангоута, ближе к центру судна. В дальнейшем, чтобы продлить «жизнь» этому своеобразному документу, их начали изготовлять из более прочного и долговечного материала — металла, сохранив прежнее название «доска».

СПУСК И «КРЕЩЕНИЕ» КОРАБЛЯ

После закладки корабля проходят месяцы, и наконец наступает день, когда огромную махину, вроде бы и незаметно сложившуюся из отдельных частей, больше нельзя держать на суше — ее надо спускать на воду. Да и на стапеле пора освобождать место для следующего корабля, а спущенный будет достраиваться на плаву в достроечном бассейне завода.

Спуск судна одно из самых радостных событий на верфи, когда труд многих людей: конструкторов и проектировщиков, сварщиков и судосборщиков, механиков и монтажников, маляров и отделочников и других специалистов — воплощен в плавучем инженерном сооружении — корабле.

Одновременно спуск судна это и один из самых ответственных моментов: ведь строителям пред-

стоит спустить на воду сооружение весом иногда в несколько десятков тысяч тонн и высотой с многоэтажный дом; и сделать это нужно быстро, не нанеся вреда ни кораблю, ни людям…

Практикуется несколько способов спуска судна:

при помощи всплытия, когда судно строится на стапеле в наливном доке;

при помощи механизмов, спускающих суда на слипе, или переноса мощными кранами небольших судов со стапеля на воду;

при помощи спускового устройства, на котором судно под воздействием собственной тяжести спускается с наклонного стапеля на воду.

Слип — это механическое устройство, состоящее из нескольких параллельных рельсов, наклонно проложенных на близком друг от друга расстоянии в направлении от стапеля к воде. По рельсам движутся тележки, поднимаемые и спускаемые на цепях или стальных тросах. Подъем и спуск судна осуществляется носом или кормой вперед (продольный слип) или боком (поперечный слип).

Стапель — прибрежное сооружение на верфи в виде площадки, на которой строятся суда. Конструкция и размеры стапеля, а также величина

наклона площадки к воде зависят от размера судов, которые на нем строятся. Для больших судов и кораблей стапель — железобетонная площадка на бетонных глубоко забитых в землю сваях. Это сооружение постоянное, на нем после спуска одного судна закладывается другое. Продольный стапель, на котором обычно строятся суда большого размера, имеет два так называемых спусковых фундамента. Между спусковыми фундаментами на равном расстоянии от них устанавливают стапель-блоки, на которые опирается киль строящегося судна. Стапель-блоки представляют собой уложенные друг на друга короткие дубовые брусья, соединенные между собою деревянными раскосинами и болтами. Для удобства работы под днищем стапель-блоки делают высотой около 1,5 метра. Затем начинают сооружать спусковое устройство с таким расчетом, чтобы оно было готово одновременно с судном. На параллельно расположенные спусковые фундаменты настилают две деревянные спусковые дорожки с расстоянием друг от друга около 1/3 ширины судна. Обе дорожки, как и спусковой фундамент, начинаются на стапеле, а затем продолжаются и под водой с таким расчетом, чтобы судно всплыло прежде, чем пройдет

всю их длину.

На спусковые дорожки укладывают скрепленные между собой деревянные полозья, образующие спусковые салазки, а по бокам от них — спусковые рыбины, не дающие салазкам съехать в сторону. На салазках перед спуском и лежит судно.

Перед спуском судна все лишнее со стапеля убирают. Корабль держится только на кормовых, носовых упорах и на задержнике.

Если их убрать, то судно под собственной тяжестью начнет движение вниз по стапелю. Чтобы уменьшить сопротивление трения, деревянные спусковые дорожки смазывают специальными составами.

В былые времена для этого на стапеля к моменту спуска корабля с жироварен поставлялось специально перетопленное баранье сало (его считали наиболее подходящим для этой цели). На «насаливание» спусковых деревянных дорожек уходило по нескольку тонн этого жира. Так, для спуска на воду броненосца «Александр III» пришлось убить 5000 баранов. Затем от подобного «жертвоприношения» отказались, жир заменили минеральными насалками, смесями нефтепродуктов — парафина, вазелина, петролатума,

церезина.

В последнее время спусковые дорожки стали выстилать щитами, изготовленными из специальной пластмассовой композиции, основой которой служит синтетический пластик — полиэтилен. Скольжение и сход судна по ним происходит спокойнее и безопаснее, а трудоемкость укладки и стоимость их изготовления намного ниже.

Продольный спуск осуществляется обычно кормой вперед, так как корма имеет более полные обводы и, следовательно, большую плавучесть, чем нос, что предохраняет судно от зарывания в воду.

И вот наступает момент, который ждали все создатели судна. Директор верфи приказывает: «Отдать кормовые упоры! Отдать носовые упоры!» И наконец: «Руби задержник!» (правда, теперь его не рубят, а режут автогеном). Спусковые салазки освобождаются, и судно очень медленно начинает движение, и в этот момент одна из гостий — «крестная мать» новорожденного корабля — разбивает о форштевень бутылку шампанского.

Стальная громада плавно скользит по спусковой дорожке, все набирая скорость, и вот уже она

врезается в водную гладь ковша — так корабелы называют акваторию у верфи.

Едва судно спустится на воду и пройдет небольшое расстояние, с него отдают большие адмиралтейские якоря, перерубая тросы, на которых они были подвешены за бортом. Таким образом судно останавливают и затем отбуксировывают к заводскому причалу для окончательной достройки.

Этот день строители считают своим праздником и днем «крещения» спущенного судна.

Обряд крещения — одна из древнейших морских традиций.

Первое его описание было обнаружено в египетских папирусах. Оно относится 2100 году до н. э. Это был, если можно так выразиться, отчет о спуске на Нил корабля фараона.

На протяжении тысячелетий обряд крещения носил религиозный характер. Его целью было заслужить покровительство богов. Считалось, что наиболее эффективно можно задобрить богов, принеся им в жертву человека.

Викинги при спуске своих кораблей в качестве жертвоприношения укладывали невольников под килем. Чем сильнее были рабы и чем лучше они были сложены, тем на большее расположе-

ние богов можно было надеяться.

На островах Западного и Восточного Самоа после спуска пироги на воду нескольких пленников бросали за борт на съедение акулам. Считалось, что задобренные таким образом хищники в дальнейшем не тронут тех, кто будет на этой пироге плавать.

Финикийцы и народы Востока кропили борта судна кровью только что заколотых красивых девушек-рабынь.

Римляне при спуске своих судов приносили в жертву взятых ими в плен пиратов.

Более гуманными были греки, которые, правда, тоже использовали для обряда крещения кровь, но не человеческую, а кровь молодого барашка.

По мере изменения нравов менялся и характер крещения. Но еще долго преследовалась все та же цель — снискать расположение богов, властвующих над стихией.

В средневековье неизменным атрибутом крещения сделалось вино. Им щедро кропилась палуба судна перед выходом в первый рейс. Именно так крестили суда, участвовавшие в плавании Христофора Колумба. Вероятно, на «Санта-Марию» пожалели хорошего вина. Как известно, она трагически закончила свою жизнь.

В церемониях крещения зачастую участвовали высокопоставленные государственные и церковные деятели. Хроники сообщают, например, что в 1418 году в Саутгемптоне (Англия) королевский корабль крестил епископ. За это он получил 5 фунтов стерлингов.

Обряд крещения судна обставлялся весьма пышно. Королевский сановник произносил тост за благополучие корабля. Ему преподносили вино в золотом кубке. Затем этот кубок выбрасывали за борт.

В конце XVII века выбрасывать драгоценные кубки за борт прекратили. Установился обычай разбивать о форштевень спускаемого на воду судна бутылки с вином. Эта церемония сохранилась до наших дней, по примеру Франции для этой цели стали использовать благородный напиток — шампанское.

«Плыви по морям и океанам, славь имя кораблестроителя и моряка, я нарекаю тебя…» — такова традиционная формула крещения спускаемого со стапелей нового судна. О форштевень корабля разбивают бутылку шампанского, громко произнося: «Крещу тебя». Это делает обязательно женщина, «крестная мать новорожденного». Она считается почетным членом экипажа и пользует-

ся правом бесплатного проезда на «своем» судне.

В русском Императорском флоте при спуске корабля служили торжественный молебен в присутствии высокопоставленных духовных лиц, государственных сановников, иногда в присутствии царя или членов императорской семьи. Во время молебна судно и поднятые на нем флаги — Императорский Штандарт, кормовой Андреевский флаг и гюйс окроплялись «святой» водой и под звуки национального гимна и салюта с судов рубили последний задержник. Торжество заканчивалось парадным завтраком. Имя кораблю давали раньше.

В арабских странах для этой цели применяли «священную» воду из Мекки, в Турции — дождевую воду, в Вест-Индии — сок ананасов.

История крещения судов при спуске на воду хранит немало забавных страниц. Во время «сухого закона» в США суда тоже крестили водой. Американский военный корабль «Конститьюшн» был окрещен водой и, «обидевшись», «не пожелал» после такого убогого торжества сойти со стапеля: потребовался дополнительный толчок.

Бывало и так. Датский транспорт, предназначенный для плавания в арктических водах, был окрещен глыбой льда, а одно из американских

судов — мороженым. Для этих целей использовали даже… молоко. В Индии «крестная мать» разбивает о борт судна… кокосовый орех. Это и понятно: пальму на берегах теплых морей называют деревом исполненных желаний. Ее орехи, сок, побеги, копра кормят, поят, одевают людей и даже лечат от многих заболеваний.

Живет пальма до ста лет и все время плодоносит. Через каждые сорок дней на ней вызревает новая гроздь орехов. Не удивительно, что кокосовым орехом — этим символом благополучия, долголетия и процветания — в знак удачи провожают в дальний путь каждый новый индийский корабль.

В некоторых странах танкеры крестят нефтью, рыболовные суда — рыбьим жиром.

В Японии судно украшают множеством цветных лент и воздушными шарами и в момент спуска корабля на воду освобождают из неволи птиц.

…Идут голубыми дорогами корабли. Океанские волны давно смыли с форштевней следы их крещения.

Но в памяти строителей и присутствующих на торжестве людей навсегда останется день спуска судна на воду или, как принято говорить у кора-

белов, его «крещение».

ИМЯ КОРАБЛЯ

В недавнем прошлом большинство судовладельцев называли суда именем, которое просто приходило им в голову. Это достаточно ярко видно из истории волжского пароходства. Какими только именами не назывались суда на Волге: «Ямщик», «Слуга покорный», «Червячок», «Ай-люли», «Котенок»... В некоторых названиях отражались амбиции судовладельцев. К примеру, купец Бугров все реки Нижегородского края считал своей личной собственностью, что и было засвидетельствовано в названиях двух его пароходов «Сейма Бугрова» и «Линда Бугрова»[24]. «Ра» — бог солнца у древних египтян, но «Ра» — это и название Волги у древнейших народов, которым и вздумал назвать судно один из нижегородских судовладельцев...

Правления крупных обществ поступали при выборе имен для своих судов солидно: наиболее крупным по тем временам пароходам они давали имена выдающихся государственных деятелей

---

[24] Примечания: 24
Две небольшие речки в бассейне Волги.

и полководцев, а также мифологических героев. Ряд судов был удостоен названий драгоценных камней: «Алмаз», «Изумруд», «Жемчуг», «Бриллиант»…

Имена боевым кораблям в России давали и в честь святых, как например, «Св. Петр», «Св. Иоанн Богослов». Так, эскадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова при сражении с турками у мыса Калиакрия почти сплошь состояла из кораблей, названных именами святых (15 из 17). Позже более популярными стали имена из мифологии и сказок: «Чародейка», «Русалка», «Аврора» — или в честь удельных князей: «Аскольд», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», а с конца прошлого столетия кораблям начали давать имена в честь побед русского оружия и адмиралов.

В начале XX века эта традиция особенно укоренилась. Большие линейные корабли стали называть в честь славных морских побед: «Полтава», «Гангут», «Кинбурн»; легкие крейсеры — именами адмиралов: «Ушаков», «Нахимов», «Макаров»; эскадренные миноносцы — в честь малых морских побед: «Керчь», «Калиакрия», «Гаджи-Бей» — или в честь отличившихся в боях офицеров.

Имена кораблей «Азов» и «Меркурий» за особые

боевые заслуги сохранялись на флоте постоянно. Было предписано иметь на флоте всегда два корабля с названиями «Память Азова» и «Память Меркурия» с присвоением этим судам Георгиевского Андреевского флага и вымпела. Эта традиция сохраняется и ныне. Боевой ракетный корабль с именем «Азов» под Военно-Морским флагом СССР несет свою нелегкую службу на просторах морей и океанов.

После Великой Октябрьской социалистической революции часть кораблей Военно-Морского флота была переименовала. Им были присвоены имена в духе того времени: «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Свободная Россия», «Коминтерн», «Профинтерн»… А позже корабли стали называть именами выдающихся советских деятелей: «Яков Свердлов», «Дзержинский», «Железняков»…

Традиционным в Русском и Советском флоте является имя Москвы на бортах кораблей. И это неудивительно: Москва — столица нашей Родины.

Со времени создания регулярного флота в России имя «Москва» носило более 20 кораблей и судов различных классов. Впервые его присвоили 64-пушечному линейному кораблю, заложенно-

му в Санкт-Петербурге в 1712 году и спущенному на воду в 1715 году.

Следующие три корабля, построенные в Архангельске с тем же наименованием, служили русскому флоту с 1750 по 1758 год, с 1758 по 1771 год и с 1799 по 1809 год. Всего же до 1860 года насчитывалось девять кораблей с именем древней столицы.

В июле 1878 года в состав русского военного флота вошел крейсер первого ранга «Москва», переоборудованный из парохода, купленного на пожертвования населения. Вскоре он был передан Добровольному флоту[25]. Впоследствии там же находилось еще два корабля с этим именем.

Первым советским кораблем, удостоенным имени «Москва», 18 апреля 1919 года стала плавбатарея ПБ-1 Северодвинской военной флотилии. Кроме нее, в гражданской войне участвовали и другие корабли с тем же или родственным именем. Например, эсминец «Московитянин» был участником Ледового похода 1918 года, а позже его перевели на Астрахано-Каспийскую флотилию, в составе которой он успешно громил белогвардейцев на Каспии.

---

[25] Примечания: 25

Добровольный флот — русское пароходное общество, организованное в 70-х годах XIX века с целью оказания поддержки военному флоту.

Название «Москва» с честью носил лидер эсминцев Черноморского флота, построенный в 1937 году.

26 июня 1941 года отряд легких сил Черноморского флота в составе лидеров «Москва» и «Харьков» под прикрытием крейсера «Ворошилов» и двух эсминцев обстрелял Констанцу. Выполнив боевую задачу, лидер «Москва» на отходе подорвался на мине. Даже в эти трагические минуты его экипаж самоотверженно сражался с врагом: артиллеристы-зенитчики вели огонь по фашистским самолетам до тех пор, пока волны не сомкнулись над кораблем-героем.

Соблюдая преемственность, принял на Черноморском флоте эстафету славных дел противолодочный крейсер «Москва». Этот современный корабль, оснащенный новейшей техникой, видели на многих морях и океанах. Его экипаж бережно хранит память о лидере «Москва», чье имя унаследовал.

СЛОВАРЬ некоторых морских терминов, встречающихся в тексте сборника

АВИЗО — военные корабли, предназначавшиеся для разведки и посыльной службы.

АКСИОМЕТР — прибор, показывающий положение руля относительно диаметральной плоскости корабля в градусах.

АЛАСЫ — плоские понижения, покрытые лугово-степной растительностью.

АНКЕРОК — деревянный бочонок вместимостью от 16 до 50 л, служащий для хранения питьевой воды на шлюпках.

БАКШТАГ — курс парусного судна, при котором его диаметральная плоскость составляет с линией ветра угол более 90° и менее 180°.

БАЛЛЕР РУЛЯ — ось вращения руля.

БАНКА — доска для сидения гребцов, а также для придания шлюпке поперечной прочности. Другое значение — мель.

БАГЕРМЕЙСТЕР (багермайстер) — начальник морского или речного дноуглубительного снаря-

да. На речном транспорте багермейстера чаще называют командиром земснаряда.

БАДАРАН — просос, окошко в болотистых местах.

БЕЙДЕВИНД — курс парусного судна против ветра.

БИЗАНЬ-МАЧТА — третья мачта, считая с носа.

БИРЕМА — гребной военный корабль в Древней Греции и Риме с двумя рядами весел.

БОМ-БРАМСЕЛЬ — прямой парус, ставящийся на бом-брам-стеньге выше брамселя.

БОМ-БРАМ-СТЕНЬГА — рангоутное дерево, установленное вертикально выше брам-стеньги.

БПК — большой противолодочный корабль.

БРАМ-СТЕНЬГА — рангоутное дерево, являющееся продолжением стеньги и идущее вверх от нее.

БРАМСЕЛЬ — прямой парус, поднимаемый на брам-стеньге над марселем.

БРАНДВАХТА — судно, поставленное в гавани на рейде для наблюдения за движением судов и особенно за входом на рейд и выходом из него.

БРОНЯШКА (жарг.) — толстая металлическая круглая крышка для закрывания иллюминаторов в боевой обстановке.

БОЦМАНМАТ — звание строевого унтер-офице-

ра в царском флоте. Соответствует нынешнему званию старшина первой статьи.

ВАНТЫ — снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются мачты, стеньги и брам-стеньги с боков.

ВАНТ-ПУТЕНСЫ, — железные цепи, полосы или прутья, проходящие снаружи борта парусного судна, к верхним концам которых иногда крепятся юверсы вант и стень-фордунов.

ВЕЛЬБОТ ШЕСТИВЕСЕЛЬНЫЙ — легкая, относительно узкая, быстроходная мореходная шлюпка, у которой кормовые обводы почти такие же острые, как и носовые.

ВМУЗы — военно-морские учебные заведения.

ВЫМПЕЛ — длинный узкий флаг красного цвета с косицами и изображением военно-морского флага, поднимаемый на грот-стеньге военного корабля при нахождении его в кампании.

ГАФЕЛЬ — специальный рей, укрепленный наклонно в верхней части мачты. Служит для крепления верхней кромки косого паруса.

ГАЛСТУК — предмет обмундирования матросов и старшин, надеваемый на шею при ношении бушлата или шинели.

ГАЛС — положение судна относительно ветра. Например, левый галс, если ветер дует в левый

борт.

ГРЕБЬ — барочный руль, весло из целого бревна для управления плотом, баркой, дощаником.

ДЕДВЕЙТ — суммарная величина весов переменных грузов на судне, т. е. веса полезного груза, перевозимого судном, веса топлива, масла, питательной и питьевой воды, веса пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия.

ЗАПАНЬ — речной залив, заводь.

КАБЕЛЬТОВ — морская мера длины, равная 185,2 метра.

КАРБАС — морское или речное деревянное парусное или гребное судно, обладающее высокими мореходными и ходовыми качествами.

КИЛЬВАТЕР — струя, остающаяся за кормой идущего корабля. Отсюда — идти в кильватер, то есть идти в струе впереди идущего корабля.

КНЕХТ — парные литые чугунные или стальные тумбы, укрепленные на палубе судна и служащие для закрепления на них швартовных или буксирных концов.

КОКОРА — бревно с корневищем на дне реки.

КРАНБАЛКА — поворотная балка, служащая для подъема якоря на палубу при помощи талей.

КРЮЙСЕЛЬНЫЕ ПАРУСА — (автором употреблено неправильно) — паруса, крепящиеся на

крюйс-стеньге.

КРЮЙС-СТЕНЬГА — рангоутное дерево, служащее продолжением бизань-мачты.

ЛЕЕР — туго натянутый трос, служащий для ограждения борта или люка.

ЛЕНОК — вид форели из рода лососей.

ЛИСЕЛИ — паруса на судах, применяемые в помощь прямым парусам при попутных ветрах, ставятся по сторонам прямых парусов на особых рангоутных деревьях — лисель-спиртах.

ЛИХТЕР — грузовое несамоходное морское судно для перевалки грузов с морских глубокосидящих судов на мелкий берег и обратно.

МАРСЕЛЬ — прямой парус, ставящийся на марса-рее.

МАРСА-РЕЙ — второй снизу рей на фок- и грот-мачтах, к которому крепится марсель.

МЕЖЕНЬ — низкий уровень воды на реке, в озере, а также период времени, пока сохраняется такой уровень.

НАКТОУЗ — шкафик из дуба, красного дерева или силумина, прочно прикрепляемый к палубе корабля и служащий для установки на нем котелка компаса.

ОПЕЧКА — глинистая мель с отвесными краями.

ОСЕРЕДОК — мель на русле реки, среди реки в виде подводного острова.

ОСТАНЦЫ-ГОЛЫШИ — камни, выдающиеся над поверхностью воды.

ПАЙОЛ — деревянный или металлический настил в трюмах и машинных отделениях судов и кораблей.

ПЛАНШИР (планширь) — деревянный брус, устанавливаемый поверх фальшборта или леерного ограждения.

ПЛИЦА — лопасть гребного колеса у колесных судов.

ПОДВОЛОК — внутренняя сторона палубной обшивки, потолок помещения, находящегося под палубой.

ПУЛЬПА — вода, содержащая взвешенные в ней частицы грунта.

РАСПАУЗКА — частичная разгрузка судна.

РЕГИСТР — государственный орган, издающий правила постройки морских и речных судов торгового флота, наблюдающий за правильностью их постройки и осуществляющий надзор за их техническим состоянием и подготовленностью к плаванию.

РУМПЕЛЬ — одноплечий или двуплечий рычаг, насаженный на голову руля. Посредством его

производится перекладка руля.

САЛО (ледяное) — скопление на поверхности воды смерзшихся ледяных игл в виде пятен или тонкого сплошного слоя серовато-свинцового цвета.

СЕКСТАН — морской отражательный угломерный инструмент, служащий для измерения в море высот небесных светил и углов между предметами.

СПИКЕР (жарг.) — громкоговорящая командная связь на судне.

СТЕНЬГА — рангоутное дерево, служащее продолжением мачты и идущее вверх от нее.

СТЕНЬ-ФОРДУНЫ — снасти стоячего такелажа, удерживающие стеньгу сзади.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ — тросы, служащие для удержания частей рангоута в надлежащем положении (ванты, штаги, бакштаги, рейтопенант и пр.).

СУДОВАЯ РОЛЬ — список, содержащий фамилии лиц, составляющих экипаж судна, занимаемые ими должности, получаемые оклады и время поступления на судно.

СТАРН-ПОСТ — передняя (внутренняя) часть ахтерштевня одновинтового корабля, через яблоко которой проходит гребной вал.

ТИФОН — прибор для производства звуковых сигналов на маяках и судах. Действует сжатым воздухом.

ТРАНЕЦ — набор горизонтальных поперечных брусьев, образующих плоскую корму на деревянных судах и шлюпках.

ФОРШТЕВЕНЬ — передняя часть набора корпуса судна, образующая носовую оконечность его и являющаяся продолжением киля.

ФУТ — английская мера длины приблизительно равная длине стопы человека. Русский (так же как и английский) фут приблизительно 30,5 см.

ХАЛФИНД (современное ГАЛФИНД) — курс парусного судна, при котором его диаметральная плоскость составляет с направлением ветра прямой угол. Про судно, идущее в галфинд, говорят, что судно идет в полветра.

ЧАРОИТ — ценный поделочный камень фиолетового цвета.

ШИТИК — мелкое речное судно, крытое округлой палубой.

ШЛИХ — остаток тяжелых минералов, получаемый при промывке песка, галечника и других рыхлых отложений.

ШУГА — рыхлые белесоватого цвета комочки льда, появляющиеся осенью перед ледоставом.

Образуются из ледяного сала.

ЮВЕРС — металлическая или деревянная планка с отверстиями для прохода снастей, крепящих стоячий такелаж.